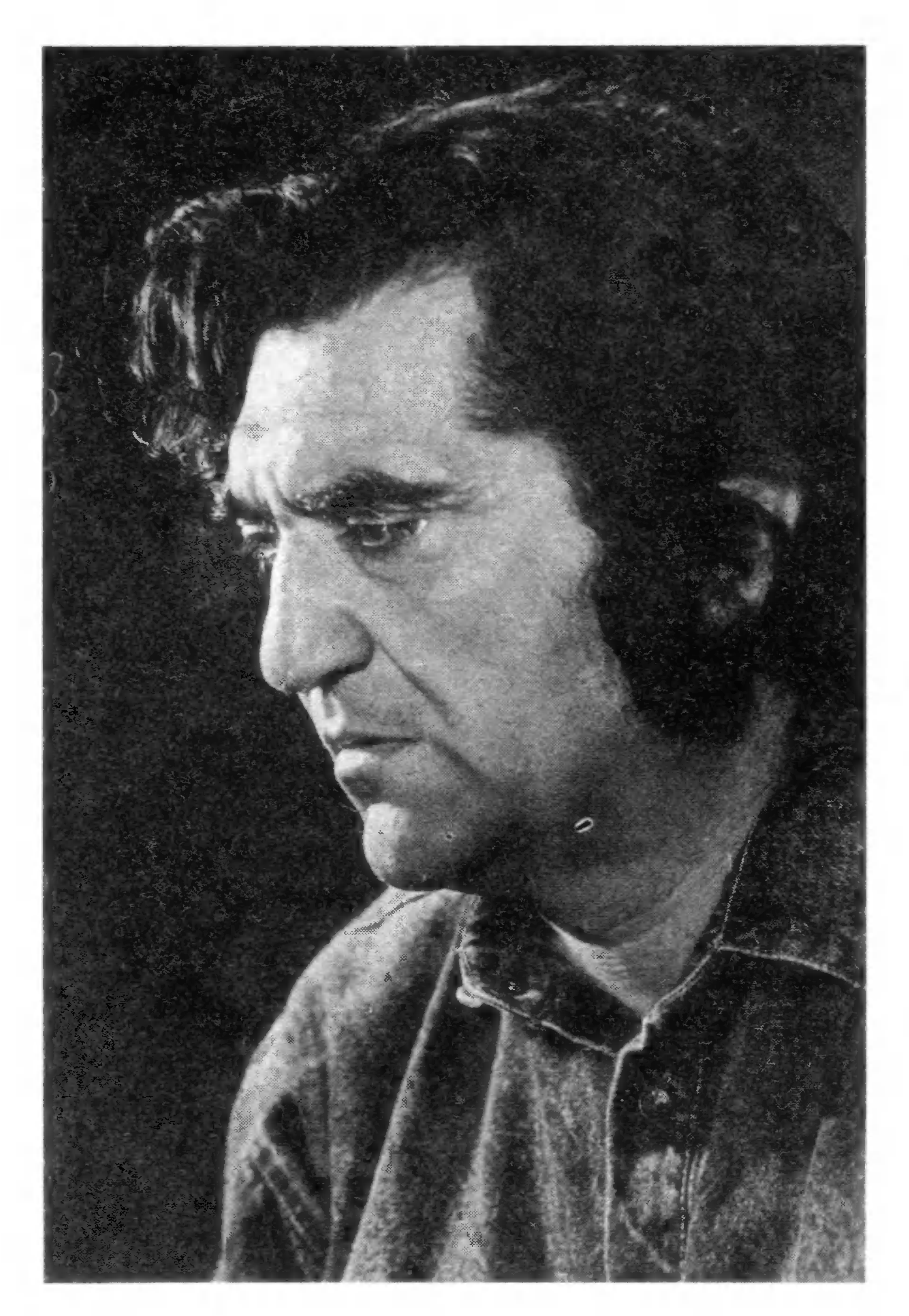
ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА 3·4
(1129·1130)·1990
Юрий Азаров
ПЕЧОРА



Юрий Петрович Азаров родился в 1931 году, детство прошло в Донбассе, где семью застала война. После окончания Харьковского университета учительствовал на Крайнем Севере, был завучем и директором школы, преподавал в вузе. Без отрыва от работы защитил в 1962 году кандидатскую, а в 1973-м — докторскую диссертации. Профессор. Заведует кафедрой в Московском институте культуры.

Его книги «Мастерство воспитателя» (1971), «Игра и труд» (1974), «Педагогика семейных отношений» (1977), «Семейная педагогика» (1979), «Искусство воспитывать» (1985), «Радость учить и учиться» (1989) и другие изданы в союзных республиках; некоторые из них переведены на иностранные языки и высоко оценены читателями в США, Англии, Индии, Канаде, Китае, Венгрии, Германии, Польше, Чехословакии.

В 1983 году в журнале «Север» опубликован первый роман «Соленга», вышедший отдельным изданием в «Молодой гвардии» в 1985 году. В 1987 году выходят в издательстве «Советский писатель» романы «Печора» и «Новый свет», а в 1989-м — роман «Не подняться тебе, старик» («Молодая гвардия»).

Ю. П. Азаров — член Правления Всесоюзного детского фонда имени В. И. Ленина.

В 1989 году успешно прошли выставки творческой деятельности Ю. П. Азарова и его коллег в США и в Польше. Большой интерес в Варшаве вызвали живописные работы Азарова, посвященные событиям, описанным в романе «Печора»,— портреты начальника ГУЛАГа Шафранова и его дочери Светланы, северные пейзажи, портреты ссыльных, картины на нравственно-философские темы: «Снятие с креста», «Казнь св. Себастьяна», «Мадонна», портрет боярыни Морозовой, «Реквием» и другие.

Для оформления обложки номера использованы две работы из этого цикла.

Постановлением Совета Министров РСФСР были присуждены Государственные премии России за 1989 год Анатолию Знаменскому за роман «Красные дни» («Роман-газета» № 1, № 2, 1989 г.), Виктору Смирнову за повесть «Заулки» («Роман-газета» № 3-4, 1989 г.).

Сердечно поздравляем наших авторов с высокой наградой!

Редколлегия и редакция «Роман-газеты».

РОМАН-ГАЗЕТА 3·4 (1129·1130)·1990
Основана в 1927 г.
ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ПЕЧАТИ
МОСКВА

Юрий Азаров

ПЕЧОРА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

У каждого города свой цвет, своя прохлада и свое тепло. Тогда, приехав в Печору, я обомлел от дивной красоты. Сроду такой густой синевы не видел. Ощущение неразрешимости: никогда ей, этой синеве, не облегчиться раскатами светлого грома, не засиять просветленностью голубизны. Все на пределе. Там, за Печорой, сразу, уже конец — ни густоты, ни сочности: там тундра пошла.

А здесь вершин берез глазом не достать, ели точно не на болоте растут. У их подножия ворс болотисто-бархатный с оранжевыми бликами, если редкое солнце блеснет. И сама река Печора, как и всякая глубина, с виду только спокойна — не вольная Волга, и не мутно-испаренный Дон, и не чудный, нежащийся в песочных отмелях Днепр, а грозное половодье, сознающее свою силу; вобрала в себя несметные богатства из самого сердца земли, и пасмурность неба вобрала, и все краски туманной бесконечности вобрала, и берега на километры очертила: не сметь подступаться! — и потому черный лес в таком отдалении, и мокрый блеск ворса коричневого, и покой стремительно-вечный.

И прохлада здесь особенная. Не та свежесть с запахом прихлопнутой дождевыми каплями пыли, а постоянная, не знающая сухости родниковость земли, потому как вечная мерзлота рядом. Говорили, холодильник не нужен: копни на метр — и морозный пласт звякнет о лопатку глухим железным лязгом, отдастся приглушенный стук в плечевом суставе: стоп! дальше нет жизни!

Впрочем, на печорской земле мерзлотой и не пахнет, она лишь угадывается чутьем. Так угадывает человек свою зрелость, которая вдруг явилась и призналась всеми — и вроде бы праздник, но за ним, на самом донышке души, горечь утраты, которая еще не вышла в сознание, а там внутри взялась ледовой узорчатой коркой с синими пузырчатыми проталинами, вроде бы человек и поднялся на самый пик перевала, и радость от этого пика, и последний раз хочется окинуть взглядом пройденную тернистость — как же я это ее одо-

---

Журнальный вариант.

лел! — а дальше легче, совсем легко с горы, можно и на согнутых ногах съехать — никакого труда, а все же жаль той оставшейся позади трудности, и ноги несутся в легкости, а дальше совсем ничего нет, только кустики желтые да тундровая худосочность.

Помню восторг первого послепечорского приезда на юг: я трогал руками горячий кирпич домов, ночью трогал, и эта кирпичная жаркость негой вливалась в меня, и землю трогал, и пыль накаленную мял руками, и в песок обжигающий зарывался, и небо слепило глаза, а закроешь их — круги ласкающие, теплые, радужные. И ночное звездное небо было обворожительно приятным, и тепло парным молоком обдавало, и прохлада шла от тепла ночного, успокаивала, размягчала, и спина выбирала остатки жара из запасливой земли, на которой я лежал. И вспомнилась северная солнечная яростность. Просыпаешься от непривычного светового полыхания, опомниться не можешь: проспал, а на поверку еще и трех часов нет, и так хочется обычной темноты ночной. А ее нет, этой темноты: белые ночи — и все залито низким солнцем — его рукой достать, и спрятаться от этого прекрасного холодного света некуда. И, может быть, именно этот свет рождал предчувствия. Я весь был тогда охвачен радостными ожиданиями: я, двадцатипятилетний учитель, жаждал и любви и признания, и черт знает чего только не жаждал, и был уверен, что все, чего я так искал, все это будет именно здесь, в Печоре, на этой тревожной земле. Я почему-то чувствовал: стоит мне постичь этот новый для меня северный свет, принять его в душу свою, и настанет иная жизнь, будто на новый пик подымусь, новую зрелость обрету — и тогда холод способен теплом обернуться, подчиниться мне — и это случится, и тогда покой придет ко мне. А тепло здесь в Печоре особенное. Оно в валенки и шубы одето, в пыжиковые шапки наряжено. И рукавицы, и унты с узорами, и шарфы разноцветные, вдвое сложенные, и спины у прохожих утепленные — не ватин старый, как в моем пальтишке, а настоящий стеганый подклад вшит, отчего так ладно спины выглядят. И кожанки в первозданной мягкой глянцевитости. И папахи (раньше мне казались уродливыми, а здесь ничего), кто поперек пирожком, а кто с лихостью край вдавил, — сосчитать, сколько шапок я перевидал разных, да перемножить их на их стоимость — город новый выстроить можно — не то что в Соленге, где я раньше жил и где даже начальство ходило в куцых шапчонках кацавеечной облезлости, отчего физиономия такую угнетенность приобретала, точно полчерепа снесли, да поворозками подбородок перехватили, точно взнуздали лошадь старенькую, которая уже и кнута не страшится, и холод ей нипочем, потому что все равно тепла не жди ни от погоды, ни от кацавейки той.

А некоторые в обычном пальто, и уже если чернотой сукно разморилось, то чернотой особенной, бархатистой, и такие же серые пальто со скользящим блеском —и впервые тогда я услышал словцо «маренго». И рядом дамы с муфтами — и сияние неприступности от этих дам. И девицы — быстрота в шаге, и тоже муфты, руки в локте согнуты, и разрумянившиеся лица, и лукавый блеск глаз (всматриваюсь жадно в эти лица: пьянят меня неожиданные запахи, звуки, движения), а от девиц неприступность идет, гордость какая-то вспыхивает в них, жаром обдает их скользящее пренебрежение ко мне — нет, такого шага и такой уверенности в Соленге не бывало.

Встречались здесь люди и совсем иного склада. Не в маренго и кожанки упакованные, а совсем прибедненные, однако с особым достоинством в лицах, точно застыло на них сознание еще неведомых мне преимуществ.

Мужчины с лицами усталыми, кто в пенсне, а кто в роговых очках, шаг осмотрительный, но твердый, и женщины с ними с шагом помягче, в унтах притоптанных, и дети будто с плоскостопием, вприпрыжку по снегу, иные тоже в очках. Этих я больше в библиотеках примечал да в книжных магазинах, и дух от них шел совсем другой: покойный, с предосторожностью, точно ждут они лая собачьего, и эта настороженность светилась добрым страхом, потому что страх, если он смешан с добротой и если воли человеку с этим страхом нет, то он добрее становится и не норовит внезапно превратиться в оскал зубов какой-нибудь сторожевой, а этаким добрым пинчером или дворнягой выдает свою беззащитность.

Здесь, у этих последних, и поворозки на шапчонках встречались, у иных на самом подбородке перевязанные, и галоши на валенках, не самодельные из камеры автомобильной, как там, в Соленге, а настоящие, новые, на красной мягкой байке изнутри, которая кантом выбивалась наружу. И портфельчики потертые, и муфты старенькие, и рукавички на тесемке, у кого коромыслом через плечи под верхней одеждой, а у кого и просто к рукавам пришитые. И в шаге нет уверенности, потому что врожденным плоскостопием исстрадались они.

И еще особое тепло хоронилось в шинелях разного цвета. Здесь тепло пряталось в сапогах яловых на два номера больше, чтоб два носка шерстяных с портянкой байковой вдеть, в телогрейках на меху под шинелью, отчего все казались толще обычного, лица худые, а живот от телогреек раздут, так что ремень едва сходится, и на лицах застыли проигранные мизера, третьи дамы, вторые короли, и счастливость от проведенной ночи за карточным столиком, где сдающий мог пропустить рюмочку.

Все это разное тепло вроде бы как вместе по прохладе носилось и должно бы было как-то смешаться в единый поток. Но оно не смешивалось и разносилось в разные дома по отдельности. Владельцы кожанок и папах в прихожих собачьим лаем встречались, черная шерсть лохматая и язык красный наружу, и дыхание, так что живот ходит ходуном быстро-быстро: ах-ха-хаах-ах — звуки вылетают радостные из четвероногого чудища. А двери и в прихожей и в комнату обиты кожей, и прокладки из войлока вложены, чтоб тепло хранить, и половики ковровые под ноги у входа и у кроватей, чтобы от холода уберечься, и запахи из кухни: рыбные, мясные, фруктовые. И окна высокие, и шторы темные поверх кисейно-газовых, чтобы и от

солнца белого упрятать сон свой и чтоб видимости всей наружу не было.

У тех, кто в маренгах ходил, собачки поменьше были, смешные, хвостом туда-сюда, кто бы ни пришел; и двери не обивались внутренние, а только наружные, для солидности больше. У тех, кто пенсне носил и плоскостопие детское оберегал, собачек вообще не было, потому что собака только в достатке может существовать: уход ей нужен и постоянное местожительство желательно. И у тех шинельных и яловых не было собак: сами, как собаки, метались с места на место, то в одну командировку, то в другую.

Когда я летом пятьдесят четвертого года приехал в Печору, я еще всех этих цветовых оттенков не различил, но дух теплинный сразу забился в мои ноздри, приятно щекотал там, и тепло людское бросилось в глаза, и ухоженность, и городская необычность бросилась в глаза, потому что здесь и настоящий автобус ходил рейсовый, и вокзал был с кассами, и поезда стояли бог знает сколько: не надо было суетиться, цепляться за подножку коленом и второпях забрасывать вещи в тамбур. У меня было такое ощущение, какое бывает, когда возвращаешься из долгого странствия по лесам и болотам и наконец приходишь в город, идешь в ванную, пьешь горячий чай, надеваешь проглаженную рубашку, разрываешь накрахмаленные простыни, стелешь их и ложишься с книгой в это прохладное чудо.

В Печоре у меня не было ни дома, ни ванной, ни кровати, ни накрахмаленного чуда. И хотя вещи наши были разбросаны в школьном дворе и эти вещи не вязались с ухоженным теплом печорским (мама не преминула взять с собой и корыто старое, купленное за полцены у отъезжающих, и выварку, которую я ненавидел, потому что когда выварилось белье, а мама почти ежедневно выварила, то мне мерещились черти в котле, и гнусный пар выползал из вздувшихся бельевых пузырей, и влажность заполняла комнату, и от этой влажности шла жуть с запахом прелости — жить не хотелось, когда я видел эту оцинкованную выварку, точно мою душу выварили в ней, так вот и эта выварка, набитая чайниками и ботинками, посудой и банками, и матрац, перетянутый веревкой, и еще каких-то два тюка с книжками и одеждой, и сундук, в котором были вещи), все равно у меня было такое ощущение, будто и я носитель такого же добротного тепла, какое бросалось в глаза повсюду.

Помню совсем нелепую сцену: малыши-школьники играли в прятки, и кто-то из них спрятался за наши ящики, а потом кто-то ловил этого спрятавшегося и зацепился за угол корыта — все полетело на землю, и мне сначала стыдно было, бедность наша так и выворотилась вся наизнанку, но гнева у меня не получилось, я приласкал мальчонку, а потом собрал все в корыто, и мама помогла мне, и мальчонка помог.

Поразительность человеческого бытия: я никогда не ощущал своей бедности, никогда она меня не вгоняла в стыд. Конечно, были какие-то ситуации, когда она мне закрывала какие-то пути, но ведь это совсем иное. И это иное обнаруживалось скорее не мною, а другими. Другие постоянно знали и стыдились моей бедности, и когда я это подмечал, то злобная гордость охватывала меня. Злобная она, эта гордость, была потому, что они, эти другие, не знали моих несметных богатств, которые были заключены во мне самом, в моем теле, в моей мечте, в моих надеждах, в моей уверенности в том, что мое богатство надежнее и сильнее любых овеществленно-суетных ценностей.

Очевидно, бедности стыдится тот, кто раньше знал богатство. За моей спиной стояла более горькая бедность, и в сравнении с нею теперь я был богат. И еще, наверное, бедности стыдится тот, кто рассчитывает обрести овеществленно-суетный мир ценностей, его сделать смыслом своей жизни. Меня же вещи как таковые не притягивали, ибо духовность высшего порядка влекла, и в ней я находил свое счастье. А потому и в высокий, теплый, обитый кожей и войлоком уют не стремился. И когда мне дали в этой Печоре отвратительную комнатку в общей квартире, вечно холодной: на одной стенке утром восемь градусов, а на той, что к окну, пять градусов, — я обрадовался, не холоду обрадовался, а тому, что у меня была своя комната, не та школьная клетушка, где я жил в первые месяцы своего приезда, а настоящая комната в обычном доме. Правда, с препротивными соседями, сварливыми и всегда пьяными: с утра начинался скандал, но я и этого не замечал: у меня был свой угол, свой стеллаж с книгами, свой стол с настольной лампой. Было, конечно, неудобство ночью работать, когда мама спала, но она привыкла к свету, и я привык, что она спит рядом со мной. И была у нас печка электрическая — подарок и память Саши Абушаева, электрика, бывшего уголовника, затем моего воспитанника и подопечного, который на горе в соленгинском поселке похоронен. Печка отличная, проволока толстая, не перегорает, и чайник закипает на ней через пять — семь минут, и даже выварка треклятая, с бельем, которую приспособила мама под эту печку, тоже закипает через полчаса, и жар от печки идет такой, что на стенках термометр и все восемнадцать градусов показывает. Так что в нашей комнатушке был теплый дух, и стужная прохлада недолго по утрам держалась. А мама так любила тепло, от тепла она становилась и светлее, и добрее, и веселее. И еще мама сияла, когда у меня на душе было хорошо. А в первые мои печорские дни со мной творилось нечто необыкновенное. Счастье, осязаемое, долгожданное счастье, вдруг подкралось ко мне, и даже не подкралось, а плюхнулось в глубинные закрома моей души, осветило все во мне, и, наверное, этот новый свет переиначил меня и по крайней мере в те трудные дни и месяцы моей печорской жизни избавил от многих мучений, помог перенести страдания, помог испытать настоящее человеческое блаженство.

2

Случилось это так. У меня были прямые предчувствия, когда я буквально оборвал занятия и выбежал из школы. Я пропустил два автобуса, хотя они были почти пустые. А в третий, переполненный, я решил

сесть. Дверь уже преградила мне путь, и уже успел мне кто-то сказать: «Ну куда прешь!» — а я лез в этот автобус. и сердце билось так, будто все прежние волнения в один миг сборались вокруг моей души и приказали ей: «Жди!».

Что тогда в автобусе произошло со мной, я так и не понял. Может быть, водитель резко притормозил, а может быть, у меня неожиданно закружилась голова, только в какие-то доли секунды я ощутил этот небесный запах, принадлежавший девушке в розовой шали, потому что и розовая шаль, и нежная рука. и русая бровь, и золотистые волосы, и большие яркие губы, верхняя чуть-чуть приподнята, — от всего этого пахнуло тонким нежным ароматом. (Когда-то в одном из южных городов я остановился, ошеломленный чудным запахом, как показалось мне, неземного растения. Я спрашивал: «Что это?» Мне объяснили, что это запах растения, завезенного из Китая, и называется дерево странно — османия.) А потом ее лицо приблизилось — одной рукой я коснулся ее руки, — и тогда лицо будто рассеялось, и под ногами стала исчезать опора, словно не было автобусного пола, впрочем, исчез и автобус, и люди в нем, и водитель — был только розовый овал из шали, чарующий запах и бесконечно грустные глаза, обращенные в никуда, настойчиво обращенные, будто там в бесконечности разрешение всех их тревог. И еще, когда случилось мое прикосновение, несказанное счастье разлилось по телу, точно в одно мгновение и смерть подкралась к сердцу, и тут же эту смерть настигло ликующее спасение, и от того, что свершилось это неожиданное чудо, усилилось ощущение радости.

Со мною случилось подобие обморока. И причиной этого состояния была она, ее душа, которая высветилась вдруг для меня одного в набитом автобусе, ее тревожность, которую я чувствовал, ее ожидание, ее скорбное обращение к безнадежности.

Я очнулся в состоянии растерянности. Автобус был пуст.

— Полная отключка, — сказал шофер. — Это нам, водителям, страшная штука, а пешеходу...

Что пешеходу дает отключка, я уже не расслышал. Выскочил из автобуса и пошел в сторону своего дома.

Самое страшное произошло потом. Я вдруг отчетливо увидел перед собой лицо незнакомки, оно явственно выступило в сиянии морозного воздуха. Я, конечно же, сознавал, что ее рядом нет, что она, должно быть, сошла на одной из остановок автобуса, идущего в сторону вокзала. Я сознавал и то, что со мною творится какая-то неладность, иначе откуда же браться таким отчетливым видениям. Я понимал, что такого рода явления — сигнал бедствия. И вместе с тем хотел удержать как можно дольше это состояние, так как видение сопровождалось такой силы волнением, что по всему телу разливалось блаженство — иначе не назовешь, дух захватывало, сладко кружилась голова, и все миллионы самых лучших мгновений, какие уже были в жизни моей, и в детстве, когда я впервые увидел радостный блеск глаз девочки, моей одноклассницы, которая, встретив меня после долгой болезни, захлопала в ладошки, и в юности, когда я застывал со слезами на глазах, захваченный чтением книг, и когда много раз тайно билась надежда встретить и испытать радость встречи — все эти ошеломительные и радостные мгновения там, в автобусе, вдруг соединились, обратились в реальность, чтобы тут же исчезнуть, оставив в памяти едва уловимый неземной запах человеческого тела, одежды.

Ни раньше, ни потом я не произносил тех слов, какие слетают в совершенно необходимые минуты у книжных героев. Я мог бы произносить эти слова, но всякий раз, когда даже очень хотелось их произнести, что-то останавливало. Всякий раз в голове вспыхивала считалочка, которая просчитывала то несоответствие, какое становилось очевидным, осязаемым, говорящим и даже кричащим, что объект любви никак не тянет на те последние слова, какие могут характеризовать лишь полноту счастья. Я в такие мгновения всегда ощущал, что, может быть, поступаю непристойно, недостаточно щедро, потому что мог бы выбросить по крайней мере в пространство те заветные слова, от произнесения которых все менялось.

Я понимал и другое, что произнеси я эти слова, как тут же непременно возникла бы ложь, и эта ложь в один миг принесла бы ощущение ущербности. Иной раз я слышал беззвучный крик: «Ну что тебе стоит сказать хотя бы один разочек: «Я люблю тебя?» И я готов был сделать что угодно, как угодно доказать свою преданность, а эти слова все равно не лезли из меня. Что-то настоятельно подсказывало: «Нельзя». И, может быть, было и другое, сознание того, что скажи я вдруг эти слова, так конец всему, наступит та жуткая пустота, какая оборвет жизнь. Эти разновидности рациональной эквилибристики сами по себе были отвратительными: от них всегда оставался привкус дурных осязаний.

То, что произошло со мной в автобусе, исключало всякую рациональность. Все было то. Все было безальтернативным. Безвыходным. Бесконечным. Единственным. Был сам факт осознания того, что все у меня заполнилось, все. Я был уверен, что у меня с незнакомкой еще будут встречи. Во мне вдруг появилась и полная свобода дыхания, и полная свобода самочувствия: я как-то вдруг перестал суетиться, исчезла куда-то торопливость. Не только я, но и другие заметили мою измененность. И мама сказала: «Что с тобой?» И ученики на следующий день пристально и с любопытством, особенно девчонки, рассматривали меня, точно увидели здесь, в северном классе, необыкновенной величины тропическую бабочку, которая летает перед доской, прекрасная и самозабвенная, и в учительской сказали обо мне: «Не видите, светится человек». И я действительно будто осязал свой собственный свет. Мог сказать, какой он на ощупь. И стоило мне закрыть глаза, как явственно проступали очертания лица в розовой шали, я различал матовую белизну шеи и ее тоненькие в голубых, едва заметных прожилках пальцы, тепло ее руки, к которой я прикоснулся, ее совсем легкое тело, я это точно ощутил, когда качнуло автобус.

Я стал жить переполненно, точно рядом была ее красота. Иногда я совсем забывался, и память соеди-

няла прошлое с настоящим. Я детям рассказывал о Веласкесе, Боттичелли, Рафаэле. Поразительное открытие — все мадонны и венеры были похожи на незнакомку. Это сочетание едва заметной улыбки с трагическим ожиданием непоправимого. Эта неуловимость чувств и смятение оттого, что вот так просто, навеки взяла и вышла обычная женщина в бесконечность мироздания, вышла и облагородила мир своим приходом.

Занимаясь с учениками, в общем-то, я потом понял, что по характеру моя деятельность носила двоякий смысл. С одной стороны, она была миссионерской: я учил любить, я нес детям противоречивый и цельный образ Красоты, и это доставляло мне радость. С другой стороны, я сам учился любить, впервые для себя постигал отражение в образе совершенства мира. Впервые я стал понимать, что мадонна Рафаэля есть некий финал предшествующей культуры. Здесь единство *чувственности, рациональности и духовности* замыкается на самом великом в мире человека — Любви. До приезда в эти северные края я уже понимал и втайне решил для себя, что мое сердце настолько ограничено в своих притязаниях, настолько узость моя эгоистично безнравственна, что я не в состоянии любить вообще. Из названных предшественниками Данте трех начал любви (чувство, ум, душа) во мне не было самого главного — духовного начала. Стремясь к общению с прекрасным полом, я утолял жажду чувственного и рационального. Эти два бесовских начала (если они оторваны от духовного, от самой Любви) развивали еще большую жажду телесных и рациональных притязаний, с еще большей силой отдаляли меня от духовного. То, что произошло со мной в Печоре, в один миг опрокинуло все мои представления о жизни. Я вдруг понял, что мой замысел — воспитывать историей и искусством — окрасился вдруг подлинным чувством, в котором присутствовал тончайший неповторимый запах османии. Я стал учить тому, в чем так остро нуждался сам. Я предлагал детям заглянуть в глаза мадонны Рафаэля, в глаза Аристотеля, Платона, Данте, Диогена, написанных великим флорентийцем в «Станцах Рафаэля». Я показывал детям портреты декабристов и народовольцев. Мне еще непонятны были различия, скажем, между античностью и Возрождением, между Возрождением и XIX веком, между XIX веком и нашим временем. Я остро ощущал, что где-то кривая развития рвется и из этой кривой выбрасываются существенные, возможно, главные звенья. Эти звенья были звеньями Любви. Только по-разному эти звенья выглядели на всех периодах развития человеческой культуры. Мне казалось: у каждой эпохи, у каждого поколения должно быть свое Возрождение. Оно может по-разному проявляться, но оно непременно должно быть, иначе пустота, духовная смерть. Я каким-то двадцатым чувством понял, что каждое новое Возрождение непременно отрицает предшествующее, точнее, ищет в сегодняшней своей жизни гуманистические начала. Поэтому когда я с детьми писал сценарии и ставил импровизированные спектакли, в них перемежалась живопись с историей, поэзия с драмой, я все время гнул только одну линию: в каждом человеке сидит Рафаэль, в каждой женщине скрыта Сикстинская мадонна. Если в мадонне так ярко выражены готовность к самоотречению, подвигу, смирению, долготерпению, если в ней столько одухотворенности и добра, то всего этого, возможно, в тысячу раз больше в каждой современной девушке, в каждой современной матери. Я говорил эти слова с таким трепетом, что в них, по сути дела, звучал призыв: взгляните на себя и окружающих иными глазами, взгляните на своих матерей и сестер, на своих близких — и вы откроете для себя, сколь прекрасны люди, сколь схожи они с ликами совершенств.

Я действительно веровал в то, что говорил. И дети сидели и слушали не шелохнувшись. И я знал: мои слова западали им в душу. Я говорил и о том, что каждый человек способен в другом человеке открыть источник нравственного света.

А для себя, оставаясь наедине с собой, я решал и такую задачу, что все же красота необъективна, раз она может быть вызвана нравственной силой другого человека. И приходил к выводу: только в столкновении двух источников нравственного света, двух людей, рождается и подлинная красота, и подлинная нравственность. И это столкновение и есть основание самой мудрой и самой главной человеческой сути — Любви.

Так я размышлял, вспоминая встречу в автобусе. Я был приуготовлен к такой встрече. Может быть, как я потом установил, все накапливалось во мне еще задолго до приезда в эти северные места. Какие-то ниточки тянулись к этой автобусной встрече, пересекались, запутывались в один узел завязывали все, что было самого главного в моей жизни. И я ждал. И в моем ожидании не было ничего томительного. Оглядываясь на свое прошлое, я радовался тому, что настоящее дело захватило меня, отрезало пути к отчаянию. Работа стала моим спасением. В нее вкрапливались светлые мои надежды. Какая-то особым образом устроенная во мне счастливость белой птицей забилась под ложечкой, и меня несло к новым ожиданиям, к новому счастью.

3

А счастье повалило в Печоре. Как снег валит иногда неожиданно, комьями, крупно и долго, пока все не закроется, не заполнится. Дух захватывало от разных прибавок.

Наверное, настоящее обретение счастья в новизне, это когда все впервые, даром, само собой, тогда и напряжение любое в радость, неприметным оно становится, потому что с наслаждением в полной мере слилось.

Я обомлел, когда в ведомости увидел выведенную прописью, такие длинные буквы с завитками и цифры с завитками да с росчерками, огромную сумму (подъемные — слово-то какое). Эта сумма вся причиталась мне за так, задаром, потому что на переезд из Соленги ничего не затратилось, так как ехали товар-

ным вагоном, полагавшимся по железнодорожному моему статусу, ехали летом, по прямой, недолго, около двух суток, и укрыться было чем, и под голову нам с мамой подложить было чего. И вот помимо зарплаты эта баснословная сумма, которую я в портфель запихнул, нарочно в портфель, чтобы вывалить потом на стол, вытряхнуть эти чертовы бумажки, которых в Соленге почти не было, и чтобы они как осенние листья падали со стола, и чтобы я их ногой пошвыривал, крича мамочке: «Мадам, уже падают листья!» И еще из того портфеля повалятся конфеты, которых мы в Соленге сроду не видывали, впервые грокнутся в фанерную круглость настоящего стола, который мы купили в мебельном магазине, купили впервые на заработанные деньги — в аванс выдали тоже черт знает какую сумму. Когда я получал деньги, а началось это со студенческих лет, то весь переиначивался: бесом взыгрывались мои джинны, они несли меня на своих крыльях, и все шумело во мне, и джинны подсказывали, что надо непременно мчаться, непременно унестись туда, где принимают деньги, где их можно обменять на что угодно: на еду, книги, кастрюли, рефлекторы, костюмные отрезы, на зеркало-трюмо. Если я шел мимо порта, мелькала мысль купить билет до самого Баренцева моря, да жаль — завтра на работу. Пыжиковая шапка, оленья шкура, рога оленьи, унты — это отпадает — очень дорого, но можно прицениться, взвесить, как все это пристроится в моей комнатушке. Шкуру, пожалуй, можно купить, бог ты мой, да ее не утащишь: килограмм сорок, пропади она пропадом, эта шкура, и рога оленьи вместе с нею, я лосиные сам нашел в лесу и оленьи найду, а вот тапочки и рукавицы можно купить тут же, и бутылку вина заверните, пожалуйста, и гуся, и виноград в пачках, и сыр, и колбасы два круга, и платок шерстяной для мамы, и иголки ей, и катушки с нитками, и масло машинное — это все надо оттащить домой, бросить и бежать часа через два к новому приятелю, там вечеринка, я сегодня угощаю, это так приятно — угощать. Но до той вечеринки еще много времени, а сейчас можно за книгами: подписка и на Гоголя, и на Ибсена, и на историю искусств — семь гривен том, и на словарь Ожегова. Да и краски б масляные не забыть: кадмий оранжевый, кадмий желтый средний, кадмий лимонный — я уже вижу блеск этой желтизны, пьянящий запах, и червячком из тюбика сворачивается лунная лимонность, и с белилами смешивается, и рядом с зеленью изумрудной или с краплаком полыхает, как в пламенную белую солнечную ночь, и холст бы купить, и подрамники. Ага! Авторучки! Одну под красные чернила — тетради проверять, а другую — для планов, для работы вообще...

Мама знает мою ажиотажную душу, а потому всего этого не случится. Совсем тихо, аккуратненько, неприметненько она загонит в бутылки моих разбушевавшихся джиннов, пробочкой прикроет эти бутылочки, даже некоторым джиннам волосики прищемит, отчего они запищат, несчастные, и отчего вздрогнет ажиотажное сердце, как бритвой по нему, когда она скажет:

— Так все можно растрынькать. Это вот тебе на книги. Это на твои дела приятельские. А это отложим на черный день...

— Какие еще черные дни! — взовьюсь я. — Больше не будет черных дней...

— Такого не бывает, — скажет мама, — черные дни всегда бывают.

И моя баснословная сумма исчезает на дне пузатого сундука. И как только эти шелестящие листья исчезли с глаз, так будто гора с плеч: покой и тихое счастье, точно в бане помылся, — нет больше дел, одна испарина на спине да жажда мучает нутро. А жажда только от той суммы, выданной мне на книги. И я стремительность свою не сдерживаю: бегу, подписываюсь, покупаю с рук чего-то, адресочек получаю от того, кто книги на дому продает, бегу домой за мешочком и еще прошу у мамы денежки: очень стоящая целая библиотечка подвернулась, без нее я просто жить и работать не могу, и на черный день она тоже сгодится, эта библиотечка, и мама денежки снова из сундука пузатого достает, платочек развертывает и отсчитывает половину, а я все прошу, и она не выдерживает:

— Надоел ты мне, делай что хочешь, — и отдает мне все вместе с платочком.

А я такого не позволю, и оставляю ей чуть меньше одной трети, и говорю, что теперь повалит, раз вот так повалило, но она меня не слушает, вроде бы делом занимается, а я в душу к ней стараюсь влезть и обещаниями ее задабриваю, а она бросает мне недовольно, что скромно и потихоньку надо жить, а я скромно и потихоньку тоже хочу жить, и об этом я ей говорю, а она заключает, что я совсем дурной, раз не умею с деньгами обращаться, а я ей в ответ: «Научусь обращаться», и бегу по тому адресочку. за новым неведомым счастьем бегу, которое впервые, которое в новинку. Мне уже сказали, что у Сыр-Бора, его Сергеем Борисовичем зовут, все есть: и про Флоренцию, и про ранний и поздний Ренессанс, и про Аввакума, и про Алексея Михайловича, отца Петра Первого, все это мне край как надо: я уже создал детский исторический театр. Ликует моя душа, в школе с детьми запретили работать, а мне еще лучше — есть выход, в такую глубину можно заглянуть — я вижу это Возрождение не только в чудном флорентийском мире, но и чувствую его в проблесках русской истории XVII века, а уж XIX век, русское искусство — самое великое Возрождение, у меня замысел ошеломительный: заглянуть во все эти Возрождения, в разные пласты человеческого бытия, увидеть связь с моими собственными тревогами, с тревогами детей, сегодняшнего и завтрашнего дня всего человечества, поэтому мне нужны книги — и Толстой, и Достоевский нужен, и Тургенев, и Лесков, и Ключевский, и Карамзин, и Скабичевский, и Трубецкой, и Мережковский, и часть этих книг я уже достал: дети принесли, а какие репродукции они притащили, ахнул, когда «Снятие с креста» на стенке воспроизвелось через эпидиаскоп. Родители подключились к нашему театру, поддержали мою идею чтения факультативного синтетического курса для детей: литература, живопись, музыка, история — все вместе программа на целых три года рас-

считана, и программу утвердили уже во Дворце культуры, сплошное везение, а тут еще и целая библиотечка...

Меня встречает на пороге седой человек, не в пенсне и не в роговых, а в обычных железных очках, в зеленой байковой пижаме, высоченный, пальцы длинные, взгляд пристальный, — это и есть Сыр-Бор, учитель из соседней школы.

Стены его квартиры в книгах: корешки золоченые, старые переплеты таинственным огнем посвечивают, точно свечи на стеллажах горят. Старые книги он не продает, а продает хлам, как он выразился: это значит в основном все новое, подписное.

— По номиналу, — говорит он.

Я не знаю, что значит по номиналу, но боюсь спрашивать. И все-таки решаюсь:

— Так сколько вот за Толстого и Тургенева?

— Я же сказал, по номиналу, — твердит он. — Впрочем, в Толстом нет одного тома, здесь округлить можно. А там на столе кое-что из старых изданий. Разрозненные тома...

Я в мешочек складываю книжки, завязываю мешочек, а поднять не могу. Он предлагает во второй раз прийти. Нет-нет, сегодня же, тут недалеко живу. И я бегу с тем мешочком в холодной тишине, и сердце у меня колотится, потому что и Толстой у меня в мешке, и Чехов в мешке, и Пушкин в мешке, и Тургенев, и Писарев, и Роллан —классики углами жесткими в мою спину упираются, а мне радостно от этого, и я осторожно перекатываю мешочек с одного плеча на другое, чтобы не измять уголочки. И моя джинновая душа с особенной силой располагается любовью к классикам, и мама уже расставляет книжечки, протирает каждую белой тряпочкой, хотя они и без того чистые, и ровненько ставит на полочки, и говорит мама, что люди ковры покупают, а мы книги, а я снова говорю, что книги для работы нужны, что еще в следующую получку за книгами пойду к Сыр-Бору. Единственно, что мне не нравится, что этот Сыр-Бор на первой и семнадцатой страницах свой именной штамп поставил: «Из книг С. Б. Тарабрина». Будь ты неладен, Тарабрин. Я всю жизнь с твоим штампом буду жить, точно не книги, а душу мою ты проштамповал.

Я тороплюсь с работы домой, чтобы просто так корешки потрогать, вытащить какую-нибудь книжицу, прочитать кусочек, в примечания заглянуть, страсть как любил всегда примечания читать.

А потом ложусь и три-четыре книги с полочки достаю для просмотра, а иной раз и оторваться не могу от книги, и так до утра. И это счастье сидит во мне, и когда я к ученикам иду, и когда по морозу тороплюсь и думаю: как только новую зарплату получу, сразу за новыми книгами сбегаю, прямо не заходя домой, чтобы маму не расстраивать.

Тарабрин встречает меня ласково. В его квартире всегда полумрак, хотя лампочек навешано по всем потолкам и стенам. Мне Сыр-Бор книжечки новые показывает, редкостные, а я глаз не свожу с полочки, где Достоевский стоит. И я подхожу к той полочке, и не желаю я смотреть редкостную «Историю кавалергардского полка», заказанную от имени его императорского величества и в лучшей типографии отпечатанную, и гравюры на стали в той истории, а меня сроду гравюры не трогали — всегда жаль было мне времени Дюрера и Рембрандта, которые гравюры выцарапывали, и что находят искусствоведы в этих гравюрах, лица точно отпечатки пальцев, помню у Киплинга, в «Мери Глостер»: «Он гравюры любил: тлен» и я ухожу бочком от Сыр-Бора, и к заветной полочке подкрадываюсь, и вытаскиваю том; конечно же, «Неточка Незванова» и «Записки из мертвого дома» — мои любимые, а Сыр-Бор говорит:

— Бра зажгите...

А я не знаю этого слова. Я понимаю, что о лампочках речь идет, и мне стыдно оттого, что я не знаю что значит это краткое словцо, и я топчусь на месте, пока Сыр-Бор не подходит и не нажимает кнопочку, и свет вспыхивает, и я бы что угодно отдал, какой угодно номинал бы заплатил, чтобы заполучить хотя бы один томик Достоевского, а Сыр-Бор, какое счастье, говорит:

— Могу уступить...

И все девять томов, десятого не оказалось: зачитал кто-то. Но мне даже лучше: не любил я никогда «Идиота», и я, ошеломленный, в мешочек, в котором мама когда-то деревянные обрезочки с домостроительного комбинаат носила, запихиваю, а Сыр-Бор другую книгу вытаскивает:

— Всего сто экземпляров этой книги. Фамильная книга (издана в Казани) Слепцовых-Мартыновых. Мартынов, который Лермонтова убил.

Я смотрю на фотографию Мартынова, седого, с двумя подбородочками, читаю: «Провидение руководило мной», поражаюсь: умер он не то в 1896-м, не то в 1898 году, говорю:

— Убийцы — долго всегда живут.

— Как-как? — спрашивает Сыр-Бор.

— Да это я про себя, — бормочу я и неожиданно для себя: — А где вы эти книжечки взяли? — Взъелось что-то во мне и против Тарабрина, и против Мартынова.

Лермонтов в те годы был моим кумиром. Это теперь Лермонтова подзабыли, а тогда я почти всего «Печорина» знал наизусть, стихи не знал. а проза сама в мозги лезла, страницами целыми. А Сыр-Бор поверх очков на меня смотрит, точно соображает, что я знаю о нем. А мне известны какие-то слухи, которые меня меньше всего интересуют. Слухи о том, что он книжечки у ссыльных за бесценок, за корку хлеба менял, потому что в должности был хорошей. А может, это слухи просто, кто знает, как эти книжечки о кавалергардах и о роде Слепцовых-Мартыновых к нему, сосланному, попали.

— Это моя личная библиотека, — сказал Тарабрин. — Личная.

— Как корешки светятся, — говорю я рассеянно. — Переплетики самодельные. Кожаные.

— Это о расколе русском. О патриархе Никоне, о протопопе Аввакуме, царе тишайшем Алексее Михайловиче.

— Сжег он Аввакума.

— Не он сжег.

— А это что такое?

— Две книги одного и того же автора. О Макиавелли и Савонароле.

— Между ними есть что-то общее.

— Между кем и кем?

— Ну, хотя бы между Савонаролой и Аввакумом, Макиавелли и Алексеем Михайловичем..

Тарабрин приподнял очки и посмотрел на меня:

— Специально занимались?

— Занимался. Я разрабатываю синтетический школьный курс, знаете, чтобы через литературу, историю, живопись раскрыть детям основные вехи исторического развития.

— Так-так. И что же вы нашли в Алексее Михайловиче?

— Западник. Не Иван Грозный со своей опричниной создал государство, а Алексей Михайлович. Создал страну с сетью шпионов, пытками и тайными доносами.

— И что же общего с Макиавелли?

— А вы возьмите его «Государя» да сравните с тишайшим царем. Точь-в-точь.

Лицо Тарабрина просветлело. Он сел в кресло. Задумался.

— Все это не совсем так, — сказал он. — Если уж противопоставлять Савонаролу, то не Макиавелли, а Родриго Борджиа, папе Александру Шестому.

— Это чисто внешнее противопоставление.

— Это так кажется. Если хотите, именно Борджиа были идеологами, а не Макиавелли. Борджиа творили новые государства. Макиавелли лишь историк, летописец.

— Положим, не так это.

— То, что он был секретарем флорентийского Совета, это еще ничего не значит. Клерк на службе Борджиа.

Я проникался все большим уважением к Сыр-Бору.

— Вы специально этим периодом занимались?

Сыр-Бор не ответил. Позднее я узнал, что он заведовал (до ссылки) каким-то сектором или отделом истории.

— И что же, между Савонаролой и Аввакумом тоже нет сходства?

— Скорее различия. Савонарола создал флорентийскую демократию. Он повлиял на развитие Ренессанса. К сожалению, этого не случилось с протопопом Аввакумом.

— А вот здесь я не согласен. Не будь Аввакума — не было бы и Достоевского, и Толстого. Аввакум не только превосходный писатель. Он еще и праведник. Праведничество — главное звено русской культуры. Об этом я хочу детям рассказать.

— И как вы это мыслите сделать?

— Я вместе с детьми проведу исследование европейской и отечественной культуры. Понять, каким путем шли представители искусства, царедворцы, народ, — это необыкновенно интересно.

— И вы начали с Ренессанса?

— Этот период меня захватил. И еще. Вот эта связь европейского и исконно русского.

— Любопытно, — сказал Тарабрин. — Могу вам предложить и такую книжечку. — Он передал мне томик Макиавелли.

— Сколько? — говорю я.

— Не продаю, — ответил Тарабрин. — Могу дать почитать.

Я благодарю Тарабрина. Складываю книжечки в мешочек. Не терпится мне мои собственные, родные, все девять томов Достоевского полистать, в примечаниях порыться.

И я бегу домой, и лампочка большая у нас на двести ватт, мама всегда большой свет любила, и я лежу. «Неточку Незванову» пролистываю, а мама мне новый галстук шьет. За машинкой швейной она так спокойна: очки съехали на кончик носа, красная крапинка на щеке — это родинка, а на нижней губе ниточка повисла — это у нее постоянно, когда нитку в иголку вдевает, откусывает кончик, чтобы ниточка острее становилась. Мама руками скользит по материи, я вижу краешком глаза, что получится на сей раз нечто необыкновенное. У мамы поразительное чутье цвета. Надо же такое сочинить. Темно-фиолетовый крепдешин, тонкий, искрящийся, положен на красную фланель, и эта фланель красная сквозь прозрачность крепдешина высвечивается; с одной стороны — темная фиолетовость проступает, а с другой — посмотришь — алость пробивается в темноте: вот какой необычный галстук должен был получиться у мамы. А потом еще нитками едва заметные кружочки будут прочерчены, в тон, разумеется, и плотность галстука совсем достаточная, чтобы любой узел завязать можно было. Этот ало поблескивающий темной шероховатостью галстук мягко вписывается в кремовую гладь манишки из тончайшего шелка, которую мама тоже сшила. Кремовость получилась после стирки, а раньше шелк был цвета белой розы, ароматная влажность шла от него, и фактура шелка четко обозначилась оттого, что под шелком тем белизна батиста вдвое сложена — чтобы воротник не загибался в уголках, а так ровно, будто мастихином — одним ударом проведена угловая плоскость. Манишки — это тоже чародейные фокусы моей мамы. Полметра материи требовалось на манишку: воротник и грудь — самое главное в манишке, а спинка из любой простынной ткани. Манишка на резинке, в поясе под брюки уходила, так что не определить — рубашка была или те несколько сантиметров дорогой ароматности. А если еще пуловер сверху под пиджак, то совсем новая изысканность получалась. И от этой изысканности весь мой вид облагораживался, и темно-серый костюм смотрелся, и даже ботинки, теперь совсем новенькие, недавно купленные, таких тоже не носил, хоть и на два номера больше оказались, зато самые современные, с каблуком, будто антрацитом поблескивающим. Мама внушает: каблук и воротник — главные детали в мужской одежде. А потом уже идут борта пиджака, чтобы заполнена грудь была, не очень выпукло и не очень впало, а так, средне, овально, мягко съезжало, потому она мне и вытачку углубила, идущую к карману. Насчет карманов у нас с мамой постоянная война. Нельзя всякий раз совать руки в карманы, говорит мама. Это некрасиво. А я машинально в школе сую руки в

карманы пиджака. Руки у меня всегда в мелу. Постоянно мелом что-нибудь да писал на доске: даты, древа жизни, схемы произведений и т. д. От мела и карманы были белыми. Мама едва не плачет, глядя на белые пятна. Она смачивает марлевую тряпочку, пожелтевшую от утюга, и точно наждаком стирает эти бело-меловые вкрапления, а потом утюгом, не электрическим — она не любит электрический, а чугунным, огромным, чтобы тяжести было побольше, вдавливает лацканы карманов, отчего квадратики под ними остаются ровненькие, и мне жаль до поры до времени нарушать эту ровность, пока не забудусь, и мама каждый раз, вдавливая чугунный треугольник в карманы, приговаривает:

— Неужели нельзя одно мне одолжение сделать — не совать руки в карманы? Почему ты заставляешь меня так мучиться?

— Хорошо, хорошо, — бормочу я едва слышно; так приятно ощущать на себе эту выглаженность и мягкость шелка на шее и руками касаться точно к горячим застывающим карманчикам.

А мама подходит — мне головой чуть до подбородка достает, потому что каблук у меня высокий, а она в носочках шерстяных, парусиной обшитых, и снимает какие-то ниточки и пушинки с плеча, приглаживает рукав и настоятельно требует, чтобы я снял пиджак: она, видите ли, складочку приметила — разгладить утюжком должна, а я вырываюсь: «Хватит!» — кричу, а она настаивает, и я уступаю, потому что вспомнил, что у меня еще план не дописан к последнему уроку. И она проглаживает складочку, и я снова надеваю пиджак, краем глаза заглядываю в учебник, а мама приказывает: «Да стой же ты ровно». А мне ровно не стоится, потому что мысль в голове забегала, и я строчку в план должен дописать, а мама зубами еще какую-то ниточку на рукаве откусывает, и я говорю:

— Есть же ножницы...

А мама меня не слушает: она вся в этих приглаживаниях, точно изделие последнее в свет выпускает, точно ее искусность будет на виду у всех рассматриваться.

И я действительно в школе буду ощущать на себе взгляды детские: и по воротнику пройдутся, и по лацканам пиджака пройдутся, я и лацканы этак невзначай, небрежно, будто в забытьи, потрогаю, и пуговицу нижнюю на пиджаке потрогаю, застегнута ли, проверю, чтобы не оказалась видной манишечка. Нет, все в порядке у тебя, говорят детские глаза, и девчонки удовлетворены моей опрятностью. Какое-то смущение их конечно же берет: чувствуют они нефабричность моих воротничков и галстучков: где-то в их подсознании я чуть падаю в цене, а сознание не находит изъяна, потому что мама знает дело туго: не придерешься.

И в учительской мне Агния Прокофьевна бросит: «Ну и эстет же вы, Владимир Петрович, такие рубашки носить. Где вы их достаете?» А я лихо: «Из фамильных сундуков родовых». И никому не проговорюсь, что у меня вместо рубашки всего полметра материи ароматной на груди, а дальше по спине пошла простынная ткань, иногда прямо по голой шкуре пошла: не любил я сроду нижнего белья. И по этому поводу мелкие стычки с мамой.

— Пораньше приходи сегодня, стирать поможешь, — говорит мама, и этот последний финальчик приберегается на самый последок, потому что мама знает, что слово «стирать» у меня вызывает бешеную ярость.

— Ты что, с ума сошла! Опять стирать! Сколько можно!

— А что, по-твоему, сушить грязное белье надо? Можешь посмотреть, сколько накопилось. В чистом так любишь ходить и на белом любишь спать...

— Не люблю я в чистом ходить. Не люблю я на белом спать. Сшей черные простыни. По крайней мере, оригинально.

— Совсем взбесился! — размахивает мама руками, расхлестывая по комнате свой южный темперамент. — Мертвецов и то в черное не завертывают.

У меня перед глазами сразу картинка возникает: я мертвец и весь в черном — совсем неэстетично. Пожалуй, мама права: спать на черном, наверное, не очень приятно. Черт знает что, надо же такое человечеству придумать, каждый цвет что-то да значит. Черный — траур, красный — радость. Данте впервые встретил Беатриче в кроваво-красном платье — как вспыхнула его детская душа, ему было девять, а ей восемь, а потом через девять лет новая встреча, и все девять лет он ждал. Он жил и ждал свою вечную, самую прекрасную Беатриче. И Беатриче явилась в белом. В сиянии белого. А потом Беатриче явилась в розовом. В моей груди на секунду перехватывает дыхание, и мама почувствовала то мое состояние, какое с недавних пор стало приходить ко мне, приходить и как бы отделять меня от этой суетной жизни, приходить, чтобы унести меня в мир розово-белых тайн. Мама точно прикрывает свой испуг наигранной улыбкой, советом, который в последние дни все чаще и чаще срывается у нее с губ:

— Вот и женись и что хочешь тогда делай.

— Женюсь, — говорю я спокойно, и во мне вновь что-то забилось под ложечкой, как тогда, в автобусе, перехватило, а у самого никакой уверенности в том, что я возьму и женюсь, счастливо женюсь, нет этой уверенности, а есть одна боль, боль от того, что сверкнуло, ослепило и ушло. И я со злостью говорю: — На стиральной машине женюсь. Одной нашей учительнице из Москвы привезли такую машинку — и стирает, и выжимает. Хочешь, перестираю тебе все белье?

— Делай, что хочешь, ты хозяин, — обиженно говорит мама. — Я человек маленький. — В ее голосе слышатся обидчивые интонации, способные перейти в бог знает какую истерику.

Я боюсь этого как огня. Потому и целую ее, и успокаиваю, а сам твердо решаю напроситься к этой учительнице в гости крутнуть там ручку стиральной машины, которую я еще не видел в жизни, а представлял машину с ручкой непременно: крутишь как мясорубку, а из нее белье отжатое и выползает.

И так, промежду прочим, я подойду в школе к этой учительнице (с мужем ее, военным, недавно по-

знакомился) и о моей мамочке невзначай скажу, что руки у нее ослабли, а на самом деле у мамы столько силы в руках, что хоть кувалдой бей, хоть бревнами ворочай: одеяла байковые я отжать не мог, а мама — пот на лбу, одеяло почти сухое вывертывается, раскручиваясь в конце.

А вечером как ошалелый прибегу я и в мешок, в котором книжечки носил — все белье и все простыни, которые поприличнее, и пододеяльники, которые без заплат, и рубашки, и занавески, и покрывала, и все тяжелое и трудное для стирки.

— И не стыдно тебе с бельем к чужим людям? — бросает мама, скрестив руки на коленях.

— Что за чепуха, — отговариваюсь я, на минутку прикидываю нюансик, как этой учительнице, тоже в муфтах и шубах — одна серая, другая с волосом длинным, но приглаженным и блестящим, точно золотыми нитками пошел волос какой-то твари необычной, — как не вяжется мой мешочек с ее муфтами и шубами, но отступать некуда, так как выварку я ненавижу больше, чем стыд свой, и я мчусь к учительнице с мешочком, где встречают меня на пороге — и муж ее, Леня, и она сама в домашнем фартуке поверх свитера.

Мы стираем с Леней, и он мне о достоинствах машины рассказывает, а учительница, Софья Павловна, ужин готовит и баночки открывает разные, и смех ее по комнатам раскатывается — мне бы так с женой в одной комнате, — а Леня учит меня, как стирать, а я ему про Макиавелли рассказываю, про принципы управления людьми.

Леня слушает. Успевает между делом обхватить ладонью крутое бедро Софьи Павловны. И между делом замечает:

— И мой отец мне всегда говорил: «Помни, Ленька, никому не делай добра. Чем больше делаешь людям добра, тем тебе же хуже будет».

— Ну, куда вас понесло! — это Софья Павловна к столу нас приглашает.

Мы ужинаем. А за ужином я почти шепотом, доверительно рассказываю о том, как Родриго Борджиа, Александр VI, папа римский, сначала родил дочь Лукрецию от любовницы своей Джулианы, а потом сыновей — Чезаре и Хуана, а потом стал с двенадцатилетней дочерью жить, а потом и сыновья его стали с дочерью, то есть с сестрой, жить...

— Иди ты! — орет Леня и наливает мне еще одну рюмку.

Я рассказываю ему еще несколько историй, а потом бегу домой, потому что завтра у меня преответственнейшее свидание. Директор дневной школы Новиков вызывает меня, чтобы предложить временно вести уроки литературы в его школе.

4

Новиков Алексей Федорович — директор дневной школы. Красное чудовище в блестящей кожанке. В папахе коричневого каракуля. Голубые, совсем невинные глаза. Лицо новорожденного. Круглый животик, и когда ходит, ноги врозь. Говорит медленно, придает каждому слову значительность. Машинная четкость мышления. Смех садистско-визгливый, и глаза слезятся от радости, когда смеется. И руки короткие, и пальцы розоватые. Это потом он мне таким будет казаться, а в первое время я, наслышанный о его необыкновенной образованности, его смелости (чего хочешь, может добиться и никого не боится — так говорили о нем), шел к нему с некоторой настороженностью, как идут к строгому и умному начальнику в первый раз. Но уже переступив порог кабинета, я хоть и почувствовал, что меня изучают, а все же глаз его не показался мне ни злым, ни лукавым.

— Я знаю про ваши опыты в Соленге, — вполне дружелюбно сказал Новиков. — Сама по себе мысль читать историю вместе с литературой и искусством мне представляется занятной. Но это очень трудно. Нет ни программ, ни учебников.

— Я сейчас обстоятельно изучаю материал, чтобы поточнее определить приемлемые для детей формы изложения.

— Может быть, факультативы организовать? — сказал Новиков. — И не во Дворце культуры, а в школе.

— А я о факультативах только и вел речь. Факультатив плюс школьный театр и литературно-творческий кружок.

— А почему творческий? — перебил меня Новиков.

— Я твердо убежден в том, что чистое просветительство мало что дает, надо непременно включать детей в сочинительский процесс: пусть дети пишут сценарии, рисуют декорации, исследуют исторические явления — только такая самодеятельность может пробудить в них творческие начала и побудить их к творческому освоению истории, искусства, литературы.

— Это очень интересно, — поддержал меня Новиков. — Но сейчас не об этом. Мы хотим вас просить почитать в трех восьмых классах литературу.

— Сколько это будет продолжаться? — спросил я.

— Видите ли, — пояснил мне Новиков, не отвечая прямо на вопрос, — к нам должна была приехать одна литераторша. Но так случилось, что она...

Новиков вдруг изменился в лице.

— Кто же она, это литераторша? — спросил я.

— Приказ на ваше зачисление я отдам сегодня же, — вместо ответа тихо и даже зло проговорил директор.

Я вышел из кабинета. Подошел к стенгазете. Но букв не различал. Я ни одну секунду не сомневался в том, что литераторша, о которой говорил Новиков, это и есть моя незнакомка. Я вспоминал, с какой интонацией говорил Новиков, как он произносил слова. На следующий день я снова пришел к директору:

— А когда приедет новая учительница? — спросил я.

Новиков развел руками.

— А она была у вас?

— Была. Понимаете, случилось непредвиденное...

— А что случилось? — Я чувствовал, что поступаю неправильно. С какой стати он, Новиков, должен

отвечать мне на такие вопросы. Но меня уже несло. И остановиться я не мог.

— Вы знакомы с ней? — спросил он.

— Нет-нет, — спохватился я. — Меня интересует, на сколько времени я должен рассчитывать...

Новиков посмотрел на меня пристально: уловил, должно быть, во мне странность. Так я думал, а впрочем, черт с ним, с этим Новиковым, и с заменой, и с обнаружением моей странности. С этой встречи с Новиковым стала исчезать моя тихость. Будто я порог иной жизни переступил. Взял да и сделал шаг в зону абсолютной тревожности.

И все-таки сам факт вот такого совершенно неожиданного столкновения с незнакомкой ошеломил меня. Это она должна была вместо меня войти сначала в восьмой «А» класс, потом в восьмой «Б», потом в восьмой «В». Она должна войти, тихая, великая, в бело-розовом, а может быть, в черном или пепельно-синем, войти и внести в класс пушкинскую осень, пушкинскую весну, пушкинскую морозную пыль, и пушкинских бесов ввести, и пушкинскую светлую печаль. Войти вместе с чудным неземным запахом, войти в сиянии солнечного дня и в пасмурно-синей хмурости низкого неба, войти в изысканно-нежные тона морозного утра, когда в восьмом «А», что с солнечной стороны, все дышит такой гармонией, что так и хочется не добавлять чего-либо от себя, а, напротив, черпать и черпать из милых детских лиц, чтобы чище и чище становилось у тебя на душе, и в восьмой «Б» войти, что с затененной стороны, где иная изысканность, тонкая изысканность покоя, войти в восьмой «В» класс, где яркость тонов полыхает пышущим здоровьем, веселым гвалтом, где цвет и звук соединились в один сплошной гудящий гул.

Я всегда переступал порог этих трех классов с легким волнением, иногда с сильным волнением, иногда едва не со слезами на глазах. Я переступал порог этих классов, точно надеялся услышать тонкий запах османии, услышать долгожданные слова:

— Простите, я уже приехала и буду вести уроки.

— Это необыкновенно! Хотите, я вам расскажу о ребятах.

— Конечно.

— Странно, но я вижу эти классы в цвете, в звуках. Это, знаете, так мелодично. И я так ждал. Вам непонятно?

— Нет, очень даже понятно. Я сама немножко пишу и рисую.

И я рассказываю о том, как еще там, в северном поселочке Соленга, увлекла меня идея гармонически развить детей, и как только великая идея и великое подвижничество могут вызвать к жизни самые наилучшие воспитательные средства.

Я об этом расскажу ей, о том, что старые формы общения с детьми изжили себя, что настоящая детская самодеятельность тогда может получиться, когда она насыщена истинным духовным содержанием.

— А что значит истинное? — спросит она.

И я отвечу:

— Истинное — это значит истинное. Я пока что по-другому не могу объяснить. Я научился различать истинное в детских лицах. Когда их лица становятся добрее и, главное, светлее, значит, мы на подходе к истине...

— Вы опять о цвете? — спросит она и улыбнется.

— А вот здесь не о цвете, а о свете речь идет. Это не одно и то же. Цвет — это лишь внешнее выражение формы, а свет — это духовность в развитии, это нацеленность на будущее. Я всего лишь несколько недель занимаюсь с детьми в Печоре и не могу не восхититься тем потоком света, который буквально захлестнул меня. Там, в Соленге, я имел дело с сельскими детьми, этакими тугенькими грибочками, попробуй подступись к ним, их души так плотно прикрыты, что подступиться к ним почти невозможно. Они берегут свое и не хотят пускать в свой мир посторонних. Они сама природа, не терпящая вмешательств извне. А здесь совсем другое. Здесь большинство детей продукт активных вмешательств культуры. Их напичкали музыкальными гаммами, художественными представлениями, они побывали в музеях, начитались различных книжек, насмотрелись всего в жизни, и, если хотите, весь этот почерпнутый ими материал закупорил их источники света...

— И вы пришли им на помощь?

— Не смейтесь. У каждого ребенка острая потребность творить настоящее добро, искать настоящую истину, учиться чувствовать настоящую красоту.

— И вы хотите весь этот мир организовать?

— Нет, я хочу наполнить каждого таким духовным содержанием, чтобы дети, когда они встречаются без нас, продолжали бы начатый с нами диалог о развитии человеческой культуры.

— Выходит, у них нет права на свой собственный диалог?

— Это как раз и есть главная цель — сделать их рост диалогическим, а не монологическим.

— Это что-то новое?

— Нет, это забытое старое. Гармоническое развитие не есть запоминание суммы знаний о музыке, литературе, технике. Это прежде всего страстный поиск истины, это гармония с другими, с природой, культурой, с людьми и с самим собой.

— С самим собой?

— Это самое главное. Гармонии с самим собой не достигнуть лишь средствами «парного» общения. Ребенок должен не приспосабливаться к другим, а воссоздавать в себе самом развитие человеческих идеалов. Это воссоздание в себе культуры и опыта приближения к идеалу и есть воспитание.

— Потому вы и к истории пришли?!

— Я восхожу с детьми на гребни исторических исканий. С вершин становятся обозримее поиски прошлых поколений.

— Только прошлых?

— Вы знаете, я вычитал у Макаренко одну мысль. Он писал письмо своей возлюбленной: «Вышел я вечером во двор колонии: у моих ног лежал созданный мною мир...»

— Не находите ли вы в этой фразе некоторое суперменство?

— Нахожу. Иногда я и себя ловлю на том, что

любуюсь своим самоосуществлением в детском общении.

— Вы против сильной личности?

— Я за сильную личность — и педагога, и ребенка!

— Вы экстремист?

— К несчастью, я еще не освоил полутонов, а это так важно. Кстати, вы знаете, какие тона преобладают у Пушкина?

— Нет.

— Синие, красные, черные и белые. А у Достоевского, как это ни странно, гамма размытая: розово-голубые тона, желто-коричневые, грязно-белые, темно-коричневые, а есть еще цветовая гамма Фета, Тютчева, Апухтина. Я уже сказал, мне почти недоступны полутона и переливы. Вы, например, вся из полутонов, и мне непонятно, как один цвет входит в другой...

— Я прошу вас, не касайтесь меня, пожалуйста. Вам жить, а я вся в прошлом...

Видение исчезает. Зато я острее ощущаю лица моих детей в классе.

Я и теперь вижу этот мой класс в цвете. Цвет остался в памяти. Ни с чем не спутать.

Класс «А» — черный бархат с розовым: не та чернота, которая черным-черна, а та изысканность глубины темной, которая, как у Ренуара, вся в свету, в солнечных бликах, в полнокровии цвета. Цвет на качелях в голубой листве. Может быть, оттого, что классная комната была в самом солнечном месте: лица всегда струились в потоке света. И на улице этот класс вижу. От морозной легкости еще тоньше розовость оттенков. Лица вобрали всю белизну снега, всю солнечность морозного серебра. И по белой парче рубиновое звучание — это Оля Бреттер плывет, едва заметное плоскостопие, ноги в унтах — посредине цветной узор, точно из снега красная брусника к ногам кинулась. И стремительность скольжения Светы Шафрановой. На ней черное пальто в рубчик. И белая шаль, не розовая, а ослепительно белая, и лицо белое, и на нем как высеченные резцом дуги бровей и смеющиеся глаза. В ней все совершенство — и этого-то будто никто и не замечает.

И Юля Шарова — голубое на белом снегу; пальто голубое, валенки голубые, глаза бирюзой. И мальчишки — строгая линия, черно-белая гамма, спортивные куртки, белые воротнички. Всматриваюсь в фотографию. В центре Валерий Чернов — лучший математик и круглый двоечник, помешался на лошадях и собаках, влюблен в Свету Шафранову, и она к нему как-то странно относится. Видел однажды в походе, как она торцом стебля сосчитала веснушки на его лице — двадцать семь!

И Саша Надбавцев, этакий блуждающий взгляд, и любимое словцо: «сударь», и девочкам: «сударыня», и только Свете Шафрановой: «Как чувствует себя мисс?», и мне: «Я вас очень прошу, не затрудняйте себя своим вниманием», и солнечный зайчик в руке— это лезвие, которым Саша на уроке вырезает на своей руке слово «Радио», по-настоящему вырезает, промокашкой впитывает кровь, отчего вздрагивает спина впереди сидящей Шафрановой, он ей что-то доказать хочет.

И Коля Кузьмин — русая взлохмаченность поверх высокого затененного лба, очки в роговой коричневой оправе, губы умброй натуральной, и пристальность в себя, оставшаяся с ночи, когда он двадцать раз повторял великую фразу философа: ничего нет в мире, кроме звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас. И томик стихов рядом.

После моих тихих соленгинских ребятишек, пахнущих хвоей, настом и брусникой, этих печорских ребят я детьми назвать не мог. Здесь все требовало равенства. Больше того, из всего этого черно-розового гурманства вылезало превосходство.

Эвээмные мозги Новикова все подсчитали, все учли в распределении трех восьмых. В этом ослепительно-розовом «А» классе и его сын — Эдуард, которого зовут Кидэ — прочтешь наоборот — получится: Эдик. Он весь в отца: такая же голубизна глаз, еще новорожденней цвет лица, и оценочность в глазах, разрешительность, при его малом росте — солидность синего костюма, солидность манеры сидеть, ровность голоса — куда все это подевалось потом? Через двадцать пять лет мне скажут: «Спился Кидэ».

А пока Кидэ всматривается в меня на первом уроке, и Чернов рот раскрыл, и Светлана Шафранова забылась и смеется, когда я дерзкую пушкинскую легкость прорисовываю. И Коля Кузьмин, не сдавшись, все же примкнул ко мне: помимо своей воли примкнул, забыл о себе, слушает.

— Вы моих оболтусов совершенно покорили, — скажет мне Екатерина Ивановна Бреттер, это ее дочь в моем классе.

А я уже бегу к Тарабрину и покупаю Вересаева, и Вяземского с Пушкиным прошу — и все горит во мне, точно я заветные карты из «Пиковой дамы» вытащил.

У каждого человека свое родство с Пушкиным. Какая-то особая счастливость исходит из Пушкина. Новиков не удержится, придет ко мне на урок, в михайловский период войдет со мной Новиков, в сосланность пушкинскую, во мрак заточенья, в заснеженность грустную, разбитую звонким колокольчиком. И мне непонятно, почему бы Ивану Ивановичу еще на один денек не задержаться в глухомани, которая никак не вяжется с живой лучезарностью поэта, и облик Анны Павловны, в сиянии которой пройдет весь урок, потому что в этом стихотворении вся пушкинская философия, его надежда и ожидания. И еще в этом стихотворении, в это я уверовал, все мои предчувствия. И когда я готовился к уроку, я готовился так, будто сейчас, именно в этих трех восьмых классах и должна произойти моя долгожданная встреча. Я напрочь отбросил весь тот отвратительный школьный педантизм, всю ту мелкотравчатую методическую изуверскую расчетливость, какой я уже владел к тому времени в совершенстве. Я отбросил все это, чтобы ничего мне не мешало возвыситься до пушкинских строчек, до моего приближения к прекрасной незнакомке. Здесь, в этих трех классах, куда я временно зачислен волею случая, нелепого случая, отодвинувшего меня от живой встречи с близким мне по духу человеком, я

дарил себе нового Пушкина, я и ей дарил нового моего Пушкина, выстраданного и солэнгинскими днями, и печорскими ожиданиями, когда изо дня в день, прибавляя себе что-то к своей душе, я ждал и надеялся, плакал и радовался, томился и страдал, мучился и снова ждал. И когда я вошел в класс, в это тончайшее свечение человеческого духа, вызванного и их долгими трепетными ожиданиями, на какие способна только юность, я понял, что произойдет именно то соприкосновение духовностей, когда непременно обнаружится человеческая страсть, человеческая красота. И в этом классе, в восьмом «А» классе, в светящейся белорозовой тишине, в голубых и алых с черным бархатом, серебристых, подвенечно-белых и иссиня-кобальтовых, истинно пушкинских красках — Пушкин читался, будто только его здесь и недоставало. Все было: цветовая гамма была, наполненность голосов была, юность была, любовь была, а его страсти не было, его увлеченности не было, его дерзкого вдохновения не было, его возвышенной интонации не было. И от отсутствия его высоты все самое прекрасное, что может быть в юности, отдавало обыденностью, грозило обратиться в тусклую унифицированную ординарность.

Я рассказывал о Пушкине, а мне так хотелось, чтобы все то, что противостояло поэту, соединилось и с теми, кого я не принимал в этой жизни, и всех знакомых мне чиновников, и всех рьяных хранителей пошлости, и всех, кто непременно будет убивать новых Пушкиных, и даже не Пушкиных, а просто чуть-чуть похожих хоть в чем-то на поэта. Изредка я косил на последнюю парту, где сидел Новиков. Одно его плечо в синем костюме возвышалось над партой, а другое куда-то съехало вниз, отчего на парте как-то несуразно торчала его огромная красная голова, получалось так, что и плечо и голова были вроде бы как по отдельности, и оттого, что неудобно было сидеть Новикову в такой позе, голова его налилась кровью, и только глаза светились чистым голубым пламенем.

Потом неожиданно Новиков разговорится в кабинете и скажет массу тонких вещей о том, что между восприятием детьми материала и творчеством самого педагога есть какая-то особая связь. С одной стороны, учителю должно быть наплевать на симпатии детей, здесь Новиков явно цитировал Макаренко, которого, впрочем, он не любил, н е л ю б и л, это мягко сказано, он его просто не брал в расчет, презирал, считал человеком вредным, но необходимым для проведения идеологии, просто время такое, что он нужен был, так вот, с одной стороны, подчеркивал Новиков, педагог должен до зарезу нравиться детям, а с другой стороны, дети должны знать, что ему, педагогу, на их симпатии наплевать. И будто у меня эта органическая связь в самом противоречии была, то есть я как учитель так был увлечен самим материалом, что рожденная этой увлеченностью сила не могла не захватить детей. И дети, воодушевленные рассказом, уже создавали ту необходимую психологическую атмосферу, без которой не может быть хорошего урока. Надо сказать, я был восхищен Новиковым. Он говорил коротко, но умно. Это было потом. А там, на уроке, я делал все, чтобы подчеркнуть, что мне и на Новикова, и на психологическую атмосферу наплевать. Новиков приметил это мое внутреннее отношение, и потом я догадался, почему оно ему пришлось по душе, это отношение. Много спустя я это понял. Дело в том, что Новиков был личностью особого склада. Он жил так, будто знал, что он вечен, а следовательно, все ему дозволено. И делил людей на две группы: на тех, кому все дозволено, и на тех, кому ничего не дозволено. И меня он поначалу причислил к ряду близких ему людей. Впрочем, возможно, это мои досужие домыслы. Просто тогда был звездный час моей педагогики. Все во мне пело. Был необыкновенно светлый день. Морозное серебро искрилось за окном, через прогретое стекло вливался звонкий, ликующий свет, класс был переполнен этим светом, и лица детей наполнились этим светом, и Новиков был уже приобщен к этому свету — совсем прижался подбородком к черной парте и глаза его уже подернулись слезой: рассказывал я про грустные пушкинские минуты. А потом меня понесло на такие ассоциации, какие приходили на ум лишь при плотно закрытых дверях, а тут при Новикове, а мне плевать было на Новикова, он для меня никто, да и время кончилось, когда вот так брали по доносу такой сволочи, как этот Новиков, и упекали на какую-нибудь пятьсот первую стройку, так вот при Новикове вылилось что-то такое, что во мне всегда сидело как противоречие: Пушкин Пушкиным, а истина истиной. Прав ли был Александр Сергеевич, когда кричал: «Самовластительный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу»? Не просматривается ли в этом призыве поэта-юноши стремление достичь цели любыми средствами, даже ценой неоправданной жестокости? Позднее эта макиавеллистская позиция у Пушкина приглушается, больше того, он восклицает: «Не дай же бог увидеть русский бунт!» Я не случайно назвал сейчас Макиавелли. Флорентиец Макиавелли, чтобы сохранить республику, говорил, что для достижения этой цели все средства хороши, даже подкупы, убийства, поджоги и отравления. Человечество осудило Макиавелли, развивавшего идею — все средства хороши, и человечество признало энергичный порыв республиканца Макиавелли, защищавшего республику, демократию, свободу. Защищавшего так же яростно и страстно, как это делали Пестель и Каховский, Рылеев и Пушкин.

Я чувствовал, как Новиков включен в ход моего мышления, как он мучительно соображает, должно быть, припоминая факты из истории русской, из истории средних веков, сам-то Новиков историк, а я выхватываю новую порцию пушкинских идей, пушкинских действий, пушкинских утверждений...

— Вы будете у меня работать, — скажет мне Новиков после урока, и под руку возьмет меня, и на виду у всех пройдется со мной до самого кабинета, пройдется в знак особого признания.

— Хотелось бы несколько соображений, — сказал Новиков, переступая порог кабинета. — Представьте себе, мне понравилась ваша манера соединять историческое с литературным. У меня всегда была такая же мысль, потому что история чересчур суха, а литерату-

ра не всегда точно передает исторические факты. А вот в синтезе... Интересна ваша трактовка Макиавелли и Пестеля. Никогда мне в голову не приходило. А что, Пушкин действительно так высоко оценил Макиавелли? Как мало мы знаем отечественную культуру! И относительно Петра хорошо вы сказали, и насчет того, что Петр не мог появиться без громадной работы, проделанной Иваном Грозным и Алексеем Михайловичем...

Я слушал Новикова, и мне ужасно хотелось спросить, когда и где я могу увидеть новую учительницу, а Новиков после каждого своего историко-литературного резюме повторял:

— Будете у меня работать.

— А как же все-таки с новой учительницей?

Как только я произнес эти слова, так Новиков побагровел.

— Что вам известно о Вершининых?

— Каких Вершининых? Я ничего не знаю, — пролепетал я, но тут же меня охватил гнев, откуда-то взялось самообладание, в голове как-то мгновенно все просчиталось: мою незнакомку зовут Вершининой, с нею связана какая-то тайна; я понял: наступил такой момент, когда я либо сумею защитить себя, либо паду растоптанный им, Новиковым, поэтому я закричал: — Не кричите на меня!

Во мне все напряглось, в руках моих оказались конторские ножницы, я швырнул их на зеленое сукно стола, Новиков притих, улыбнулся, сказал:

— Ну-ну.

Что означало это «ну-ну», я не мог понять, а Новиков уже улыбался по-доброму, рассматривал меня в упор.

— Где сейчас Вершинина? — тихо спросил я.

Новиков, должно быть, снова удивился: с кем он, собственно, имеет дело, с нормальным человеком или с сумасшедшим, удивление несколько скомкалось, так как в кабинет вошли оба завуча разом. Они, я это приметил, уловили мгновенно отношение Новикова ко мне, потому и улыбнулись обе. Из головы у меня не выходила фраза Новикова «Будете работать», и звучала эта фраза так, будто в ней говорилось о том, что моя долгожданная встреча не состоится. Мне так вдруг захотелось бросить все и уйти в мой книжный мир: книг я уж порядком поднатаскал от Тарабрина, уйти снова в вечернюю школу к усталым людям, рассказывать им об искусстве и не знать этого противного Новикова и его помощников. Но мое упадническое настроение мигом рассеялось, когда в коридоре со всех сторон меня обступили дети.

— А вы еще нам расскажете о Пушкине? — это Света Шафранова.

— А где можно прочитать про Возрождение?

И совершенно неожиданный вопрос:

— А вы знаете, кто такой Плевако?

Я отвечаю на все вопросы, и мне лучше делается оттого, что эти вопросы есть, и оттого, что я на них так ладно отвечаю, и я понимаю, что вопросы идут сами по себе, а интерес ко мне как к человеку идет как бы совсем по другим измерениям, и я этот интерес ценю больше всего, именно от этого любопытства становится мне еще лучше. И не дает покоя странный вопрос рыжего мальчишки, которого интересует судьба Плевако.

— Адвокат Плевако? — спрашиваю я.

— Адвокат, — обрадованно говорит мальчишка.

А я больше ничего о Плевако не знаю. Ровным счетом ничего не могу о нем вспомнить, то ли он прогрессивным был, то ли реакционным, и я спрашиваю:

— А почему тебя Плевако интересует?

Чернов (так зовут мальчишку) улыбается и говорит:

— А фамилия очень интересная — Плевако!

— Не слушайте его, Черя всем учителям задает этот вопрос, — говорит Саша Надбавцев.

Со звонком я ухожу от ребят. Обещаю им прийти и рассказать о Пушкине, Рафаэле, Макиавелли, Платоне и Моцарте. Как только я остался один, так снова вспомнилась фраза Новикова: «Будете работать». И какая-то ненависть взыгралась против него. Новиков не спросил, хочу я работать у него или нет. Он решает, что для меня бесконечное счастье получить от него такое предложение. В общем-то так оно и есть, но зачем же стальной обруч на запястье, я и сам добровольно приду, если все хорошо сложится, если иные проблемы мои будут решены. Я пытался было посоветоваться с другими учителями.

— А вы знаете, мне предложили работать с тремя восьмыми.

— Соглашайтесь.

— Но какая-то учительница собиралась прийти.

— Мало ли кто собирался?

И мне от этих слов стало не по себе. Кто она, эта учительница? Почему о ней никто ничего не знает? Почему Новиков ничего не говорит? Почему я сколько ни бродил по городу, господи, весь город — одна-две улицы, а ни разу больше не встретил девушку в розовой шали. По мере того как шли мои безнадежные поиски, росло недоверие к Новикову. И вместе с тем меня так тянуло именно в дневную школу, именно в восьмой «А» класс, где все как-то напоминало о незнакомке, и даже не потому, что она должна была работать в этом классе, а совершенно по иным причинам, что-то от общего настроения класса, от общего движения детских лиц было сродни всему облику девушки в розовой шали. И еще что-то таила в себе эта дневная школа, учителя что-то несли в себе, и было в них что-то очень схожее с тем душевным состоянием, какое было в девушке, повстречавшейся мне в том злополучном автобусе. Здесь был Новиков, который, наверное, точно уже знал, кто такая эта новая учительница. Непонятно было, почему Новиков совсем не желает говорить о ней. Приходит в ярость. Злится, и я больше не могу задавать одни и те же вопросы. Я много говорю с другими учителями о Новикове. Его хорошо знают. Боятся. Новикову нужны рабочие лошадки, говорят учителя. Ему стойло подавай, с уздой чтобы, с цепью, с хлыстом на гвоздике у дверей, с множеством разных оглоблей, каждому свои, и тарантасы чтобы неслись по дорогам, а хоть и по бездорожью, чтобы его, Новикова, в этих тарантасах несли к новой славе, к новой власти. И не знает Новиков, что через десять — пятнадцать лет эта слава канавой

обернется, и паралич ему порезом щеку вывернет, и багровая синева сменит розовый блеск кожи на его лице. Пока что до этих канавных рельефов далеко. Сейчас самая власть подошла. С опаской говорят о нем, будто в особых ведомствах у него есть какие-то дела и даже должности: по ночам там сидит, важные государственные задачи решает. Он один из немногих, а может быть, и единственный, проделывал такие вещи, какие никому и не снилось проделывать; из лагерей брал людей, лишенных всех конституционных прав, брал на работу, доктора и кандидаты наук у него трудились чуть ли не лаборантами, точнее на ставке лаборантов, даже Екатерина Ивановна Бреттер, последовавшая вслед за мужем в эти ссыльные края, тоже поначалу лаборантом в физкабинете была.

Здесь же учительствовал известный математик Покров, в прошлом, говорят, эсер, а потом я узнал, никакой не эсер, а так просто — велось какое-то дело, и его привлекли, три дня в аквариуме держали — подвал, где по пояс воды было, «признался», назвался эсером. Величественный старик. Белый как лунь. В зимнем пальто в классе, даже если тепло, живые, маленькие, совсем черные глаза из-под седых бровей, и алые губы, так идущие седине, он входил в класс, не замечая ребят, садился, откидывая полы черного суконного пальто, потом раскрывал журнал и спрашивал, кто пойдет к доске, мгновенно несколько рук выбрасывалось вверх, и Покров небрежно вызывал кого-нибудь к доске, просил две линии провести, а потом выходил следующий и что-то дорисовывал по просьбе учителя, ставил буквенные обозначения, а потом предлагалась какая-то новая задача, связанная с этими двумя линиями, и класс напрягался и думал, как же наилучшим способом провести еще две линии, чтобы задача разрешилась нужным ответом, а затем вдруг все смолкало, потому что все напряженно думали, так как Покров к главной математической мысли подводил, и вдруг лица детей преображались, появлялся прямо-таки лихорадочный блеск в глазах, щеки алели, у Чернова они так наливались кровью и так он непременно хотел выбежать к доске, что его едва удерживало на скамье, еще немного — и слетел бы он сам, и Покров отмахивался от него: «Дай другим сказать». И другие пыжились, постепенно втягиваясь в сложнейшую математическую игру, и потом вдруг к общей радости выводилась новая теорема, над которой человечество билось несколько тысячелетий, и Покров говорил:

— Это и есть новый урок. Тебе, Чернов, пять, тебе, Света, пять и тебе, Оля, пять. А теперь сами сочиним задачку...

Я сидел на его уроках и впитывал в себя этот уважительно-творческий дух общения с детьми. И Покров меня, так мне казалось, полюбил и тоже свои книжечки предложил посмотреть. Я попытался однажды с Покровым о Новикове заговорить. Но ушел старик от разговора. Нервно как-то ушел. Оборвал разговор. И все же Покров чувствовал себя защищенно в школе. А может быть, у него иного выхода не было. Как не было выхода и у другой учительницы —Анны Прокофьевны Шамовой. Я такой раскованной учительницы в жизни своей не видал. Выскочит бывало, она на переменке в коридор, и ну играть с детьми. И как-то ужасно естественно у нее это получалось. Выставит руку свою ладонью у спины, закроет глаза и кричит: «Бейте!» И человек двадцать ребят, сшибая локтями друг друга, тянутся ударить учительницу по руке. И Новиков мимо пройдет, ничего не скажет, потому что Анна уроки дает — «первый класс».

И Екатерина Ивановна Бреттер, с большим вырезом на груди, раскатисто засмеется с детьми, которые ее окружат со всех сторон, она настоящая ссыльная, за мужем приехала, чтобы как-то помогать ему, разбитому радикулитом.

И Лора Вольнова снимет лодочки и с ногами на диван заберется, будет, напевая, листать тетрадочки. И Рубинский Альберт Михайлович, тоже математик, зануда, фанатик, капелльное пение ведет. «Бам-бам, слышен звон кандальный» — будет разучивать с детьми, и когда разучит, мороз по коже продерет всех и бог знает какие ассоциации возникнут у каждого. И Рубинскому многое разрешается, этот эстет заберется на стул, который он поставит в классе на учительский стол, и будет следить за детьми, чтобы контрольную никто не списывал. И даже эта вольность по душе придется Новикову, потому что уроки у Рубинского блестящие, и хор этот капелльный самый лучший в округе.

И Рогову, совсем ахматовского плана женщину, литераторшу, тоже сосланную из столицы, я здесь увижу на уроке, и поразит меня ее простота, и ласковость поразит, когда она, свободно рассказывая, меж партами будет ходить и скажет как бы невзначай, поглаживая по головке ученика:

— Ну что же ты загрустил, миленький?

Это потом уже я узнаю, что Новиков в кабинете всех этих умудренных и изысканно-тонких в свое время по очереди, по случаю, расхлестывал по щекам, и мат стоял в кабинете, и Шамовой он выдавал: «Сука!», и за бороду тряс эсера, и в Бреттер впечатывал ругательства.

Но и у авторитарности есть своя свобода, если она ориентирована на культуру. А Новиков культуру чуял, как золотоискатель чует залежи. Эти залежи он на карту в своем бойком сознании наносил, разработчиков ставил, вышки с фонарями воздвигал, проволокой окантовывал границы. В кабинет тот редко кто входил, разве только за особым разносом. Чужие уроки Новиков посещал в двух случаях: принять — уволить. По урокам ходили ежедневно два завуча — Фаранджева Мария Леонтьевна (головка набок влево), в белой блузочке с черным крохотным шнурочком-бантиком в два витка, в черном костюме, глаза керосиновым блеском отдают, щеки чуть свисают книзу, однако плотные; разгневается — не кричит, а только жаром обдает, в общем-то, добрая душа, на ней и школа держалась, и второй завуч Валерия Петровна, стройная, за очками глаза близорукие, и головка набок в правую сторону. Так что если оба завуча шли рядом — шатер получался от склоненных головок.

Я был обласкан завучами. Марья носилась вокруг меня:

— Как вы хотите, могу и сдвоить уроки, могу и свободный день дать. Замечательно, что вы классное руководство в восьмом «А» согласились взять, — это подвиг: все отказываются от руководства. А вы нас выручили.

И второй завуч, Валерия, томность тошнотворную развела:

— Ну присядьте просто так, поболтаем. О вас так много говорят. Как хотелось бы с вами посплетничать о классе. Знаете, Валерка влюблен в Свету, а Света терзает мальчика. Кокетка. Они мне доверяют. Приходят вечером домой и все рассказывают: и как первый раз поцеловались, и как провожали друг друга. У Светочки такой цвет лица и брови домиком, не замечали? — брови домиком, когда удивляется чему-нибудь... Ну садитесь же... Ну что же вы такой скромняга, я вас кое-чем угощу.

И головку набок, вправо. И смех пошел от нее, не то чтобы сплюснутый, а совсем отжатый до предела, такими тоненькими листиками-ленточками закрутился, трубочками, точно из станочка вывертывался, не какое-нибудь протяжное «хи-хи», а совсем нескончаемая трель. И выкручивалась эта тонкая ласковость до тех пор, пока от нее патокой на запахло, растопленным медом не заоскомилось, свежим, вощинным, солнечным, собранным по капельке со всего белого света.

Я плавал в этой теплой растворенности: как падок же я до обласкивания, как забывчив и слеп!

И как сложна эта самая авторитарность под сурдинку, с интимными прожилками, приглушенными интонациями.

— Ну взгляните же, какими они милыми были в пятом классе. — Валерия Петровна протягиваем мне фотографию, всю головками усыпанную, — сорок штучек на маленьком листике вместилось... — А сорок восемь не хотите? Это сейчас под сорок, а раньше, года два назад, было и по пятьдесят шесть, зайдешь в класс, а они как птички на проводочках, а потом все скатываются стайкой, усаживаются на парточках. А вот альбомчик посмотрите: здесь и Репин, и Васнецов, и Суриков. А вот другой альбомчик: по местам боевой славы. Очень помогает в работе. Могу вам один подарить. А вот и чайничек вскипел. Хотите смородины тертой? Я, знаете, такая сластена. У меня дома, поверите, двадцать видов варенья, даже из кабачков...

— Из кабачков?

— Представьте себе, это такой деликатес! Витаминозно, вкусно и, знаете, абсолютно феноменально. Никто не может признать кабачки. И представьте, с семечками...

Многое готова мне вывернуть и вывалить Валерия Петровна, и не мне она угождает, а (я раньше и сообразить этого не мог) Новикову, от которого заданность была получена, этак невзначай брошена: «Привлечь», потому и кинулась Валерия Петровна в закрома своей щедрости, попроси я у нее в тот миг шубу, шубу богатую, может быть, пыжиковую, а может быть, еще какую, только шубу особенную, которую страшно по ночам носить, этакое целое состояние, наброшенное на обыкновенное человеческое тело, шубу, которая и снаружи холодом не берется, так вот, попроси я в тот миг эту шубу, этак запросто: «А нельзя ли в придачу к боевым местам еще и шубу, я ее быстро снесу, может быть к Тарабрину, на книжечки сменяю, а может быть, на красочки, цена которых, ежели пачками брать, бог весть какая», то она не задумываясь выскребла остатки своей щедрости и сказала бы: «О чем разговор? Шубу так шубу. Никому бы не отдала, а вам с радостью. Сделайте одолжение. Сейчас ребятишек упрошу, они вмиг вам снесут куда следует...»

Что касается последнего штришка, то тут у Валерии Петровны была особенность: в ее душе бился мощный генератор, производивший неутоленность любовную. Ненасытность в закабалении чужих, даже пичужно-махоньких душ была столь велика и действенна, что в разные стороны шел от нее магнитнопритягательный свет: попал в этот свет — теряй свое «я», растворяйся немедленно в потоке и служи верой и правдой этой обильной женщине с головкой вправо. Ее нельзя было встретить одну ни дома, ни в школе, ни на улице. Рядом идущий нес сумки, портфель, свертки. «Ну, Коленька, — говорила она восьмикласснику с наметившимися черными усами. — Ну возьми же меня, Коленька, под руку, иначе я упаду... А ты, Васенька, с другой стороны, вот так... Ну и мужчины нынче пошли».

Колобочком подкатывался Васенька, подбирался рукавичкой к шубному состоянию, алел лицом Васенька, оглядываясь по сторнам: не попасть бы на язык насмешнику приятелю, топал ножками до самого крыльца Валерии Петровны, переступал затем порог ее дома, раздевался и мялся в прихожей, а затем, обласканный теплотой учительницы (за головку и за плечи к груди прижатый — не увернуться от душистости второго завуча), садился и пил чай с кабачковым вареньем, и выбалтывал Васенька про все дела классные: и кто с кем дружится, и кто с кем переписывается, и кто о каком преподавателе чего думает, и какой преподаватель как высказывается про все.

Диву давались иной раз учителя осведомленности Валерии Петровны, когда она, повернув в тихости головку набок, вдруг напоминала:

— А я бы на вашем месте сделала бы другие ссылочки. Надо детям показывать буржуазную ограниченность и Пушкина, и Толстого, иначе мы до чего угодно можем докатиться. Это хорошо, что дети у вас любят Пушкина, но и критическое мышление надо развивать у школьников. Классовое мышление... Послушайте, о чем написал Вася Колесов в своем дневничке...

Я сижу у Валерии Петровны, и мне так хочется ее спросить, не знает ли она мою незнакомку, но я боюсь ей задавать вопросы, потому что она дергается как на сковородке, только дай ей уцепиться за что-нибудь, я совсем не исключаю и такой вариант: приходит Валерия в школу завтра — и к Новикову: «А вы знаете, чем больше всего интересуется Попов? Новой учительницей». Я, конечно, сразу же отвергаю самую возможность задать этот вопрос, да и что, собственно,

может знать эта Валерия, нет, с ней лучше про хозяйственные, про совсем нейтральные дела разговоры вести, про отопление, скажем, про электрическую проводку, про двойные рамы, про дрова.

Вот представится случай, непременно спрошу, не знает ли она чего-нибудь про новую учительницу.

И такой случай представился.

Я сказал, этак нехотя, словно потягиваясь, что поработаю недельку-другую, а потом займусь наукой, буду потихоньку готовить реферат да кандидатские экзамены.

— О вас так хорошо отзывался Новиков. Говорят, у вас на прежнем месте конфликт из-за ваших опытов произошел.

— Не было конфликта, — отвечаю я. — Я и сейчас дружу с директором, с которым начинал работать. Чудесный человек.

— Вас послушать — все чудесные.

— Что ж, и Новиков прекрасный человек, — сказал я. Пусть передает завтра своему патрону, как думает о нем новый учитель. — С ним, пожалуй, я и поработал бы. Но, по всей вероятности, не все так просто в этой жизни...

Она насторожилась. А я вспомнил, это мне мама всегда говорила: как начинаю я врать да выгадывать, так непременно запутаюсь и все дело испорчу. И тут я вдруг почувствовал, что запутываюсь, ибо насторожилась Валерия, и решил я в лоб сразу, будто наотмашь, да оно и совсем ладно получилось:

— Обманывает меня Новиков, подержит месяц-другой, а потом новую учительницу возьмет. Говорят, есть у него на примете одна...

— Вон вы о чем. Не бойтесь. Дохлый номер у этой учительницы. Теперь, даже если бы вы отказались у нас работать, это у вас не получилось бы, Новиков вас никому не отдаст.

— А как же та учительница?

— Я не знаю, о ком вы говорите. Если о Саватеевой, так эта старуха и литературы толком не знает. Не поставит ее Новиков на класс, в котором учится его сынуля...

— Да нет же, речь шла о совсем другой, молодой, знаете, в такой розовой шали...

— Вы ее видели? У нас видели?

— Я ее видел, но, может быть, это и не она была.

Валерия расхохоталась. И это как-то разрядило обстановку.

Пробило десять вечера. А я все еще сижу, за окном вьюга шумит, швыряет белые комья в окошко, в печке дрова потрескивают: хоть и паровое отопление у Валерии Петровны, а все равно еще одна грубка-голландка дом греет, и от этой грубки уюта прибавляется — открыта печная дверца и оттуда жар идет.

Валерия Петровна, я это кожей чую, не то чтобы ревнует меня к своему бывшему классу, а наслаждается скорее тем, что класс и впредь будет ее классом, потому что все дети — не только Васенька, но и Валерий Чернов, и Юля Шарова, и, главное, Света Шафранова — это ее дети, и их родители — это ей близкие люди, и о каждом она сыплет подробностями: какая семья у Оли и какая семья у Светы. Валерия Петровна говорит штампами, но мне все равно приятно, как она говорит: «Характер цельный, решительный, натура любящая и искренняя» — это о Светочке. Рассказывая о юной Шафрановой, она то и дело на меня взглядом косит.

— Да-да, девочка удивительной чистоты, — подтверждаю я.

— Да откуда вам знать, миленький вы мой? — смеется Валерия Петровна. — Вы и представить себе не можете, на что способен этот маленький человечек. Услышали бы вы, какие она оценки дает учителям. Вот подождите, она и вас раскусит. По секрету вам скажу: вы оказались для нее загадкой. Ребята еще долго будут вас проверять, пока не поймут, кто вы.

— Как это? — спохватился я.

— Очень просто. Вот в прошлом году пришел к нам математик Пикулов. Долго присматривались к нему ребятишки. А однажды пришел Пикулов в школу в лаковых черных ботинках, в новеньком костюмчике, и так случилось, директор на него накричал в присутствии ребят, а этот Пикулов, весь вылощенный, пахнущий духами, стал лебезить перед Новиковым, и ребята тут же вынесли приговор: «Чичиков».

— Ну и дальше что?

— А что дальше? Не приняли его дети — пришлось Пикулову уйти из школы.

— Как это понимать?

— А как хотите, так и понимайте.

— Может быть, он как учитель был не на уровне?

— Что вы? Прекрасная подготовка у Пикулова. Интересный рассказчик, а вот не приняли его дети.

— Да где это видано, чтобы дети что-то решали!

— Поживете — увидите. Здесь все не так просто. У меня есть для вас одна тайна, впрочем...

Я насторожился: идет какая-то торговля. Валерия Петровна мне еще наливочки подлила в рюмку, еще какого-то варенья принесла. Мне бы встать, да уйти, да поблагодарить ее за чай да сахар, а я жду, какую она тайну мне преподнесет.

— Вы думаете, вас Новиков принял на работу?

— А кто же? Он побывал у меня на уроках...

— А вы знаете, почему он к вам на урок пришел?

— Почему?

Валерия Петровна улыбнулась.

— Все не так просто. Печора — нестандартный город. Здесь вся власть...

— Какая же это власть? — прикинулся я наивным.

— Все организации замыкаются на Москве — и управление лагерей, и многие другие управления.

— Ну и что?

— А то, что тот же Шафранов по рангу выше даже секретаря обкома, и его слово здесь в Печоре — закон.

— Ну и что?

— А то, что Ада Борисовна Шафранова на родительском комитете прямо о вас рассказала и попросила дать вам уроки в дневной школе.

— Кто такая Ада Борисовна? Это Шафранова? Мать Светы Шафрановой? Да плевать я хотел...

— Давайте лучше чай пить, миленький вы мой.

Неожиданно погас свет. Я сидел не шелохнувшись. Вдруг ощутил на своей руке ее теплую руку.

— Трудно вам придется. Это я вам прямо скажу. Хотите, я вам буду помогать? В голосе ее зазвучали совсем добрые интонации. В печке вспыхнули дрова, и багровый отсвет обозначил на стене ее огромную лохматую голову. — Ну что же вы такой вспыльчивый? У меня первый муж был такой. Говорила ему: «Не пыли», а он пылил. И что же? Пропал. Сгубил себя.

Я убрал руку. Встал. Неспокойно было у меня на душе. Свет снова дали. Я стоял у двери, и Валерия Петровна собачьими глазами провожала меня. Я чувствовал, что поступаю отвратительно, что должен был по крайней мере выслушать второго завуча, сказать ей: «Да, конечно же, я хочу, чтобы вы мне помогали». Я ей этого не сказал. Я отверг ее помощь.

Уходя, я приметил за ее очками злой блеск зеленых глаз. На улице с радостью вздохнул: как же изумителен этот мир! Как замечательно все то, что человеку по душе! Как хорошо, когда человек не предает себя! Я шел по слабо освещенной улице. Меня настигал автобус, и я заколебался — подъехать пару остановок или пройти этот отрезок пути пешком. В последнюю минуту я вскочил на подножку автобуса и оказался лицом к лицу с девушкой в розовой шали. Я сразу уловил ее крайне недружелюбный взгляд. Я, по-моему, улыбнулся — и это самое худшее, что я мог сделать. Она отвернулась, а я уже, наверное, ничего не соображал и поэтому в этот поздний час наделал тысячу глупостей. С этого позднего часа и началось все.

5

Рубинский, Альберт Михайлович, мой антипод человеческий, абсолютный антипод, неприемлемый, составленный из других вибраций, из иных ощущений. У меня особая неприязнь к мужчинам немужского склада: руки у Рубинского с длинными бескостными пальцами, всегда влажные, пепельные, чуть подсиненные в ногтях. Этими пальцами он постукивает по крохотной дощечке шахматной, она у него постоянно на коленях. Тихонько, едва заметно постукивает, точно к своим вибрациям прислушивается, а глаза в очках серым недовольством отсвечивают, и в такт постукивания что-то бубнят полные розовые губы, тоже чуть подсиненные в уголках, точно он замерз. А замерзать Рубинскому совсем невозможно: ботинки у него на толстых подметках, мехом изнутри нежатся, и нога, что поверх другой ноги закинута, в сером, домашней вязки, шерстяном носке, а чуть выше ногу закинет Рубинский, так и белье теплое высветится. Добротно одет Рубинский, а холодность, должно быть, из души идет, сырость какая-то из него выползает, точно вся его суть в тайных подземельях веками хоронилась: противопоказана ей бесшабашная солнечность. Иногда губы Рубинского вытягиваются и брови над очками приподымаются — это напевает Рубинский, к своему капелльному пению, должно быть, готовится.

Рубинский в коллективе особняком держится, так как многознанием отгорожен от всех: если не шахматная задачка у него на коленках, то редкостная книжечка, чаще всего дореволюционного издания. И книжечку эту он подчеркнуто напоказ держит, и я в душе восхищаюсь его бесстрастием, и все, я это чувствую, понимают, что стоит за этим бесстрастием: целая жизнь стоит, непонятная жизнь, говорят, в Канаде родился Рубинский, с какой же это стати Рубинский в Канаде родился, чего его занесло в канадский родильный дом, вот Новиков сам, тот, как и положено, в селе Кудлые Уши родился, неподалеку от Сивой Крыски, это нормально. Шафрановы, так те из Подольска, что под Москвой, это тоже нормально. Екатерина Ивановна Бреттер, так та из Москвы, сразу видно по всему, что из Москвы, Валерия Петровна из Бологова, что в «Анне Карениной» описано. А Марья Леонтьевна Фаранджева, та на станции Сукино родилась, что на границе Вологодской и Архангельской областей расположена, — все это нормально, а тут вдруг Канада, город Бренвиль, так в паспорте и написано, спрашивал я как-то мельком у учителей: «А что же это он в Бренвиле родился?» — покачивали головками учителя: «Не знаем», и приметил я — губы поприкусывали: подальше от греха, а Рубинскому хоть бы хны — сидит и на коленках вертит книжечку иностранную, раздражает ею учительский коллектив — у всех на памяти яростная борьба с космополитизмом, а он точно и не знает о ней, а только изредка бросает отчужденно-презрительный взгляд и на меня, и на учителей или вообще в пространство глядит, и когда в неведомую дальность обращается его душа, так глаза будто слезой обволакиваются, и тогда его лицо мне особенно почему-то становится близким: вижу, каждый волосик на его висках дышит противостоянием, ощущаю почему-то, что все в нем, каждая черточка лица, рук, каждое движение презирают меня, и это в одну секунду приводит меня в ярость. И я забываю о том, что он первый человек, с которым я поделился своим фантастическим замыслом — открыть школьный театр — восемь трупп, поставить десять спектаклей, которые создадут целый исторический ансамбль — это будет рассказ о взлетах и падениях человечества, о самых прекрасных и самых страшных его временах, это будет рассказ о том, как в одной эпохе, в одном отрезочке времени уживаются великая Красота и великое Зло. Я был поражен тем, что Рубинский не только хорошо отнесся к моему замыслу, но и еще согласился принять участие в постановке спектаклей, в разработке сценариев. Ему сама идея — объединить живопись, литературу, историю, философию — понравилась, и он набросился на книжки, которые доставал бог знает где, и вычитывал из них такие вещи, какие я бы нигде не нашел и какие сами в сценарий ложились: действительно, почему же Боттичелли был любимым художником и Савонаролы и Александра VI, папы римского, который сжег Савонаролу; почему Макиавелли так по-разному трактуется в истории; почему рядом с дичайшими зверствами, коварствами и преступлениями Борджиа, Юлия II и Климента VII творят высочайшие гении человечества — Леонардо и Микеланджело, Рафаэль и Боккаччо; а какова взаимосвязь Запада и России, ведь зачитывалась же боярыня Морозова со своей сестрой Евдокией Аристотелем и Платоном, сутками напролет

спорила и беседовала она, прекрасная боярыня, с протопопом Аввакумом о бессмертии души человеческой, о необходимости самоотречения, о презрении к суете, что же общего в Савонароле и Аввакуме?

Рубинский смотрит на меня, и улавливает мою ярость, и смягчается, и говорит со мной как с равным, а меня это тоже задевает, с какой это стати он снисходит, видите ли, до меня, до разговора на равных — мои идеи, мои замыслы, мой Борджиа, и Рафаэль мой, и Аввакум мой, я их душой чувствую, а не образованным мышлением, не краешком мозга, а нутром их присваиваю себе, так мне кажется, это потом я решу для себя, как же отвратительно я выглядел, как неправ был, как злобно недоверчив и завистлив был, но это только потом до меня дошло, а тогда я выхватил книгу из рук Рубинского, но тут же и точно ожегся, потому что Рубинский заметил с ехидцей мне: «Книжка не на русском языке». А я все равно листал книжку, и Рубинский любовался неподвластностью мне этой книжки и моим смятением. И все же он снизошел, и я притих, и все в учительской притихли, потому что Рубинский стал говорить впечатляющие вещи.

— Интересен путь Борджиа к власти. Он многих убрал на своем пути. Всех приближенных перевешал. Я определил его метод: убивать преданных и никому не верить! Якопо де Санта Кроче по сговору с Александром Шестым заманил кардинала Орсини в Ватикан и помог папе схватить Орсини. Прошло совсем немного времени, и папа обезглавил Якопо Кроче. Причем когда Якопо сидел в тюрьме, он молил папу пощадить, заверяя в своей всегдашней преданности Церкви. Папа вроде бы внял мольбам Кроче, который пообещал папе огромную сумму, если папа освободит его из тюрьмы. Александр Шестой получил от Кроче деньги, и тут обезглавленный труп Кроче был выброшен на проезжую часть моста Сант-Анджело.

— Очевидно, кто-то заложил и Якопо Кроче. Хорошо бы распутать эту цепочку, — сказал я.

— Меня интересует сам метод правления, который я обнаружил в действиях этих правителей. Один и тот же стиль у отца Борджиа и у его сына — Чезаре. Вот томик Макиавелли — здесь описывается аналогичная ситуация. Когда герцог Чезаре Борджиа занял Романью, пишет Макиавелли, он нашел страну в руках ничтожных грабителей, которые больше грабили своих подданных, чем заботились о них, и скорее давали им поводы к раздорам, чем к единению. И герцог признал: чтобы сделать страну послушной герцогской власти, необходимо дать ей хорошее управление. Поэтому он поставил во главе области мессера Рамиро д'Орко, человека жестокого и решительного, дав ему полнейшую власть. Тот в короткое время водворил в Романье мир и согласие. Заметьте, сам герцог Борджиа в стороне, а действует только его человек, жестокий Рамиро, который вешает и сжигает, сажает в тюрьмы и отбирает имущество. Макиавелли так и говорит, что Рамиро дана была герцогом чрезвычайная власть. Чрезвычайная. Потом герцог, как дальновидный правитель, понял, что власть Рамиро надо ограничить. То есть наступил момент, когда Рамиро мог стать сильнее герцога. Герцог следит за событиями. И однажды поступает таким образом. Выставляет разрубленное пополам тело Рамиро на площади Чезены, рядом поставлена была плаха с окровавленным ножом. Ужас этого зрелища одновременно и удовлетворил народ, и привел его в оцепенение. Заметьте, Чезаре Борджиа, как и отец, Родриго Борджиа, сумел уничтожить всех преданнейших своих единомышленников и этим самым укрепил свою власть, а главное, так задурманил голову народу, что все считали Борджиа самым проницательным, мудрым, добрым и самым справедливым правителем.

Рубинский увлекся, лицо его горело, и длинные пепельные руки, казалось бы, излучали едва приметный мерцающий свет. В учительской все будто застыли. Валерия Петровна набок головку повернула, сказала:

— Зачем вам такие исторические подробности?

— То есть как это зачем? — вскинулась Екатерина Ивановна.

— Надо думать и над тем, чтобы не отвлечь детей излишней, избыточной информацией, — это Фаранджева добавила.

— Не об этом надо думать, — вставил физрук Чаркин. — Есть здесь нездоровый интерес к власти. Нельзя детям давать такие факты, где бы просматривались некоторые наши недостатки.

— А какие это недостатки? — спросила Екатерина Ивановна. — Вы что-то не туда гнете, Александр Матвеевич!

— Нет-нет, сам по себе замысел интересен, — снова вмешалась Фаранджева, — но надо, чтобы не было искажения. А что касается отдельных фактов, то они, конечно же, ничего общего не имеют с нашим временем.

— Имеют, — сказал я. — Гитлер ничем не отличается по способу правления от обоих Борджиа.

Моя реплика сняла какую-то тяжесть у присутствующих. И лица как-то сразу просветлели, а то у всех, должно быть, были на уме другие ассоциации: недавно разоблачили Берию. В Печоре сам факт казни Берии был воспринят с некоторым ожиданием: пострадавшие ликовали, а представители лагерных властей были в некоторой растерянности — что же еще последует за этой неожиданной казнью?

Рубинский пояснял ситуацию:

— Последует длительный процесс. Общество должно выздороветь. Так говорит Бреттер. Когда вы познакомитесь с Михаилом Семеновичем Бреттером, вы поймете, что значит настоящая культура исторического мышления, — сказал Рубинский.

— Это отец Оли Бреттер?

— Да. И муж Екатерины Ивановны.

— Он был сослан сюда?

Рубинский промолчал. Я понял: допустил бестактность. Все же не принято было здесь произносить такие слова. Всеми, и даже самими ссыльными, создавалось впечатление: ничего не происходило, все хорошо было. Никого не убивали, не морили голодом, не истязали. Были, конечно, отдельные недоразумения, но это так... где их не бывает?

— У Бреттера есть книги?

— У Бреттеров лучшая библиотека в Печоре.

— Лучше, чем у Тарабрина?

— Не вздумайте при Бреттере говорить о Тарабрине. Они ненавидят друг друга. Оба работали с Луначарским и с тех пор воюют...

На следующий день мы отправились к Бреттерам.

Уютно у Бреттеров. Просто в комнате: огромный стол весь в свету, на столе хлебница старенькая из плетеных прутиков, в ней сухарики домашние. Чашечки, ложечки с витыми ручками. В углу, у стеллажей с книжками, сам Бреттер Михаил Семенович, весь коричневый: телогрейка меховая, точно ее недавно выдубили, краснотой замщится, валенки мягкие, специально для дома, почти как чулки, рубашка байковая, темно-коричневая, в клетку. Руки у Бреттера на груди, будто он шар в руках прощупывает: пальцы растопырены и согнуты, и подушечки пальцев обеих рук едва соприкасаются. Жест, чем-то напоминающий тонкое постукивание Рубинского по дощечке шахматной.

Бреттер хоть и молчит весь вечер, а все равно все слова к нему обращены. Оля, моя ученица, тоже здесь сидит. Она, как и отец, молчит, и так же, как и он, вдумчивость свою черными глазами рассеивает. У Оли на виске родимое пятно величиной с трехкопеечную монету. Родимое пятно, должно быть, наложило свою печать: не пикантная родинка, а черная грустная отметина, будто таит в себе родовое бреттеровское страдание, идущее то ли из глубин египетских, то ли из тевтонских окраин; поди разберись, откуда этот Бреттер, — родной его дядя по отцу был, как выяснилось однажды, дворянином, хранителем каких-то императорских ценностей, чуть ли не статским советником значился, а по матери сплошь вся родня в правдоискательстве замешана: и в Петропавловском равелине свой срок отбывали его родственники, и в Сибири на поселении жили, и к расстрелам приговаривались. Что за жизнь была у Бреттера до революции, мне неизвестно, только непонятно совсем, каким же образом репрессированный Бреттер не только уцелел, но и еще в Печоре почетным человеком стал.

При мне, я понимаю это, разговор идет доверительный — не каждого Бреттеры могут допустить к такой беседе: про оттепель говорят, про лагеря говорят, про бывших лагерных говорят, и про тех, кто освободился теперь, и про тех, кто не вернулся оттуда. Вроде бы это и дозволенный теперь разговор, а все равно не принято про эти все дела где попало рассказывать.

А я слушаю и про свое думаю: и этот разговор для меня чужой, и рассказы про лагеря мне чужие, потому что все то, что я знаю про эти дела и про то, как на мне все это отразилось, это совсем другое, не бреттеровское и не от Рубинского идущее, а совсем другое, на жестокой бедности и замешенное, это тоже, кстати, мне совсем непонятно, потому что я толком и не знал бедности, точнее, эта бедность была, но меня она почему-то не сильно коснулась, потому что я всегда ощущал в себе несметные богатства, и мама всегда ощущала, я это всегда понимал, и не только потому, что моя мама, в этом я был абсолютно уверен, была красивее всех женщин и умнее, и проворнее, и трудолюбивее, и — главное — жизнь знала, опять же я был в этом уверен, лучше всех, и мне внушала всегда: твое богатство — это твое здоровье, твои руки и твоя голова, всем господь бог тебя наделил, тебе остается только честно работать, и все у тебя будет. Верила моя мама, что от честности все и зависит в этой жизни.

Бреттер сидит и молчит в коричневом своем углу. Какая-то его родственница без умолку трещит про лагеря, где она пребывала в свое время, и как о смерти мужа узнала, и как бревно на ее подругу свалилось, потом узнали, что та стукачкой была. А я думаю о том, что я там, в школе, с Олей Бреттер как с ребеночком, а она живую историю в себя ежедневно впитывает — с казнями и с предательствами впитывает, с доносами и подлогами впитывает, и знает она про многие тайны бреттеровской семьи, про все легенды знает, про мнимые и подлинные версии знает, знает, когда и про что надо говорить, а когда только молчать надо, и это взращенное, выросшее в ней начало и есть ее могучее воспитание. И когда я ей про истины там, в школе, глаголю, то эти мои истины, должно быть, никчемной безделицей ей кажутся перед всем тем жизненным знанием, какое в ее душу заронили и сам Бреттер, и мама, Екатерина Ивановна, и эта родственница Солодовникова. И все же сердцем, я это улавливаю, Оля стремится к познанию неведомых человеческих глубин, тех, какие за пределами бреттеровского сознания обитают.

Я понимаю, она и сейчас полностью на стороне своей родни, и все же есть какая-то добрая тайна для нее и во мне, а я и сам не знаю толком о своей тайне; кто знает вообще, что в одном человеке скрыто для этой жизни, что откроется в нем, а что навсегда уйдет с ним в землю, и все же я весь в противостояние ухожу, я ощущаю это свое неаргументированное противостояние, с внутренним превосходством гляжу и на Бреттера, и на Рубинского — женщины, разумеется, не в счет, а вот на мужиков гляжу с некоторым презрением, потому что все, что в них есть, все, что обнаруживается и не обнаруживается, это не мое, это далекое от меня, и не потому, что отдалено от меня морями и океанами, как-никак в Канаде рожден был Рубинский, а совсем по другим причинам — все иное у этих напротив меня сидящих мужчин, кость иная, кожа иная, одежда иная, и во все это внешнее, во всю эту иную оболочку набиты совсем другие мысли, представления. Вот и сейчас говорит Рубинский, и в голосе его чувствуется превосходство, крен определенный чувствуется. Это даже не презрение и не гонор, а скорее осознание своей принадлежности к чему-то своему, клановому. Рубинский о Герцене говорит, об эмиграции говорит, о наших и не наших говорит, о том, что император был все же ближе к славянофилам, точнее, совсем их своими считал, так по крайней мере Герцен пишет. И Оля слушает и в чем-то поправляет Рубинского, она только что прочла «Былое и думы», а я про все эти дела знаю куда больше и куда точнее, а все равно Рубинский чувствует свое превосходство, и вмешайся я в разговор сейчас, он все равно поверх очков плеснет на меня своим презрением.

А у меня и по поводу славянофилов и западников другое мнение есть, не согласен я с Герценым, с какой стати я с ним должен соглашаться, до конца, есть какие-то черточки, которые мне прямо-таки неприятны в нем, например, его отношение к Некрасову и к Огареву, тоже мне еще праведник-моралист! Но я молчу. И другое многое мне не нравится в Герцене, но это другое я еще не могу сформулировать до конца, потому что только мысль блеснет, а она уже тут же другой мыслью опровергается. Я сижу и сам размышляю про славянофилов, про наших и не наших, и вдруг действительно яркая идея осеняет меня. Да они, рядом сидящие, не наши. С ними у меня никогда ничего общего не будет. Они противостоят мне, моей маме, Афоньке, с которым я в Соленге жил, Саше Абушаеву, всему простому люду, который света не видит белого, тысячу лет не видел, сейчас не видит и завтра не увидит. Точнее, у них есть свой свет, недоступный ни Герцену, ни Рубинскому, ни Новикову, а я этот свет вижу, потому что истоки этого света не в западничестве и не в славянофильстве, а во всей божественной человеческой культуре, и в Аристотеле, и в Сократе, и в Данте, и в Рафаэле, и в протопопе Аввакуме... Стоп! Вот где точка отсчета. Страшен мне протопоп, ненавижу в нем протопоповщину — и тогда, когда он хлестал кнутом прихожан, чтобы вера их чище была, и тогда, когда своих друзей, якобы во имя веры, предавал, и тогда, когда злобность в нем пылала, когда главные грехи — гордость, помноженная на гневность, — в нем клокотали, — и близок мне униженный и смиренный протопоп, продрогший, избитый и плачущий, любящий жену свою Марковну, и это протопоповское во мне живет, не дает покоя, меня испепеляет.

Мой разум погружается во тьму, я ликую, когда слышу его голос: «Богат я, потому что рыбы и молока здесь много, и еще богат, потому что корабль мне дан ангелами, и корабль этот я буду вести по морю жизни до последних дней моих, до последнего часа. И пусть буря, пусть прикован я к корме корабля, и ветер с пургой хлещет по голому телу моему, кафтанишко изодрался весь, хлебца нету, миленьких деточек давно не видал, голубицу незлобивую, женушку Марковну, давненько не слышал — а все равно есть самое главное — д у х — великий подвижнический божий дух». И я думаю: не савонарольский обманный дух, злобно-красноречивый, дьявольски-захватнический, а божий дух, ибо чист он изначально и, избавленный от суетности, способен светить всем, поведать истинный путь к спасению. И та грязь, в какой протопоп жил, и те муки, какие он перенес, так близки мне, ибо и мама моя рассуждала, как он: «Голубь незлобив, так как, потеряв гнездо и птенцов, не гневается, а вновь строит гнездо и заводит новых птенцов». Мама мне всегда говорила: «Не таи зла на людей. Будешь таить — пропадешь». Не объясняла мама, почему так надо поступать. Да я и сам для себя установил, что злопамятность убивает в человеке самое лучшее, что в нем есть. У меня и с Рубинским разногласия пошли, когда я предложил ему все же «ставить сцены по «Житию Аввакума». «Неинтересен этот твой Аввакум», — сказал Рубинский. «Как это неинтересен, да без него сцены о Савонароле просто ни к чему». — «При чем здесь это?» — «А при том, что Савонарола и вся эта Флоренция сами по себе нам не нужны». — «Здесь истоки всей европейской культуры. Возрождение. Ренессанс. Гуманизм». — «Но они нам тоже нужны только для того, чтобы понять истоки нашего возрождения. Если мы в себе не ощутим этой великой необходимости возродиться, тогда ничего не будет!» — «Чепуха!» — «Не чепуха. Способность к нашему возрождению — это, может быть, и есть единственная самоцель». — «Что и в ком возрождать?» — «В каждом и в самом себе ориентацию на высшие идеалы. Только для этого и необходимо показать детям разные образцы возрождения».

И вдруг я понял, в чем состоит мое противостояние с Рубинским и Бреттером. Они никогда меня не допустят к высшим идеалам, то есть они никакого права не имеют допускать или не допускать, только в своем сознании всегда за собой оставят власть над культурой, они, дескать, знают, что такое культура, что такое высший идеал, а я, как и протопоп, никогда не дорасту до понимания высшего, потому что я, по их мнению, плебс и мышление у меня враждебное, неверное, и если я и существую как-то по-особенному, то только в силу случайной одаренности, и они, постигшие все начала творческого духа человечества, просто берут меня в расчет как особь случайно выросшую, которую можно и приласкать. Мы на все глядим по-разному. Вот и в Рафаэле Рубинский видит свет и мазок, я же вижу совсем иное — мою маму вижу, человечество в своем младенчестве вижу, мою готовность погибнуть сию минуту вижу, свою смерть вижу, радость от этой моей смерти ощущаю.

— Вы с чем-то не согласны? — спрашивает у меня Екатерина Ивановна.

Я пробуждаюсь от своих мыслей. Гляжу на нее с открытой и доброй улыбкой и обращаюсь то ли к ней, то ли к Рубинскому:

— А все-таки мы сцены из «Жития» поставим. У меня сейчас замысел родился. Во многом не прав ты, Альберт Михайлович.

Я замолчал. Наступила в комнате неожиданная неловкость. Мне бы разъяснить что-то, а я продолжаю молчать.

Все глядят на меня: и Бреттер на меня уставился своим коричневым покоем, и Оля подняла на меня черные глаза, и Рубинский ждет, постукивая пальцами по столу. А я молчу.

— У Владимира Петровича есть склонность противоречить, — произносит Рубинский.

— Может быть, — отвечаю я, показывая, что не желаю вступать в разговор, а на самом деле я продолжаю про себя спорить. Я про себя защищаю и защищаюсь. У меня, в общем-то, нет претензий к тому, о чем они говорят. В общем-то, хорошо говорят. Наверное, так и надо говорить. Только все равно я с ними не согласен. Потому что они все равно не со мной. Потому что они другие. Потому у них такая на-

стороженность ко мне. «Неужели и у Оли настороженность?» — думаю я. В классе нет настороженности. А здесь она тоже с ними, а не со мной. В чем это выражается, я не знаю. Но я чувствую, что это так, Эта настороженность давно наметилась.

Я сижу, и во мне сама по себе развивается яростная потребность углубить водораздел, пусть и они отметят и поймут, что есть этот водораздел, пусть поймут, что недоступны им мои вершины, и мне в конце концов наплевать на то, что они там про себя решили, и рядом с водоразделом я выстраиваю невиданной высоты барьер, и сам на этот барьер забираюсь, и рядом со мной — мои единомышленники, господи, как же они убоги — уголовник Саша Абушаев, которого на горе закопали, Верочка, которой трамваем ножки отрезало, старичок Зейда, который мне папироски в долг давал, старушка Александра Николаевна, которая умирала вся в белом и в свету, а я почему-то так и не смог ее поцеловать, мама моя, свернувшая меня в покрывало и убежавшая ночью из родного дома, когда отца не стало, моя сестричка Леночка, которую фашисты убили, мои братья, их семеро, которые не вернулись с войны, и снова моя мама, которая в подвале прятала двух незнакомых мне людей во время войны, и когда кто-то сказал: «Не надо было ему говорить об этом» (это обо мне речь шла), мама покачала головой: «Тут все надежно!» — и я был горд тем, что мама так обо мне думает, и с каким же я презрением тогда, десятилетний, глядел на выразившего мне недоверие — все это моя жизнь, и с вершин этой барьерной моей видимости я гляжу на пепельные лица сидящих напротив мужчин и вижу, как добры и нежны их взгляды, точно чуют они мои муки и не просто снисходят ко мне, а, напротив, по-доброму, с очевидной нежностью глядят на меня, а меня все равно несет, и я начинаю городить новый свой барьер, казалось бы, невпопад все, а на самом деле впопад, в самый раз противостояние усиливаю, ибо знаю, как люто ненавидят и Бреттер и Рубинский уголовников, а пойди разберись, кто уголовник, а кто не уголовник в этой жизни, и я говорю об этом открыто, точно наотмашь луплю по лицам:

— А попробуй разберись, кто уголовник, а кто не уголовник в этой жизни. Да и вообще, что такое народ? Сусальность книжная? Какая-то изысканность души? Мне хотелось бы в этих сценах душу народную как-то, хоть чуть-чуть, приоткрыть детям...

— О чем ты? — спрашивает тихо Рубинский.

— У меня друг был, Саша Абушаев, — говорю я в настороженность лиц. Говорю, еще в сознании не зная, для чего говорю, но подсознание уже точно нацелилось на наступательное противопоставление. — Уголовником был Саша, а потом освободился — работал, а потом его убили. Ни за что взяли и стукнули монтировкой. Так вот, душа у Саши на редкость была тонкая...

— А это к чему? — перебивает меня растянуто, с паузой Рубинский. — А это к чему? Не о том мы сейчас...

Я смотрю в пучок световой яркости, где пересеклись невидимые струи взглядов, и в этом пересечении они сошлись в единомыслии, а я один отражен блеском этих соединившихся, сфокусированных глазных пронзительностей. Отражен и отброшен. Да, вроде бы к чему здесь Саша Абушаев, которого на горе похоронили в Соленге, и брусника пошла через несколько лет на его могиле? — я эту красноту потом под снегом через несколько лет увижу. К чему в этой оттепельной счастливости вспоминать о том, что так контрастирует с этой белой скатертью, с этими витыми ложечками, спрятанными в свое время в чемоданчики и вывезенными сюда, в северную ссыльность, чтобы, когда настоящая радость освобождения придет, они сверкнули в теплоте, о прошлом счастье напомнили, о будущих возможностях напомнили? Как великолепен этот лимонно-белый стол с жестко накрахмаленной скатертью, проглаженной тетей Дашей, которая тихонечко появилась и исчезла, такая робкая и милая тетя Даша, как моя мама, домработница, не обиженная, а обласканная домработница, которя как своя в доме, на полном доверии, на хорошем счету, которой к празднику (как и моей маме в свое время) всегда лишнюю десятку надбавят, чтобы сыночку тетя Даша выслала денежки. Это потом я уже для себя установлю, что в моей душе сидели бесы зависти, по писанию — один из самых тягчайших грехов человека, и кто знает, может, и мое противостояние на этой распроклятой зависти зиждилось, и я осязаю не некоторую, а фундаментальную противоположность условий моего и их развития, во всем эти условия разные — и в том, что в моем доме никогда не было таких витых ложечек, и в том, что иное воспитание получил Рубинский, я ощущаю неравенство условий, из-за которых я недобрал в этой жизни, а следовательно, вышел на жизненный старт с худшей подготовкой, я ощущаю и то, что природа наделила меня большим богатством, чем Рубинского, — это тоже неравенство, но неравенство другого рода, неравенство, которое подчеркивает мои лишь потенциальные преимущества — я и физически сильнее и крепче Рубинского, весь он худосочный, синюшный, я и природный вкус свой ни на что не променяю, и быстроту ума не променяю, хотя у Рубинского по этой части все на самом высшем пределе, легко ему дается и математика, и философия, и история, а уж что касается музыки, то Рубинский просто гениален. Но есть что-то особо заветное, что отличает меня от Рубинского и что увидели и поняли и Афонька, и Саша Абушаев, и многие мои ученики — и Ваня Золотых, и Ириней Семенов, и — сколько их было!

Есть во мне радостная готовность принять в себя праведность, принять, чего бы это ни стоило, принять и никогда ей не изменить. Потому и Аввакум запал в душу, и его ученица боярыня Морозова покорила меня своей страстной неотступностью. Я, должно быть, маньяк, у меня маньяческая жажда справедливости. Она, эта праведность, не может быть сытой, не может быть успокоенной. Она всегда в слабых. Потому и Саша Абушаев не выходит из моей головы. Я, должно быть, тоже виноват в его смерти. Недовоспитал, не заронил в его сердце жажду истинного терпения, жажду милостивости, будь бы это в нем,

не стал бы лезть он в драку, отошел бы от своей смерти.

Я и тогда сознавал свою неправоту в том, что в душе презирал и отталкивал от себя Рубинского и Бреттеров. Не прав был, мудрости мне недоставало. Потому и лез на рожон — и с теми, кто был против меня, и с теми, кто решительно поддерживал.

— И другой случай, — говорю я, опять же невпопад, потому что снова пересеклись глазные пронзительности: из бреттеровской темноты очки блеснули, к Екатерине Ивановне кинулся взор Рубинского и с удивленно-растерянным взглядом Оли, моей ученицы, скрестился. А я занят своим, и не могу это свое им поведать, потому что оно, это мое, во мне и в Афонькиных глазах, которые я сейчас вспомнил, когда он этак запросто рассказал, как на жене своего брата женился, которого на войне убили и у которого четверо ребят было; мальчик слепой лет двенадцати, сидел в углу этот мальчик и все ручонкой по другой ручонке водил, пальчиками тоненькими свою ладонь приглаживал, точно ласкал себя, и глаза у него были голубенькие, совсем не слепые вроде, только чуть косоватые. И Афонька смеялся: «Ей куды их девать было, вот и стал с ними жить». И ничего я теперь не помнил, только общий настрой Афоньки засел у меня в груди и сейчас плескался почему-то через край в этой теплой уютной комнате. И на меня глядели мои добрые знакомые и понять не могли, о чем это я вдруг. А как я им мог рассказать о том, как Саша Абушаев пел, и как плакал, и как врал о своей любви, а на самом деле никакой любви не было, только письма отчаянно-нежные писал девушке, которую всего-то и видел в жизни два раза, и эти письма я потом прочел, когда эту девушку нашел после смерти Сашиной. И почему-то теперь, в этом бреттеровском уюте, к моим воспоминаниям об Афоньке и Саше Абушаеве еще и комната Вани Золотых примешалась, где в углу клубочком Ванечкин отец пьяненький лежал и его мать, лучистая бежевая старушка, у окна сидела, и ее глаза были в тысячу раз светлее и этого пучка яркого света от лампы с абажуром, и Сашины глаза были в тысячу раз ярче этой изящной теплоты, и от всего Афонькиного лица шла такая душевность, которая никакой литературой не может быть описана. И это Афонькино родство с близкими своими, это родовое человеческое чувство и душевностью никакой нельзя назвать, потому что не было здесь никаких специальных установок на проявление каких-то особых нравственных свойств. Как дерево, как трава, как кусты рябины растут только вверх и радуют глаз человеческий, так и Афонька в силу своего естества двигался в строго определенной своей природной заданности, которая нравственностью оборачивалась, потому что в ней фальши не было никакой, потому что вся жизнь Афонькина в такой радостной трудности развивалась, что ее и сравнить-то ни с чем нельзя было.

А как я мог об этом рассказать? Когда я и сам не знал, как это все на белом свете происходит. Для Рубинского, положим, и Афонька, и Саша, и Петруша Золотых с моим Ванечкой — так же безразличны, как лес, как водный простор Печоры, как эти багровые низкие тучи. И я винить их ни в чем не могу, потому что они совсем другие люди, люди, взращенные этим особым теплом, этой особой, пахнущей кожаными корешками книжностью, и для этой книжности все у них приспособлено — и длинные осторожные пальцы, и острый пристальный глаз за стальными у Бреттера и роговыми у Рубинского очками, и эта яркость абажура над столом, и приглушенно-салатная там, у стеллажей. В каждом из них книжная мысль засела внутри и размножилась, потому что каждодневно питается новой мыслью — вот сейчас о западниках и славянофилах, а завтра о зулусских племенах, и еще перескачет в дальний Египет, когда только стало складываться религиозное чувство в стройную систему, а потом и все узлы исторические будут развязаны основные — и Бисмарки, и Борджиа, и Бироны, и Иван Грозный, и Петр Великий, и императрица Екатерина Вторая, и все это не зряшные воспоминания, а по делу найденные и приведенные, приведенные вроде бы как не голые пустые единичности, а как всеобщие законы противоречивого исторического развития, в котором отдельный человек, вроде Афоньки или Саши Абушаева, просто не в счет.

Я начинаю остро ощущать разницу между своим собственным представлением о мире и их видением картины человечества. Моя раздробленность вся скроена из ощущений — и взгляд человеческий, и сбитые пальцы рук, и черные пальцы женщин, которые и на пальцы никак не похожи, а так, сучки в блестящей кожуре, живые корни живых растений, приспособленных к спорым движениям, и голоса, хриплые и стонущие, бойко-задорные и размашисто-уверенные, с ласковыми неожиданными словами, которые душу греют и надолго в памяти остаются, и грубые запретные слова, которые в обычности теряют смысл своей запретности, потому что над этими словами запретными иная, не запретная, а открытая сила стоит — сила привычного безразличия к слову, к формальному смыслу, которая ни во что превратила всю роскошь семантической цивилизации. Когда Афонька двенадцатилетней дочке вдруг ни с того ни с сего сказал впервые при мне матерное слово, я едва не завалился под скамейку: думал, громы и молнии взметнутся, мир перевернется, а дочка ничего не сказала, ласково в мою сторону посмотрела, будто извиняясь, заголубела грустью: «Это у нас никак не в счет», и потом, когда я в новгородских местах был и там за столом при детях матом перекидывались — и тоже никакого смысла не вкладывали, и черствости не было, когда мать ругалась, и жестокости не было, когда отец то и дело словечком матерным прихлестывал, — я уж внимания никакого не обращал, хотя и тяжело это было ощущать, как цивилизация на глазах твоих опрокидывается. И из памяти лезла другая конкретность: годовалая девочка голенькая, темно-красное тельце, завернуто в мазутную фуфайку, фуфайку с холодным блеском засаленности и с клочками серой ваты на рукавах, и на печечке, не на русской, а на обыкновенной, дед, разбитый параличом, в синих штанах байковых и в валенках, где подшитость отстала давно и, должно быть, при ходьбе неудобно задирается, и глаза деда — куски

стекла, политые глицерином, и серая щетина на лице — седая сбившаяся шерсть, и мальчик, мой ученик, невинно глядящий на крохотную комнатку: вот так мы и живем. И тогда я вспомнил, как сам жил, снимал угол где-то на заводской стороне, когда студентом был, там тоже девочка была, лет шести, и как ужаснулся я, когда увидел, как что-то живое и телесно-красное выползает у нее из заднего прохода, и как кинулся к девочке, и как она не плакала, потому что привыкла к тому, что у нее кишка наружу выходит, и мать ее спокойная пришла, как ни в чем не бывало, точно говоря: ничего страшного, и действительно, все установилось у девочки, и сели мы чай пить с ее матерью и с девочкой, только уснуть я потом не смог и гнал мысли об этой девочке, и через месяц нашел другой угол, и там уже совсем забыл навсегда, думал, о девочке, а тут вдруг у Бреттеров вспомнил и об этих всех душевных тяжестях, видно, грузом болтались они, привязанные к моей раздробленности.

А их раздробленность вобрала не мои, а свои собственные ощущения, на которые сначала нанизалась, а потом плотно спрессовалась книжная мысль, которая теперь в разговоре за оранжево-ярким столом отслаивалась и выходила наружу ровными дольками, и на столе выстраивалась и сизым дымом вуалилась, тоже слоями, в воздухе, в тепле ухоженном. И в этой их раздробленности были свои тревоги, которые я не отрицал, но которые подчеркивали мою чужеродность.

В какой-то момент я ловлю себя на том, что во мне где-то подспудно живет подленькое и гаденькое чувство, чувство, предающее те лучшие мои начала, какие сейчас никому не ведомы и составляют тот пласт моей прегадкой основы, которая навсегда для всех должна остаться тайной. Впрочем, в этом я никак не уверен, потому что добрые и даже несчастные глаза Бреттера заглядывают в глубину моих тайных прегадких свойств: едва заметную усмешечку, впрочем, добрую, щедрую и даже прощающую, я различаю на его лице, и от этой возможной разгадки мне немножко делается не по себе. Легкий озноб пронизывает тело, я опускаю глаза и почти физически ощущаю, как накатывается на меня состояние самоуничижения. Как же можно так: ко мне с добрым сердцем тот же Рубинский, тот же Бреттер, та же Екатерина Ивановна, с такими добрыми ожиданиями их дочь Оля Бреттер, а я здесь же их предаю, здесь же, в их доме, за их столом противостою им, корю их за то, что у них где-то и когда-то была радость: и от этих витых ложечек-вилочек, и от образования, какое удалось получить Рубинскому, и от того, что есть возможность помочь тете Даше, которая не на стройке в холоде мается, а в тепле добрым людям служит.

Мне стыдно оттого, что мое противостояние, возможно, и прочитано всеми, не только Бреттером, и мне хочется немедленно опрокинуть эту прочитанность, сделать так, чтобы размыть, растушевать противостояние, чтобы слиться с бреттеровским семейством, с Рубинским чтобы слиться: как же, они меня приняли, и я должен быть с ними, и я обязан опрокинуть эту прочитанность, и так, чтобы это совсем искренне произошло, чтобы моя ложь совсем правдой обернулась.

— Я никак не ожидал, что Альберт Михайлович, — говорю я, — так хорошо знает историю.

— Почему же вас это удивляет? — спросила Екатерина Ивановна.

— Все-таки Альберт Михайлович — математик.

— Никакой он не математик, — улыбнулась Екатерина Ивановна. — Вы разве не знали, что Альберт Михайлович заканчивал философский факультет, а математику преподает в силу необходимости?..

Я осекся. Альберт молчал. И Бреттер молчал, а Екатерина Ивановна продолжала:

— Вы, наверное, и не знаете, что Альберт Михайлович три курса консерватории закончил?

И этого я не знал.

— Ну какое это имеет значение? — вступился как бы за меня Рубинский и пояснил присутствующим: — Владимир Петрович намерен ставить сцены из «Жития Аввакума».

— Как это ставить? — спросил Бреттер. — Есть сценарий?

— Сценарии Владимир Петрович пишет с детьми.

— Это, знаешь, такой великолепный монтаж, где живопись перемежается с рассказами об исторических событиях, — это Екатерина Ивановна пояснила Бреттеру. Пояснила и улыбнулась мне.

И я был благодарен. И мою благодарность оценила Оля. И я, воспрянув, решил тут же раскрыть новый замысел:

— Савонарола и Аввакум — две фигуры, которым противостоят две разные системы: Алексей Михайлович и Никон, с одной стороны, и с другой — Родриго Борджиа, папа-кровопиец, и сын — коварный убийца, Чезаре Борджиа, воспетый Макиавелли. Сравнить два типа правления и два способа противостояния — это меня привлекло.

— А почему два? — спросила Бреттер.

— Савонарола и Аввакум тоже антиподы. Аввакум следует порыву горячего своего сердца, а гениальный фанатик Савонарола весь в расчетах.

— Какое заблуждение, — сказал Рубинский. — Савонарола, может быть, самое прогрессивное явление на Западе. Усилиями Савонаролы была во Флоренции введена полная демократия. Это Маркс сказал. Ну, а главное — это был образованный человек. Человек Возрождения. Говорят, что Микеланджело принял бога в савонароловской обработке. И Боттичелли был поклонником этого монаха. Он один из немногих, кто открыто выступал против папы Александра Шестого. А что касается протопопа, то это просто темная сила, наделенная, правда, даже талантом.

Бреттер сидел и в упор глядел на меня. Я чувствовал: он одобрительно отнесся к выводам Рубинского.

— Тогда какова же цена истинной честности? — спросил я.

— А это что такое? — удивился Рубинский.

— Очень немногое. Савонарола утверждал, что он посланник бога и что господь творит чудеса именно через него.

— Ну и что же, он верил в свое пророчество. И

Аввакум фанатично верил в свое великое предназначение.

— Дело не в этом. Под пытками Савонарола отказался от своих убеждений.

— А Аввакум пятнадцать лет просидел в яме и ни на какие уступки не пошел, хотя царь Алексей Михайлович ему многое мог предложить.

— Это не совсем так. Алексей Михайлович ничего бы не сделал для протопопа, потому что Аввакум неуправляем, и это царь хорошо понимал. То же самое можно сказать и о Савонароле. Дважды папа Александр Шестой вызывал монаха в Ватикан, и Савонарола не шел на сделку с папой. А что касается способности выносить пытки, то тут совсем другое. Пытки — это уже нечеловеческое состояние человека.

— Значит, предательство, сделанное под пытками, не есть предательство?

— Это примитив, — сказал Рубинский.

— Если так рассуждать, тогда все рушится.

— Ничего не рушится. Дикарь, способный не выдать тайну вождя племени, нисколько не становится культурнее, то есть не перестает быть дикарем.

— Протопоп — не дикарь. А, я бы сказал, подлинный интеллигент. Алексей Михайлович ценил в Аввакуме и мудрость, и образованность, и истинную праведность. Он понимал, что Никон из той же породы интриганов, что и сам царь. И только протопоп тянется к настоящей истине. Он искренне любит мужество и честность протопопа и вместе с тем, как великий инквизитор, не может не мучить и не истязать Аввакума. Кто-то сказал: царю нужна унификация веры, нравственности и правовых норм, а протопопу, первому русскому интеллигенту, нужна индивидуальная свобода совести, индивидуальная правда, индивидуальная нравственность.

— Чепуха, — бросил Бреттер. — Протопоп со своей невежественной братией не дорос до европейских форм индивидуального сознания. Он сам был жестоким мучителем. И победи он Никона, он бы его замучил...

— Как сказать, — ответил я. Какая-то острая мысль забилась в голове. И мне захотелось ее немедленно развить. — Существует такое ложное убеждение, будто стоит у власти поставить гуманиста, так получится самый жесткий и страшный режим. Это всего лишь парадокс. Игра слов. Аввакум несет в себе все внешние привычки своего века: его секут на площади, а он не стыдится, потому что это «сечение» считалось на Руси нормой. В его руки попадают враги, и он велит отдать тело умершего собакам на растерзание. Он грозится мстить, но каждый раз, как у него появляется возможность мучить и казнить живых, он меняется весь изнутри, переиначивается, раскаивается и готов спасти недавних своих мучителей от смертной казни. Помните, как он спас беглого казака, который ранее истязал его...

— Он груб и античеловечен, — настаивал на своем коричневый Бреттер.

— Не тот нравственен, кто не знал ошибок, а тот, кто, раскаявшись, способен творить добро...

— Достоевщина, — отрезал Бреттер. — Карамазовщина. Сам факт, что Аввакум призывал к самосожжению как к форме борьбы, — жуткая бессмыслица.

— Мне помнятся слова Достоевского, который сказал, что добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на костер можно только при самом сильном развитии личности.

На меня смотрела Оля. И я чувствовал, что она соглашается со мной. Но и какая-то изначальная сила держала ее на стороне Рубинского и отца.

— Это новый критерий развития личности, — сыронизировал Бреттер.

— Это старый критерий. Сократ тем и дорог нам, что он принял смерть, не поступившись даже крупицами своей веры. И Джордано, и Коперник, и Аввакум. Кстати, по Соборному Уложению тысяча шестьсот сорок девятого года за преступление против веры полагалась смертная казнь: повешение или сожжение в срубе. Любого можно было обвинить в преступлении — и того, кто молился двуперстно, и того, кто книжки старые читал, и того, на кого донос написан был. Алексей Михайлович и Никон лично следили за тем, чтобы строго выполнялось это Уложение. Никогда еще Россия не была так охвачена тайным страхом, никогда еще в России не было столько заключенных, томящихся в острогах. Аввакума называют первым ссыльным всероссийской каторги, потому что он вынес все мучения и не предал своей веры.

Бреттер ничего не ответил. Дал понять, что не намерен дальше продолжать спор.

— А ведь наши места исторические, — примирительно заговорил Рубинский. — Именно в наших краях закончил свой путь протопоп Аввакум.

— Говорят, где-то близ Усть-Цильмы до сих пор стоят остатки сруба, в котором сожгли протопопа с тремя товарищами, — это Екатерина Ивановна вмешалась.

— У нас с ребятами намечена экспедиция в те места, — сказал я.

— А когда это было? — спросила сидевшая в уголочке Елизавета Петровна Солодовникова. — Когда сожгли протопопа?

— Четырнадцатого апреля тысяча шестьсот восемьдесят второго года капитан стрелецкого полку Иван Лешуков сжег Аввакума в срубе с тремя соузниками... Кстати, роль Аввакума будет играть Валерий Чернов.

— Вот уж подонок, — заметил Рубинский.

Я знал, что имеет в виду Рубинский. Отец Чернова был лагерным начальником. Я ему сказал однажды: «При чем здесь родители?» — «А при том, что не может в такой семье сформироваться нормальный человек. Я докладную директору в свое время подавал».

Эту докладную я помнил. Рубинский писал: «Стало уже правилом, что Чернов сознательно мешает классу, если ему ставят двойку, причем всегда при этом он демонстративно кладет ноги на скамейку, отворачиваясь от учителей. Чернов много времени проводит в бильярдной, зачастую оставаясь там до позднего времени. Ряд моих замечаний относительно правил культурного поведения учащихся высмеиваются им, причем вместе с ним этим занимается целая группа подростков — его приятелей. Я запретил, напри-

мер, говорить: «Наше вам с кисточкой», объяснив бессмысленность и грубость этого выражения. Теперь, когда я бываю у кинотеатра, мне вдогонку слышится: «Наше вам с кисточкой!»

Это не единственный пример грубости. Вчера Чернов получил двойку по алгебре, и опять повторилась старая история. Вдобавок он швырнул мне задачник Ларичева, купленный мной для него. После уроков Чернов в ответ на мое требование прийти с матерью заявил угрожающе: «Вам не жить на свете, если вы меня из школы исключите». Характеризуя нынешний облик Чернова, я не могу не заметить, что он в своих репликах пропагандирует употребление спиртных напитков. Я много внимания уделял Валерию Чернову. Строгие меры, примененные мной к нему, не дали положительных результатов. Тогда я решил подойти как старший друг. Чернов воспринял это как мою слабость и распоясался вконец. Для себя считаю невозможным дальнейшую работу в классе, где учится Чернов. С сожалением констатирую, что много усилий, потраченных на воспитание Чернова, оказались тщетными. Еще раз заявляю, что считаю для себя невозможным дальнейшую работу в одном классе с Валерием Черновым. Учитель математики А. Рубинский».

Припомнилась мне эта докладная теперь, в доме Бреттеров, и от этого усилилась неприязнь к Рубинскому. Я во что бы то ни стало хотел любить Чернова-сына. Я хотел ему однажды рассказать о себе. О том, что лишился отца. О том, что я не озлобился и не хочу вымещать на ком-то свое горе.

И теперь мне захотелось защитить Чернова. И я глядел на Екатерину Ивановну, ждал ее поддержки. Это о ней Чернов твердил всем: «Екатерина Ивановна — лучший в мире учитель!» — и Екатерина Ивановна демонстрировала свое доброе отношение к Чернову: «Настоящий самородок!» А здесь в споре она назвала его подонком. И во мне все вскипело. И так сдавило горло, что я едва ли мог сказать хотя бы одно слово. Моего смятения никто не заметил. Я тихо сел в уголочке, так что все мне были видны, и приготовился к сопротивлению. Я решил выбрать удобный момент и сказать: «А к чему, собственно, можно прийти, если и дальше утверждать формулу: сын в ответе за отца, а отец за сына...»

И все, возможно, так и случилось бы, если бы разговор вдруг не обернулся другой стороной. В один миг рухнуло мое противостояние. В один миг сникла моя высокомерность, и я ощутил себя ничтожным и никчемным в этом теплом и чистом доме.

— Слышали, в Каджероме что было? — спросил вдруг Рубинский.

— А что было в Каджероме?

— Я сегодня обедал с Кашкадамовым. Он говорит, что еле ноги унесли из Каджерома. Толпа гналась, орала: «Берийцы!» Абрикосова, говорят, повалили в снег, еле вырвался, на ходу в товарняк вскочил.

— А что с памятником?

— Изуродовали. Ногу отбили, лицо раскроили ломиком...

— Так и стоит теперь?

— Нет. Организованно стащили с пьедестала.

Бреттер захлопнул книгу. Сказал:

— Это все чепуха. Морозову жалко.

— А что с Морозовой? — это Екатерина Ивановна.

— Покончила в доме приезжих на вокзале.

— Ослепительной красоты, говорят...

— На редкость красива, — это Елизавета Петровна вставила.

— Я ничего не знаю, — это Екатерина Ивановна.

Я слышу рассказ Елизаветы Петровны: жених Ларисы Морозовой, не дождавшись реабилитации, убежал из лагеря, чтобы встретиться с невестой. Реабилитация пришла через три дня после его смерти. Когда Лариса узнала...

— Она была в коричневой шубке и в розовой шали? — это я неожиданно спросил.

— Вы ее видели?

— Нет-нет, — почему-то солгал я.

Они продолжали говорить, а я сковался не то страхом, не то болью. Опять сдавило горло и судорогой свело у глазного яблока. Я сидел не шевелясь. И сквозь боль у виска вспоминалось, как лицом к лицу оказался с нею в автобусе. Как дурак кинулся к ней, она отпрянула в ужасе, ее смятенные глаза были злы, кончики губ вздрагивали. Потом она отвернулась, прикрыла розовой шалью щеку, чтобы мой взгляд ее не касался. Я проехал свою остановку. Пошел вслед за нею. Дважды она резко посмотрела в мою сторону и направилась снова в город. На остановке автобуса она постояла. Я тоже приостановился. Она резко свернула в переулок, потом в следующий, потом во двор, потом в подъезд.

Я вбежал в подъезд с намерением произнести самые добрые и самые прекрасные слова.

— Что вам от меня нужно? — это она гневно.

— Меня поразило ваше лицо.

— Вам предъявить документы?

— Вы недавно приехали?

— Вам сказать, где я остановилась? На вокзале. В доме приезжих. Прошу вас, умоляю, не преследуйте меня...

В растерянности я сказал что-то о недоразумении. Попытался попросить прощения, но ее уже не было. Только дверь поскрипывала на ветру.

А в шесть утра меня разбудила мама: кто-то ко мне пришел. Я оделся.

На кухне стоял человек в пальто, я с ним не был знаком.

— Извините за беспокойство, — сказал он. — Дело.

— Какое?

— Вы знали Морозову?

— Нет.

Человек улыбнулся. По-доброму улыбнулся.

— Нам установить одну деталь...

— Какую?

— Вчера вы с десяти до одиннадцати вечера встречались с женщиной, приехавшей...

— Ни с кем я не встречался.

— Это установлено. Женщина в розовой шали... Так встречались?

— И да и нет. Меня поразило ее лицо.

— Она вам что-нибудь передала? Вы ее знали раньше?

— Я ее видел впервые.

— Значит, встреча носила интимный характер?

Я не знал что ответить.

— Никакой интимности не было. Я просто пошел за ней...

— Понятно... — улыбнулся он. — Интересная женщина. Была, впрочем.

— Что это значит?

— Вот вам адрес: завтра зайдете и подпишете показания.

— Я ничего подписывать не буду.

— Это дело ваше.

6

Я ушел в тот вечер от Бреттеров в полной растерянности.

— Что с тобой? — спрашивал Рубинский.

Я молчал. Потом сказал ему какую-то грубость. Я понимал, что напрасно срываю на нем зло. Домой я не мог идти. Я хотел хоть что-нибудь узнать о случившемся. И вместе с тем что-то останавливало. Собственно, знаю что: страх. Помню, и мама осуждала тех, кто пытался защищать рапрессированных. Нельзя. От родственников, которые чем-то запятнаны, надо отказываться. Решительно. Навсегда. Чтобы духу от них никакого не шло. Не было их вообще. Не видел. Не знаю. Не помню. Мир разделен на две части — на лагерь и на нелагерь. Все, что за колючей проволокой, то не наше. Вражеское. И не только о репрессированных надо забыть, но и о самом факте существования человека из этой лагерной жизни.

Но она, теперь я знал, как ее зовут, — Лариса Морозова, была не родственницей, она была кладезем моего духа. Эти две катастрофических встречи в автобусе были абсолютной реальностью. Теперь эта реальность обернулась удушьем. Я шел, и мне нечем было дышать. Морозное сияние фиолетовыми всполохами ласкало горизонт, и тишина была черной, и слезы я едва успевал стирать с лица. Я был один в этом мире. Мама не в счет. Мама — это совсем другое. Все совсем другое в сравнении с той, какой уже нет сейчас. Я и раньше, после двух столь неудачных встреч, думал о том, что мне все равно будет хорошо жить, лишь сознавая, что она есть на свете, что она рядом. Она была как манящая истина для меня. Истина, к какой я хотел стремиться, истина, какую я постоянно предавал. Предавал — и все же вновь стремился. Бежал к ней, припадая к ее животворному источнику. Падал и вновь вставал. Я знал: эта истина существует. Она живет. Она есть. Пусть сейчас сию минуту этой истине нет места в моем окружении, но она все равно в своей нелегальности существует, на глубине человеческих душ существует. На самой глубине. Где-то между сплетением позвонков. Я надеялся дать о себе ей знать. Я не огорчался тем, что произошло. Все, что произошло, я переводил в ее же пользу. Как она, собственно, должна была поступить? В автобусе к ней пристает незнакомец. Потом преследует ее на улице. «Да с твоей физиономией только людей грабить, — вспомнилась мне шутка моего приятеля. — Этак ночью посветить фонариком, и прохожий завопит: «Все возьмите, только душу оставьте!» Я улыбнулся. Не считал себя страшным. И все-таки, я это знал, в моей физиономии было, точно уж было, что-то отталкивающее. Я всегда и сам поражался лихорадочному блеску своих глаз. Господи, можно было и посветлее глаза сделать. А они кажутся совсем черными, хотя они вовсе и не черные. Может быть, не будь у меня этих отпугивающих глаз, она бы не отшатнулась с такой решительностью. Вспомнил я и другие слова одной доброй знакомой: «Приставать к женщине на улице — это мерзопакостно». Я вел себя непристойно.

Что же происходит с человеком, когда вот так, неожиданно, все в его душе переворачивается, и он пребывает в абсолютной уверенности, что не ошибся, что встретил то единственное существо, выше которого нет и не будет ничего в этой жизни? Почему во мне так гулко давало о себе знать ожидание встречи? Это предчувствие заронилось в душу давно. Оно шевелилось, тихонечко лаская что-то заветное внутри и тогда, когда я ехал учиться: обязательно будет та единственная на всю жизнь встреча, и тогда, когда я садился в поезд и даже ходил по вагону, нет, значит, не здесь, нет, не она, а иной раз я вдруг решал про себя: вот она, настоящая, но проходило время, и очарование исчезало, а потом снова и с новой сладостной силой шевелилось заветное, и снова предчувствия встречи давали о себе знать. Эти ожидания принимали и другие формы. Были моменты, когда идеальный облик возникал, когда я прикасался к искусству. Особенно будила во мне идеально-чувственную мою природу живопись. Всматриваясь в лица мадонн, данай и венер, я, будто отвлекаясь от увиденной конкретности, сам складывал как бы новый образ, и этот новый образ начинал жить во мне, и я набрасывался на краски. Сутками я сидел за холстом, пытаясь передать ту идеальность лица, плоти, какая жила во мне. И неважно, что получалось совсем другое, важно иное: во время этого удивительного таинства во мне жил порыв. Было такое состояние, будто я уже не принадлежу реальности, точнее, единственной моей реальностью является мой лихорадочный поиск нужной краски, нужного живописного полотна, света или тени, нужного поворота головы, рук, торса. Этот процесс приобщения к предчувствиям, точнее к переводу идеальных моих предчувствий в сферу абсолютно реалистическую, совершался непременно в одиночестве. Либо ночью, когда все спали, либо где-нибудь в уединении. О том, что происходило со мной, никто не знал. А когда спрашивали даже самые близкие: «Что ты там промышляешь?»— я отвечал: «Так, мазюкаю». Это самое сокровенное жило во мне. И ради него я жил, боясь не только признаться в этом другим, но и самому себе. Мне двадцать раз задавали один и тот же вопрос: «Для чего ты живешь?» — и я ставил этот вопрос себе и ни разу честно не мог сказать ни себе, ни другим: для любви. Этого казалось мало. Я вспомнил признание одного человека: «У меня все было. Не было только любви. Значит, ничего не было».

Я не мучился сейчас вопросом, была ли у меня любовь или не было ее. Была любовь. Была. И еще раз была.

Сил не было у меня идти дальше. Ноги будто подкосило. Я попытался подойти к забору, но там был сугроб. Я взял горсть снега и вытер им лицо. Не помогло. Дышать нечем. Воздуху недостает. И даже глотать трудно. Я остановился, чтобы не упасть. Поднял голову и стал глубоко дышать, задерживая воздух в груди. Стало чуть-чуть легче. И вдруг мне стало казаться, что ее никогда и не было. Что, возможно, это были видения. Что со мной что-то происходит. Как происходило, может быть, с бедным, несчастным протопопом, когда он один в яме сидел. Как можно выжить пятнадцать лет в яме? В сырой обыкновенной яме. И где-то с сестрой, он знал об этом, его идеальная дщерь, невеста, возлюбленная, Федосья Морозова, ухоженная красавица, воспитанная на Платоне и Аристотеле, тоже в яме, с сестрой, а потом одна, крысы, пауки рядом, вода затхлая рядом, и она в грязи, вши по ней ползают, какая сила духа должна быть, чтобы не утерять чистоту свою, чтобы новую чистоту обрести! Говорят, фанатизм, кликушество, а где грани между неистовым смирением и величественной гордыней, которые опрокидывают все дурное, чтобы возвыситься до приближения к идеалу? У протопопа все отняли. Морозова сначала все сама отдала, а потом все у нее отняли: дом, семью, сына, прокляли, уничтожили плоть, и только дух ее остался таким же неистово-ликующим, каким зародился, возможно, тогда, когда целыми сутками напролет слушала своего друга Аввакума.

Я думал раньше: ничего не боюсь, потому что не боюсь смерти, так я решил про себя, и это создавало мне ощущение бесстрашия. Ощущение силы и богатства. Я сам определил для себя тот последний предел, который граничит со смертью. А между мной и этим пределом вон какое расстояние — и в этом промежутке меня ничто не выведет из себя, ничто не испугает. Оказывается, все не так. Обрести в душе любовь и потерять ее — это страшнее смерти. Страшнее всего.

— Ты чего здесь блукаешь? — раздался голос за моим плечом.

Я узнал Россомаху, врача, с которым недавно познакомился.

— Так, гуляю, — как ни в чем не бывало улыбнулся я.

— А ну давай заглянем к Толе, — предложил он. Мы постучали в дверь.

— Темно. Напрасно, — сказал я.

Россомаха еще сильнее заколотил в дверь:

— Он дома. Я знаю.

Действительно, за дверью загремели. Зажегся свет. На пороге, совсем голый, в накинутом на плечи пальто, стоял Толя.

— Я могу, конечно, вас впустить, — сказал он, запахиваясь в пальто, — но лучше бы в следующий раз. Не один я.

— Оно и видно, — улыбнулся Россомаха, — давай завтра встретимся. Не позже восьми вечера.

— Добро, — ответил Толя, закрывая дверь.

— Женщины, вино и карты — вот набор местных занятий, — сказал Россомаха, когда мы отошли от Толиного дома. — Не такой уж скверный набор, как ты считаешь?

Я промолчал, а потом хотел было что-то спросить, но Россомаха меня опередил:

— Нет, мой набор разнообразнее. У меня еще диссертация.

— А тема?

— Сложная. Женские болезни. Придатки.

Я не стал больше расспрашивать Россомаху. Попрощались и пошли в разные стороны.

На следующий день я снова оказался на Толином пороге. Мне открыли. За столом сидели Абрикосов Гера, лейтенант в штатском, Россомаха и Герин приятель, Кашкадамов, тоже в штатском, и еще один незнакомый мне офицер-вохровец.

Здесь не было ни витых ложечек, ни абажура: лампочка болталась на скрученном проводе, стол был устлан газетами, закуска нарезана небрежно, хлеб наломан кусками. Спорили.

— Никаких талантов, — настаивал Гера. — Из каждого можно сделать и артиста, и писателя, и художника.

— И из тебя? — спросил Кашкадамов.

— И из меня, — сказал Гера. У Геры лицо хотя и без особых примет, но все в нем крепко сбито: подбородок ладный, губы крупные, глаза большие, пристальные, шея атлетическая, движения упругие.

— А от чего же все зависит?

— А от того, кому как повезет, — ответил Гера.

— Что же, и Шаляпина из каждого можно сделать? — вмешался я в спор.

— Шаляпина, может быть, не из каждого, — ответил Гера, — но петь может каждый, если тренировать хорошо. Незаменимых людей нет. Я видел многих знаменитостей — литераторов, актеров, художников, которые вынуждены были оставить свою работу. Бог ты мой, думал я, неужели эти люди что-то когда-то создавали? Понимаете, по человеческим качествам они, эти бывшие таланты, уступали даже уголовникам.

— А что у вас в Каджероме произошло? — спросил я.

— Не болтай, — ответил Гера. Он встал и направился на кухню, где шипела на сковороде оленина.

— А что в Каджероме? — спросил Россомаха.

— Еле ноги унесли, — ответил Кашкадамов. — Толпа гналась за нами, орала: «Берийцы!» Геру схватили, едва вырвать успели, вскочили на товарняк...

— Каджером еще припомнится! — сказал офицер и тут же замолчал, когда вернулся Гера с двумя колодами карт.

— Ладно, еще по маленькой и распишем, — сказал Гера.

— Часика на два, — предложил Россомаха, — не забыли? — завтра вскрытие — интересный материал.

— Девица Морозова? — спросил Кашкадамов.

— Она самая, — ответил Россомаха.

— Возьмем Попова? — это ко мне обращение.

— Пойдешь на вскрытие?

Я ушам своим не верю. Снова удушье сковало тело. И правая сторона у виска так заломила, что я не в состоянии был пошевельнуться.

— Испугался? — это Кашкадамов сказал, похлопывая меня по плечу. — Ну что, пойдешь? Или нет?

— Куда? — машинально спросил я.

— В морг, разумеется...

Я и потом думал, что было со мною в те минуты, когда я сидел в кругу Кашкадамова и Абрикосова. Я их ненавидел. Боялся ли я их? Страх ли был это? Я ощущал себя растоптанным. Они были великанами, топтавшими меня, букашечного. И я не мог сопротивляться. Я молчал, утаивая себя истинного. Они противостояли мне не как Рубинский и Бреттеры, они противостояли по-другому. Моя ненависть захлебнулась в моем страхе. У меня будто почву вышибли из-под ног. Я сам себе стал омерзителен. И когда омерзение к себе достигло предела, появились силы, ибо вспыхнула ненависть к собственному предательству, к собственной мерзости. Я наблюдал за лицами играющих. Они были так веселы, и так увлечены раскладами карт, и так уважительны были друг к другу, что иного мира, кроме того, какой развертывался за карточным столом, для них не существовало. Мне хотелось ни о чем не думать. Просто сидеть и ждать. Как оно дальше пойдет, так и пусть пойдет. Но мне все равно думалось, что-то жуткое, непоправимо жуткое подкатывалось к груди. Я сидел, боясь пошевелиться. Они живут, они знают, как жить, а я не живу, я сейчас гибну, я, наверное, действительно, сейчас погибну, а они будут вот так же сидеть и играть в карты, вот так же будет гореть эта огромная лампочка и так же розово алеть на никелированной сферической плоскости рефлектора скрученная и перекрученная двадцать раз проволока. Так же будет шипеть на сковородке оленина. Толя снова вынес сковородку на кухню. Он кричит оттуда мне, чтобы я взял из посылочного ящика две луковицы и принес ему. Я встаю, машинально отбираю луковицы, те, что покрупнее, иду на кухню, там очищаю обе луковицы и даже режу мелко, а Толя замечает мне, чтобы я покрупнее нарезал, я нарезаю, как он мне показал — кругами, крупно, затем руками отделяю кружочки друг от друга и отдаю Толе. Но он мне говорит, чтобы я сам бросил лук на сковородку, а он ложечкой чайной что-то выскабливает из банки. Я смотрю, что он там выскабливает, а это оказывается томат.

— Подмерз, сука, — говорит он.

Я едва соображаю, что это термин «сука» относится к томату.

— Подожди, оттает, — даю совет я. — Или плесни кипятку.

— Это идея, — говорит Толя. И из чайника направляет струю крутого кипятку в банку. Банка немедленно раздваивается, и руки у Толи становятся багровыми.

— Сука, — снова говорит Толя.

И теперь я уже не могу понять, к кому относится это определение. Может быть, даже и не к томату.

— Ничего страшного, — говорю я. — Можно промыть.

— Нет уж, теперь все, — говорит Толя и выбрасывает банку в ведро. — Без томата обойдемся.

— А что это за вскрытие? — шепотом спрашиваю я.

Толя — судебно-медицинский эксперт. Толя все знает. Но он так увлечен поджаркой. Ему не до вскрытия. Толя еще и рыбку вытащил. Какой-то особый засол. Дает мне попробовать. Я отказываюсь. Он настаивает. И я надкусываю продольную полоску спинки. Толя еще и пива налил мне.

— С пивом необыкновенно, — говорит он. И добавляет, точно вспомнив про мой вопрос: — Обычное самоубийство. Только женщина красивая. Жаль.

У Толи доброе лицо. Красивые руки. Он режет тоненькими ломтиками примороженную рыбу, и она побелевшими листиками отслаивается от рыбного туловища.

И пальцы у Толи длинные, чуткие. Мне трудно представить, да и не хочу я представлять, как он этими прекрасными руками вскрывает человеческое тело.

— Что, плохо чувствуешь? — спрашивает Толя. — Дать таблетку?

— Нет.

— Тогда водки.

— Водки хочу.

— Прямо здесь налить?

— Налей.

Толя нанизывает на вилку помидорину и засылает мне в рот: предельно внимателен ко мне Толя.

— Может, полежишь?

— А причины самоубийства Морозовой известны?

— У нее здесь жених отбывал срок.

— Жених? Кто он?

— Ты ее знаешь?

— Я веду вместо нее уроки. Ну и что жених?

— Он скончался за два дня до ее приезда. Я потом тебе расскажу. — А сейчас давай оттащим жратву синьорам.

Из комнаты раздавались голоса:

— Кто походит из бубён?

— Тот бывает...

— Убиён.

— А мы ужо пужатые.

— Была не была, не с чего, так с бубей.

— Давай с туза!

— Под игрока с семака.

Толя расставил тарелочки на подносе.

— Ну а им зачем это вскрытие?

— Кашкадамову? А у него тема по придаткам. А Гера с Россомахой давно ищут случая поприсутствовать. Я им обещал, как только будет подходящий материал.

Я едва сдержался, чтобы не выбить поднос из Толиных рук.

— Боишься? — это Толя у меня спросил.

— Боюсь? — машинально переспросил я.

* * *

Мне бы, конечно, не ходить на это вскрытие. Но что-то настаивало во мне: надо, непременно надо. Это и будет третья моя встреча. Последняя. И я шел так, как будто ничего и не соображал. Впереди меня двигались парни. Двигались, перебрасываясь меж собой всякой всячиной: а что в кино, а сколько градусов, а снег хрустит как живой. Меня Россомаха под руку взял, рассказывал про дом, в котором он жил в первое время: третий этаж, две комнаты, ему одному сразу дали две комнаты, оказалось, для кого-то придерживали квартиру, а теперь у него, впрочем, тоже две комнаты, даже лучше, отдельные, те были смежные, очень просит прийти к нему в гости, есть что посмотреть, тоже искусством увлекается. Россомаху больше всего на свете интересуют кость и серебро, пару раз в год выезжает к Баренцеву морю, там удается кое-что скупить. И еще шкуры: медвежьи, оленьи. Я молчу. Он так же, как и подошел, отходит к Кашкадамову и что-то ему рассказывает, должно быть о шкурах, потому что показывает руками — во!

В подвале морга пахнуло серой холодностью. Нас встретили два санитара. Два коротеньких человечка в белых халатах. На огромном оцинкованном столе лежало тело, покрытое белым. Я сжал кулаки в карманах и стиснул зубы. Снова дышать стало нечем. Закружилась голова. Мне бы не подходить к столу. А я как увидел ее — точно живая: белый лоб, сноп каштановых волос и верхняя губа чуть приоткрыта, и будто голос ее: «Зачем вы меня преследуете?» И как этот голос почудился мне, так я кинулся к санитарам. «Не дам!» — закричал, простыню схватил и все пытался расправить простыню, чтобы укрыть Ларису, а глазное яблоко снова свело судорогой — я и теперь не знаю природу этой моей непонятной болезни, только когда уж подходит эта жуткая глазная боль, так сознание на краю обрыва — и тогда, помню, силюсь сознание удержать, а не могу, вертится все передо мной, двоится, четверится: Герино лицо, его пронзительный голос: «Чучело!», Толины руки, он схватил меня за плечи, Кашкадамов укладывает меня на скамью, что у окна была, а я чувствую, что предаю Ларису, делаю попытку встать — не могу, а в голове шевелится мысль, будто я рад тому, что мне этот приступ на выручку пришел, и не приди он, не знаю, что бы я натворил. И я лежал, должно быть, долго, и слышал их отвратительные голоса.

— Странные следы. Изнасилование, может быть? — это Кашкадамов.

— Исключено, — это Толя.

А потом донесся до меня звук пилы: такой звук бывает, когда сырую осину пилят. И голос одного из санитаров: «Какие волосы!»

А когда все закончилось, Гера очень мягко поддержал меня за плечи. А я не мог в сознании что-то решить. Так, должно быть, сходят с ума. Лишаются способности переходить в мыслях с одного предмета на другой. Я ощущаю, как это ни странно, только Герину теплую руку на своем плече. И мне хочется, чтобы он не убирал свою руку. И еще я чувствую, что если сейчас не выйдет что-то вместе со слезами из меня, то, наверное, я сойду с ума. Что-то сковывает меня, и снова дышать нечем, и судорога у переносицы. Мне поднесли какую-то гадость. Я понял — нашатырный спирт. В одно мгновение пришла ясность сознания. Стало чем дышать. Вышли на улицу.

Все позади. Позади прежняя жизнь. Автобусные встречи позади. Чистота позади. Предчувствия радости позади. И мгновенное сумасшествие позади. Я ощущаю досаду. Непростительное предательство. И снова что-то цепляется в мыслях, запутывается и не желает распутываться, это та грань обернулась в сознании препятствием, за которым безумие; надо оттянуть что-то от этой грани назад усилием воли, чтобы не сойти, не переступить рубеж, глубже дышать, спокойнее должно стать, выжить сейчас, забыть все: и предательство, и их забыть — и смотреть вверх, вниз, в стороны, куда угодно, только не на Геру, Россомаху, Толю, Кашкадамова. Идти просто так, переступать ногами снег белый, синий, лиловый, а теперь легче стало. Совсем легко. Все можно вынести в этой жизни, так мама моя говорит. И сейчас я вспомнил маму. Мамочка, мамочка, всхлипывает моя душа. Помоги мне, мамочка. Не дай сойти с ума.

Так, они нырнули в магазин. Я нащупываю в кармане хрустящие бумажки. А потом чеки, бутылки, еще колбасы, сыра, хлеба надо взять, воды минеральной, мороженые помидоры, так, свернем здесь, нет, правее...

— Ну как, отошел малость? — это Гера ласково.

— Подождите, сигареты забыли, — это Толя.

— У меня дома есть, — отвечает Гера, беря меня под руку. — Скользко здесь, осторожно.

На улице темно. Это хорошо, что темно. Я иду к Толе. Снова к Толе, куда придут его знакомые медсестры.

— Так, а теперь мыть всем руки. Вот марганец, — это Толя говорит, когда мы переступили порог его квартиры.

В дверь постучали. Вошли девицы. И я почему-то ищу в них сходство с Морозовой. Одну из них Ларисой зовут.

— Удивительное имя! — кричу я. — Мне больше! Больше наливай!

— Неразбавленный, — тихо предупреждает Толя.

Я вижу Герино лицо. Его сузившиеся жесткие глаза.

— Еще! — прошу я.

— Концы отдашь! Хватит.

— Ах, так! — Мои руки снизу поддевают стол, и весь он, как был со сковородой, только что принесенной, с закуской и бутылками, опрокидывается.

Меня держат, и откуда силы — Россомаха с Толей в разные стенки руками ткнулись, только Гера на месте. Он руку мне подломил и в снег, в сугроб с крыльца швырнул.

Полетели вслед мое пальто, шапка, шарф. Выбежал Толя.

— Ты с ума сошел? — это он Гере.

— Пусть убирается! — это Гера.

— Пойдем в комнату, уложу, — это мне Толя.

Я вырываюсь и ухожу.

Я иду через сквер, и когда чувствую, что далеко от домов, даю волю слезам. Меня рвет. Я снегом тру лицо. Злость подкрадывается ко мне, голова четко соображает: нельзя садиться, нельзя стоять, надо идти. Мое сознание двоится. Одна половинка трезва и расчетлива, другая затуманена и несет всякую чушь. Одна требует справедливости и участия, другая ищет фальши.

— Будьте вы прокляты! Все прокляты! — это моя затуманенность буйствует.

— Так тебе и надо! — это расчетливая половинка в упреки кинулась.

— Господи, за что же?!

— Не юродствуй! Соберись с силами и марш домой!

— Не могу, лучше здесь лечь и замерзнуть.

— Ты даже на это не способен!

— Только ты, ты никогда не предашь, — это я к дереву прижался щекой.

— Опять лжешь, ты прислонился, чтобы отлежаться на стволе!

— Почему я так одинок?! Почему?!

— Опять лжешь. Ты не одинок. У тебя есть все!

— Ничего у меня нет. Ничего нет! И не было никогда!

— Неправда, все было. Всегда было больше, чем у всех!

— Что же было?

— Ты хочешь, чтобы тебе перечислили. Не выйдет. Не лицемерь хотя бы наедине с собой.

Одна половинка заревела, а другая трезво и зло:

— Не вой, скотина, услышать могут.

Озираюсь: горят окна — красные, голубые, зеленые окна, за которыми, наверное, такой прекрасный, как у Бреттеров, уют. Лезут слова чужие:

— На Север надо с женой ехать!

— А где я жену возьму! Не могу же я жениться не любя!

И слова деда Николая:

— Яблоко, когда перезреет, оно уже никому не нужно.

— Не нужен! Никому не нужен.

— Опять лжешь.

Вижу знакомые два окна. Это Рубинского окна. К нему! Стучу.

— Кто там?

— Это я.

Дверь приоткрылась. Цепочка поперек груди у Рубинского.

— Ты пьян. Иди домой. Я тебе не открою. Я сплю.

— Открой. Прошу тебя, открой.

Дверь захлопнулась.

— Я разнесу эту дверь! — это затуманенность моя взбеленилась.

— Ты этого не сделаешь. Ученики рядом.

Где-то загремел засов, и я скатился вниз. Домой пошел. Вот и мое окно. Занавеска отодвинута. Вижу сгорбленные плечи, руки вижу в окне — это мама моя. Так и есть — бац, занавеска опустилась, сейчас выйдет: «Сыночек» — и все такое. Надо за сарай спрятаться. Сажусь за сараем на бревно.

— Можешь даже уснуть, — это трезвая половинка говорит. — Сейчас придет мама, ты немного покуражишься, а потом потопаешь за ней.

Так оно и есть:

— Пойдем, сыночек!

7

Неожиданно для себя я сделал открытие. Я увидел ее в морозном сиянии, в лесной тишине, в снегопаде. Я шел по лесу и чувствовал, что она рядом. Я ощущал восхитительный неземной запах османии. Видел чарующий блеск ее щеки, ласкающий свет, идущий от ее розовой шали, от меха серебристого воротника, от тонких белых рук с голубыми прожилками. Всюду, где была природная чистота, всюду была она. Поэтому я уходил в лес. Каждую свободную минуту я становился на лыжи. И еще она являлась мне, когда я въедался в тарабринские книжки: Рим, Милан, Флоренция, Романья, речи Савонаролы и речи Аввакума, помыслы Макиавелли и Пестеля, Пушкин и Достоевский — она была рядом, теперь неприступная совсем, но полностью принадлежавшая самому возвышенному, что есть в мире, — Красоте.

И еще она приходила ко мне, когда я был с детьми.

Позднее я сформулирую для себя: воспитать — значит развить способность любить. А еще позднее, много-много лет спустя, я сумею лишь подтвердить для себя: только настоящая, подлинная, высокая любовь способна сделать человека великим. Истинная любовь и есть Добро и Красота.

Всего этого тогда, в печорский период моей жизни, я не понимал. Во мне продолжали развиваться две страсти. Страстная любовь к детям и к природе. Появилось неосознанное желание во что бы то ни стало объединить эти две любви, соединить в общем-то схожие состояния.

И это желание отчетливо дало о себе знать, когда однажды оказался я на заснеженной горе, а до этого брел на лыжах, уткнувшись в девственную снеговую рассыпчатость, и конца и краю не было этой белой пушистости, и уже ломило в пояснице, и шапку хотелось снять, но даже сдвинуть на самую макушку опасно: сорок градусов, а то и больше, даром что солнце шпарит. «Странно, — соображалось в разгоряченной голове, — был ведь здесь осенью, не было такой крутизны». А крутизна все усиливалась и усиливалась, так что лыжи приходилось ставить вкривь и вкось. И наконец — награда.

Оперся на лыжные палки, повисло тело над сияющей бесконечностью. Летящая прозрачность слепила глаза. Зеркальное небо отражалось отбеленным холстом.

Солнце каталось по снеговой парче. Морозность жила своей радостно-ликующей жизнью. Я поднял голову и увидел, как огненно-белый шар скатывается по самому ближнему световому переливу. В этой мороз-

ности была еще какая-то особая сила чистоты, была какая-то недосягаемость. Все на этой высоте вдруг обнажилось мне: передо мной стояла недвижно-спокойная энергия мироздания. Жмурясь и едва переводя дыхание, почти ничего не соображая, я все же попытался запомнить что-то. И первое, как я понял (как я ни силился определить цветовую гамму), здесь не было цвета в привычном понимании — синий, желтый, палевый, розовый. Здесь было нечто надцветовое, точнее, что-то стоящее за пределами спектра. Такое свечение может быть у ВРЕМЕНИ, у некоего абстрактного пространства. Это был струящийся свет, который и держался только за счет этой стылой морозной крепости. От всей этой красоты не то чтобы дух захватило — прибавилось столько силы, будто открылись мне новые источники энергии, будто установилась ранее неведомая, совершенно прямая связь с самыми дальними уголками вселенной. И что-то забилось в груди и стало расти и выходить наружу, сливаясь с этой прекрасной морозной крепостью.

Потом на вершину поднялись дети: Света, Алла, Саша, Валерий. Так же, как и я, повисли на палках, опустив руки. И первое, что дошло до моего сознания, — их дыхание — тонкий запах парного молока, смешанного с запахом фиалки. И к этому запаху примешивался еще и тот, знакомый только мне, удивительный аромат — все, что осталось мне от моей живой и неповторимой любви. Слезы навернулись на глаза. Я боялся посмотреть на детей. Мне вдруг показалось, что я, стоит поднять глаза, увижу ее, увижу на этой солнечно-морозной высоте.

А потом в одно мгновение моя тревожность схлынула.

— Смотрите же, смотрите! — кричала Света Шафранова. — Солнце катится.

Мы не сговаривались. Они услышали меня. И солнце будто катилось по снеговой парче. Я взглянул на детей. Их лица смеялись. Неслышно. И одежды, припорошенные снегом, и румянец на щеках, и радостные глаза — все говорило о новом состоянии, что-то бесконечно чистое объединило нас. Мы замерли. Наверное, от общей причастности к Красоте.

Я интуитивно понял тогда, что человеку нужны мгновения, когда вот так щедро в него может и должна войти Красота.

Родившаяся однажды радужная ослепленность спасала от многого: она отгородила от суетных претензий, от всего, что мешало покойному развитию счастья. Пусть это звучит нелепо, но это единение с детьми и природой меня приблизило к ней. И чем больше я приближался, тем более по-иному относился и к себе самому, и к жизни, и к детям. Я увидел их другими. Я стал искать в них какое-то сходство со всем прекрасным, что непременно жило в ее глазах, в ее изяществе. Я стал учиться любить детей.

* * *

Я много лет спустя только понял, что моя ослепленная любовь к детям была разновидностью болезненной любви к самому себе. Впервые об этом мне сказал Рубинский. Сказал насмешливо, после того как я возмутился его авторитарными методами общения с детьми. Впрочем, я и сейчас не могу понять, были ли его методы авторитарными или же это тоже был какой-то болезненный загиб. Я развивал тогда идею самоуправления. Мне казалось, что я с детьми достигаю высших форм человеческого единения, высшей справедливости, правды и доверия. Я говорил ученикам:

— Завтра три восьмых класса пишут сочинение. Ни в одном из классов не будет учителя, и никто из ребят не посмеет списать у товарища или же воспользоваться записями, учебником или шпаргалкой.

Я верил детям, как самому себе. Я знал: будет в классах абсолютный порядок. А через два часа мне принесут в учительскую три стопки сочинений, и я доложу детям, что за эти два часа подготовил для них удивительный рассказ о нравственных поисках Толстого и Чехова. Я давал им понять, что моя функция как учителя не в том, чтобы следить за ними, мелко и унизительно допрашивать, выискивать недостатки, расставлять капканы, а в том, чтобы утверждать высшие формы нравственности, для утверждения которых я хотел непременно найти и технологические решения. Если, скажем, Валерий Чернов назначался ответственным за проведение всего дня, то он и должен был обеспечить порядок на контрольной в своем классе. И я верил ему и говорил об этом и детям, и учителям. И в ответ мне посмеивались и некоторые из ребят, и некоторые из учителей.

— У меня несколько иной метод, — тихо произносил Рубинский, как бы обращаясь к Екатерине Ивановне, и та раскатисто смеялась:

— Ну уж и метод...

Новшество Рубинского было таким. Он поставил на стол свой учительский стул, забрался на этот трон и два часа просидел на нем, пока не прозвенел звонок. Странно, когда я увидел Рубинского, сидящего на своем возвышении, я возмутился, а он как ни в чем не бывало слез с возвышения, и его обступили со всех сторон дети: и Валера Чернов, и Света Шафранова, и Юля Шарова, и все другие дети, и никто из них не был возмущен, напротив, все обращались к нему с почтением, и он улыбался, отвечал на вопросы, и была меж ними такая особая доверительная доброжелательность, что я тихонько закрыл двери и удалился.

Однажды я разговорился со Светой Шафрановой. Как-то очень осторожно коснулся Рубинского. Она сказала:

— А он не злой. Смешно, когда он разыгрывает диктатора.

Я продолжал развивать самостоятельности детей, а Рубинский посмеивался надо мной. Помню, я уже добился того, что дети сами находили работу, сами организовывали труд, получали деньги, оформляли сберегательные книжки, покупали необходимый инвентарь для предстоящего похода, уже каждый из ребят побывал и в командной, и в подчиненной роли (принцип сменяемости руководства был для меня одним из главных), а Рубинский все равно посмеивался.

— Это игра, — говорил он. — Никому не нужная игра.

— То, что это игра, — это прекрасно, — отвечал я ему. — Без игры не может быть детской жизни. И не беда, что ты этого не понимаешь. Страшное в другом. Ты знаешь, какой вред могут принести авторитарные методы, которые насаждаются в школе, и ты же не принимаешь детское самоуправление.

— Не принимаю. Нельзя ставить у власти таких детей, как Чернов или Юра Савков.

— Почему нельзя?

— Потому что они безнравственны.

— От природы, что ли?

— От безнравственного воспитания.

— А кого можно?

— Никого.

— А тебя? — язвил я.

— Вот тебя уж точно нельзя, — отвечал он.

— Почему же?

— Потому что ты озабочен только своими притязаниями. Ты наслаждаешься самим собой в общении с детьми...

Я ничего тогда не смог ответить ему. Я действительно наслаждался самим собой. Мне доставляло огромную радость то, что я всецело посвящал себя детям, что они мне дороже всего, а те идеи, какие я пытаюсь с ними утверждать в этой жизни, волновали человечество на протяжении многих веков. Так почему же я не должен наслаждаться своим трудом, своим общением, своими догадками? Я ненавидел Рубинского и все же в чем-то ощущал его правоту. Ощущал, хотя и не принимал ее. Конфликт возник у меня с Рубинским в колхозе. Я руководил тремя восьмыми, а он тремя девятыми классами. И здесь я развивал со своим отрядом самоуправление, а он — авторитарность: за все отвечал сам, сам наказывал и поощрял, раздавал инвентарь и принимал работу. Все это у меня совершали ответственные, и я радовался тому, как они разрешали возникающие противоречия.

Но однажды случилась беда. Мои восьмиклассники во главе с Савковым и Черновым оказались ночью на кладбище (у них с девчонками было какое-то пари), они выдернули несколько крестов и направились в деревню, назвав свое шествие восьмым крестовым походом. В ходе расследования этого чрезвычайного происшествия выяснилось, что Чернов с крестом в руках ночью постучал в один из домов, старуха выглянула в окно и, увидев крест, говорят, упала в обморок, а Чернов хохотал так, что упал на землю, лег на спину и задрал кверху ноги: так ему было весело.

И вот теперь шло разбирательство.

Чернов стоял на середине вместе с Савковым.

— Вы хоть отдаете себе отчет в содеянном правонарушении? — спрашивал Рубинский, взяв на себя миссию главного судьи.

— А чо мы сделали? Ну, пошутили. Ну, виноваты, — вот такие были ответы.

Я прервал разбирательство, потребовав, чтобы Совет коллектива, который на общем собрании был назван главным органом, разобрал происшествие и вынес соответствующее решение. Меня поддержали и Чаркин, и завуч Фаранджева.

— Они не случайно тебя поддержали, — сказал мне Рубинский, когда мы остались одни.

— Почему не случайно?

— Да потому, что они твоими руками не сплотят, а разъединят ребят.

— Почему разъединят?

— Да потому, что мы фактически натравим одних учеников на других. Где это слыхано, чтобы товарищ закладывал своего товарища!

— У Макаренко тоже закладывали друг друга!

Рубинский махнул рукой:

— Там совсем другое. Там как семья.

— А почему здесь нельзя, как в семье?

— Нельзя потому, что здесь не семья.

— А что?

— Здесь разные слои. Разные люди. Они никогда не объединятся. Они всегда будут жить по-разному.

— Кто они?

— Тот же Надбавцев и тот же Чернов.

— Неправда!

Конечно же я понимал и осознавал правоту Рубинского. Жизненную правоту. Но во мне была и другая, пусть неземная, пусть идеальная, пусть фантастическая, донкихотская или еще какая там, правота. Я не желал ждать. Я весь был охвачен нетерпением. Сейчас! Немедленно! Сию минуту! В одно мгновение личность может стать благородной, в один миг может переиначиться человек! Я верил в это! Верил в то, что Чернов завтра станет самым лучшим! Самым честным! Самым трудолюбивым! И не только он. Все! На чем строилась моя вера, я не задумывался. Я пришел к детям на расширенное заседание Совета коллектива и стал говорить. Я говорил долго. Все, что накипело во мне, весь мой жар, всю мою страсть, всю мою уверенность в том, что каждый из них может стать прекрасным человеком,— все это я обрушил на ребят. Если бы за стеной помещения, где шло наше собрание, шла война, то все мои дети ринулись бы на поле брани с готовностью отдать жизнь за те идеалы, какие были провозглашены мною. (Я видел скептический взгляд Рубинского. Впрочем, в тот вечер он сдался. Потом он сказал мне: «Ты был прекрасен».) Но, к сожалению, за стеной нашего собрания не было поля брани и реализовать детскую энергию по-настоящему было негде. Точнее, в одно мгновение нельзя было ее реализовать. Я понимал это и потому выдвинул ряд требований: выполнять три нормы, с разрешения сельского совета привести в должный порядок могилы на кладбище, оказать практическую и посильную помощь семьям погибших, пенсионерам и инвалидам войны. Мы обязались оставить добрую память о себе в этом селе. Но это еще не все. Мы решили: должны приехать домой совсем другими людьми: по-новому жить и работать, доставлять радость своим родителям, учителям, товарищам; у каждого будет свой личный план саморазвития, но самовоспитание каждого, так условились, будет контролироваться коллективом.

— Любопытно все выходит! — это Рубинский сделал вывод. — Вместо того, чтобы наказать нарушителей, их сделали героями...

— Ну и что?

— А то, что безнаказанность может привести к ужасным последствиям.

— Я тоже за наказание, — ответил я. — Но наказание ведь состоялось. Общественное воздействие было. Ребята осознали вину.

— Ты уверен?

Я не знал еще Чернова. Я не знал, что стоит за сложным миром отношений моих мальчиков и девочек. Но я все равно настаивал: уверен и еще раз уверен. Я был максималистом, и это нравилось детям. Я не хотел ждать. И они не хотели ждать. Моя торопливость была опасной, поскольку исключала необходимую стадию совестливых переживаний. Я не давал им времени поразмыслить над своими проступками. Впрочем, может быть, это было и не так. Кто знает, о чем думают дети, когда остаются наедине с собой, когда просыпаются и идут в школу, когда беседуют с друзьями о сокровенном.

Я понял тогда самое главное. Чтобы воспитывать, надо знать детей. Знать во всех их отношениях. В их взлетах и падениях. В самом высоком и самом низком. Решение мое было, пожалуй, верным, но гнусной была установка — превратить мои классы в лабораторию педагогического творчества.

Нельзя экспериментировать на живых людях!

А тогда меня привлекал Макаренко. Смелый экспериментатор. Сидела в голове строчка из его письма: «У моих ног лежал созданный мною мир». Я хотел создать такой же мир. Такой же справедливый, целенаправленный и прекрасный. Именно поэтому я ринулся в тайный мир моих детей: знать все, чтобы переиначивать, перестраивать, улучшать, преобразовывать. Как Макаренко. Как Пастер. Как Мечников. Не спать ночей. Все свободное время быть с ними. Непременно сблизиться. Чего бы это мне ни стоило.

8

Черя был гением и хулиганом одновременно. Гением он был потому, что умножал в уме трехзначные числа, извлекал квадратные корни и делил любое шестизначное число на двадцать один.

А хулиганом Черя был потому, что всегда в кармане носил колоду карт, обыгрывал всех в очко, буру, девятку, а проигравших записывал в кондуиты своей памяти и денежные долги обменивал на хулиганские затеи: вот тому надо морду набить, а эту за косы дернуть или заорать в клубе: «Светка — дура!»

Никаких внешних признаков гениальности у Чери не было. Правда, широко расставленные глаза внушали некоторое недоумение: как это у него глаза так разъехались, должно быть, при такой расстановке диапазон видения увеличивается вдвое. И действительно, опыт показывал, что Черя всегда в нужную минуту сразу видел опасность и срывался с места хулиганских своих комбинаций первым.

Отец у Чери был кадровым офицером, за строгость несения службы, за поимку двадцати семи бегунов (ловил с собаками и без собак, зимой и летом) он удостоен многих наград, которые у Чери всегда были перед глазами: грамоты, кубки, карманные часы с надписью (теперь они не ходили) и даже сабля — все это висело на стене и внушало приходящим товарищам Чери особый трепет. Нужно сказать, что сабля была подарена не за лагерную работу, а за настоящую войну, за особые заслуги в войне с белыми, зелеными, черными. Черя с гордостью рассказывал о том, что его отец как-то разрубил пополам двух белых офицериков, один был совсем шкет, в очках, сам надвое развалился, а другой был как кабан упитанный, и, чтобы его разрубить пополам, пришлось применить особый удар, тайну которого отец не поведал даже Чере. А Черя, будучи гением, все же, когда не было отца, сам пытался дознаться до тайны и пробовал сшибать чего придется, от этого на лезвии появились зазубрины, за что отец Чери, Кузьма Савельевич, отвесил гениальной Чериной голове два тумака, содержание которых крепко засело в Чериной голове, а именно: брать недозволенное можно, только зазубрины делать ни в коем разе нельзя.

Впрочем, Черя то и дело нарушал это правило. Очевидно, потому, что он все же был гением. И его так и подмывало к решению совершенно неразрешимых проблем.

Среди настоящих друзей Чери были собаки. Животные принадлежали отцу. Это были очень хорошие рабочие собаки. И то, что они съедали по килограмму мяса в сутки, оправдывало себя, поскольку на собак действительно выдавался спецпаек и спецоклад. И то и другое можно было как-то варьировать, не обижая животных, больше того, оставляя какую-то часть собачьих сбережений на черный день. Кузьма Савельевич был добрым человеком, он был предан своим друзьям, эту родовую верность отец стремился воспроизвести в сыне.

Из шести собак — здесь были главным образом овчарки и московские сторожевые — кобель Франц, черная овчарка ростом с молодого теленка, с блестящей шерстью и удивительно схожими с Чериными широко расставленными глазами, был любимым псом младшего Чернова. Франц прыгал выше всех, дальше всех мог пробежать, нюхал лучше всех, у него были особая комковатость лап и бочковатость ребер. Но главное его достоинство заключалось в том, что он мог незаметно напасть на человека, мог играть в игры, которые Черя умел придумывать бесконечно. Эти игры, как выразились бы ученые психологи, были по-настоящему сюжетно-ролевыми, ибо в них было все: интрига, завязка и развязка, правила, ролевые предписания и прочая игровая дребедень. Любимой была игра в «разведчика и шпиона». Гениальность Чери была и здесь проявлена: на роль шпиона никто из ребят не соглашался, и Черя эту роль брал на себя, и это ставило Франца в необходимость

играть против своего хозяина. Черя пробовал многие шпионские уловки — забегал в воду, посыпал дорогу табаком, скакал на ходулях, но Франц все равно настигал «врага» и «рвал» его на части. Чтобы достоверность силы Франца была обнаружена, у Чери был макет человека — мешок, которому приделаны были ноги — две набитых ватой штанины — и голова, старый кожаный мяч, так вот этого-то человека Франц безжалостно терзал, заставляя полностью покориться. Францу нравилась игра, потому что он видел своего хозяина счастливым: горели щеки у Чери, захлебывался голос, глаза метались в широком диапазоне, волосы раскидывались в разные стороны. В такие минуты Черя был настолько полноценно счастлив, что даже не в состоянии оказывался делить какие бы то ни было шестизначные цифры на двадцать один.

Но больше всего счастлив Черя был, когда его «сошпионы» в диком испуге, спотыкаясь и набегая друг на друга, мчались от Франца с безумными глазами, откуда и прыть бралась — Саша Надбавцев однажды на дерево вбежал, как по ступенькам, а Юра Савков перелетел через овраг такой ширины, какая ни в одном спортивном зачете не значилась.

Черя наблюдал за сумасшедшим испугом своих «соврагов» и хохотал так, что было больно в животе. А Франц, точно чуя, какое наслаждение доставляет хозяину, вбегал и на дерево, прыгал через овраги, ширина которых нигде, к сожалению, не зафиксирована, и не лаял, даже если отчаянный противник бросал ему в широко расставленные глаза горсть табаку или земляные комья.

Конечно же Франц ловил в игровом смысле. Он знал игровые правила, но, увлекшись, он иной раз забывался, и тогда штанина или рукав врага оказывались прокушенными. Иной раз Францу удавалось стащить с противника куртку или шапку, и уж тут-то великий сторожевой потешался всласть. Куртка заглатывалась в таком количестве, будто у Франца в пасти был еще и дополнительный мешок, куда влезало бог знает сколько всего, а затем он со злостью прокушенное и прожеванное барахло выплевывал и отбегал в сторону, чтобы снова наброситься в такой ярости, что бедная куртка какого-нибудь мальчонки становилась уже мало похожей на человеческое одеяние, и этот процесс полного или частичного уничтожения вещи очень нравился Чере. Черя визжал, катался на спине, рвал траву руками, махал одновременно всеми конечностями — такое несказанное счастье испытывал он от придуманных им ролевых игр.

Наигравшись всласть на лугу, Черя вольно шел по берегу, и ему не терпелось еще что-нибудь такое выкинуть, чтобы еще и еще раз испытать наслаждение от бесшабашного живого смеха. И тут его гениальная голова выбрасывала такие предложения, от которых иной раз дыбом волосы у ребят становились. Но Черя не унимался, волосы, стоявшие дыбом, он сбивал своей крепкой ладонью, приговаривая:

— Чо? Испугались? Испугались?!

Ему доказывали, что никто ничуть не испугался, но Черя заводился не на шутку и предлагал свое любимое:

— Спорим! Спорим, что я доплюну, доскачу на одной ноге, доеду на Франце до угла, дотащу Франца за левую ногу до столба!!! Спорим, что пукну восемь раз подряд, проколю щеку иглой, сошью иглой обе лапы Франца, а он и не пикнет.

Неведомая, отчаянно-настырная сила лезла из Чери — он непременно должен был доказать, самоутвердиться, доконать своих товарищей чем угодно. Однажды он предложил такое, что всем даже стыдно стало.

— А спорим, что я обделаю это окно!

Ребята покосились друг на друга: такого еще не бывало.

Черя отошел на два шага. Снял штаны...

Совершив гадкое дело, ребята пустились наутек. Но были все же замечены. Говорят, отец ходил отмывать окно, говорят, что он всыпал чертей сыну. А когда всыпал, то приговаривал:

— Ну, и где же ты такой гадости набрался!

Черя этого не знал. Просто в нем что-то сидело такое, что постоянно придумывало, смешило и радовало окружающих, и эта буйная сила всегда выскакивала вместе с любимым словечком «спорим». Это словцо выбрасывалось у Чери так страстно, так самозабвенно, что вся его плотная фигурка перекручивалась, вдвое сгибался он, зад у него оттопыривался, ноги растопыривались в разные стороны.

— Спорим! — закричал однажды Черя в мужском туалете родной школы. — Спорим, что я в журнале исправлю все двойки. Наставлю столько лишних оценок, что ни одна экспертиза не подкопается.

— Не болтай! — сказал Юра.

— Это ты чересчур хватил, — сказал Саша.

— А чего? Черя сможет, — подзадорил Коля Кузьмин.

— Спорим на червонец. С каждым на червонец!

Желание увидеть, как учителя будут стоять под дверью, а Черя в это время будет исправлять оценки в журналах, было сильнее, чем страх потерять червонец.

И пари состоялось.

На следующее утро дети наблюдали такую картину.

У входа в учительскую стоял Франц, и по мере того, как кто-нибудь из учителей делал попытку подойти к собаке, Франц рычал, показывая фиолетовое нёбо, острые крепкие клыки и розово-шершавый язык.

— Чернов! — кричали учителя. — Прекрати безобразие!

— Я ничего не могу сделать! — отвечал Черя. — Франц загнал меня сюда и не выпускает!

Черя приоткрывал дверь — и тут же пес кидался на двери, озверело рыча.

Учителя, приговаривая: «Ну, погоди!» — отправлялись на уроки, а Черя, когда никого не стало, вышел из учительской, и тоже вскоре его увидели за партой. В тот день, а потом еще целую неделю он, Чернов Валерий, все же не сидел за партой, так

как его исключили из школы, но очень скоро из-за всеобуча и идя навстречу его отцу, Кузьме Савельевичу Чернову, Валерия восстановили в списке учащихся. И Чернов стал ходить на занятия. Об этом случае учителя вспоминали с оттенком некоторой любви: Черя был необычным мальчиком, все-таки никто ни у нас, ни за рубежом не мог умножать и делить любые шестизначные цифры на двадцать один, извлекать корни из громоздких чисел, делить и прибавлять столько разных цифр.

Ненавидел Черю по-настоящему только один человек. Этим человеком был Альберт Михайлович Рубинский.

Ко времени новой истории, связанной с убийством Франца, этой ненависти у Рубинского накопилось с избытком.

А случилось вот что.

В двадцатых числах апреля, когда уже была объявлена охота, Черя кинулся искать пропавшего Франца и нашел его убитым из дробовика на берегу Печоры. Черя знал, что Франц никому не подчинялся, его могли увести лишь два человека — его друзья — Коля и Саша. И Черя решил:

— Они убили. Я отомщу за Франца.

— Как ты отомстишь? — спрашивали у Чери.

Черя плакал. Огромные слезы выкатывались на его веснушчатое лицо. И намерения у Чери зрели жестокие.

Рубинский предлагал отправить Черю в колонию. Но за что? Прямых посягательств на жизнь соучеников не было. К тому же Черя был в этой истории пострадавшей стороной.

И в тот вечер после разбирательства истории с Черей Рубинский мне сказал:

— У меня точных данных нет, но собаку Чернова убили не случайно. Говорят, пес затравил человека.

— Есть доказательства? Доказательства, а не слухи?

— Какие могут быть доказательства?

— Так и нечего соваться с дурацкими предположениями.

Рубинский пожал плечами и, не попрощавшись, ушел.

В этот вечер я отправился к Черновым.

9

Это происходило две недели назад. Валерию Чернову поручили написать кое-что к спектаклю-лекции о Сурикове. Он должен был разработать две сцены: сцену вылавливания стрельцов и сцену их допроса.

— А можно с собаками? — спросил Черя, загораясь.

Я представил огромного Чериного пса на сцене — эффектно — и кивнул головой. Саша и Коля тогда переглянулись.

— Еще чего не хватало, — сказал Саша.

— А это соответствует исторической правде? — спросила Света.

— Собаки всегда были, — сказал Черя. — Я вам принесу историю служебных собак.

Черя по сценарию сам должен был играть рыжебородого стрельца, которого на сцене затравит Франц и приведет за подол белой рубахи к стражникам. И пес во время допроса будет лежать у ног стражников и рычать на Черю.

По замыслу все выходило хорошо: темные своды погреба, свечи, оружие, монахи и рычание огромного пса, который то и дело будет поднимать голову и издавать грозные звуки.

И вот когда кто-то убил Франца, я пришел к Черновым.

Черя посмотрел на меня со злостью.

— Ты чего это? — спросил я.

— А вы все против меня, — сказал он в запальчивости.

— Откуда взял ты это?

— Вот так настроен! Беда, — сказала мама Чернова, маленькая, худенькая женщина. — Я ему внушаю: ты к людям с лаской иди, и они к тебе добрее станут. Собачку, конечно, тоже жалко, но чего уж теперь делать?

— А где отец? — спросил я.

— А вы отца не трогайте! — вскипел вдруг Черя.

Отец вошел явно хмельной. Подошел ко мне пошатываясь.

— Здорово, здорово, — сказал. — Бедой запахло в нашем доме, вот что скажу тебе, учитель.

— Этого быть не может.

Чернов махнул рукой:

— Все может быть. Жаль мальца. Погибнет ни за что. Все против него. И этот ваш жидок. Попомните мое слово! — вдруг вскипел отец Чернова. Встал и пошатываясь пошел к окну. — Попомните мое слово, тронете мальчишку, плохо всем станется!

— Откуда вы взяли, что все против него?

— Да бросьте. Не то говорите. Ну зачем не то говорить? — спросил меня в упор Чернов, и на меня пахнуло перегаром.

Мать между тем накрывала на стол.

— Садитесь. Грибочки. Семужка. Выпейте по рюмочке.

Отец разлил в три рюмки: мне, сыну и себе.

Я посмотрел на Черю. Он отодвинул рюмку.

— Пей! — сказал отец.

Я отодвинул и свою рюмку. Что-то на меня нашло.

— А чего вы, собственно говоря, кричите! — вдруг сказал я. — Я могу уйти!

Я уж было пожалел о своих словах, но Чернов мигом вдруг переменился, приказал жене убрать рюмки, потребовал чаю, мать забегала, и мне стало стыдно за свою вспышку. А он сидел поникший и уже совсем не злой.

— Говорят в народе: пришла беда — отворяй ворота. Мирное время, а я троих похоронил за год. Старики, как сговорились, в две недели померли. Сначала отец помер, а только отца похоронили, девять дней отметили, у меня билет уже в кармане был, — мать скончалась. Тихая была все дни, а по-

том легла спать часа в три, а наутро не встала. Вот так. И только приехал сюда, пожил два месяца — опять телеграмма — брат помер. А тут еще на службе одни неприятности.

— А что на службе?

— Новую работу надо искать. Лагеря все свертывают. А куда мне идти, когда нету никакой профессии? В сторожа?

— Может, помочь? — спросил я.

— Мне уже не помочь. Конец! — Чернов потянулся к стакану. Налил. Выпил. — Сынку помогите, если сможете. Только и тут прокол будет.

Чернов плакал. И было неприятно, как он открыто это делает.

— У вашего сына блестящие способности. Надо ему взяться по-настоящему, иначе на второй год останется.

— Теперь уже на третий.

— Я вам обещаю, что Валерий непременно станет одним из лучших учеников. В этом я могу поклясться.

— Житья ему в школе не будет, — вытирая слезы, сказал Чернов.

— Директор хорошо относится к Валерию.

— Директора я знаю. И он меня лет двадцать знает. А вот учителя его ненавидят. Все, кроме этой Екатерины. А она хоть и говорит, что Валерка самородок, а все равно ему одни двойки ставит.

Мы прошли в комнату, где занимался Валерий. На столе было несколько рисунков к декорациям, а на стене, рядом с суриковской репродукцией «Боярыни Морозовой», собственная картина Чернова: протопоп Аввакум с собаками.

Аввакум был просто красив. Он потрясал палкой, а стая собак извивалась вокруг него, не смея подступиться.

— Неужели сам придумал? — спросил я.

— Собак сам придумал, а Аввакума срисовал.

Он показал мне репродукцию: я не видел такой раньше. Прочел внизу: «Изображение Аввакума на иконе XVII века. Собрания Хлудова в Гос. Историческом музее». Удлиненная фигура протопопа с двумя поднятыми перстами на фоне, так мне показалось, не то стены каземата, не то ямы, в другой руке у протопопа рукопись — длинный свиток.

— А чего ты свиток сделал сине-фиолетовым? — спросил я.

— Так в яме же сидел. А бумага всегда покрывается от сырости синими и фиолетовыми пятнами, — ответил Черя.

— Собаки превосходно контрастируют с мудрым покоем протопопа. Поразительная точность рисунка.

— Да он без отрыва руки может вмиг любое животное изобразить. А ну, Валера, покажи!

Я посмотрел на Черю. Он замялся.

— Ну покажи, — попросил я.

Черя взял карандаш и в полминуты нарисовал собаку, точь-в-точь Франц получился.

— А ну еще?

И Черя нарисовал пса бегущим, бросающимся на кого-то.

Мы вышли на крыльцо. Чернов суетился:

— Пойдемте-ка со мной.

Он поманил меня в сторону сараев. Открыл дверь ключом. Зажег фонарь. Подошел к бочке. В рассоле виднелись рыбьи спины. Одну из хребтин Чернов вытащил из бочонка.

— Я вам заверну. И не думайте! Не отказывайтесь!

Я шагнул за дверь.

— Обидите, обидите кровно, — сказал Чернов.

— Хорошо, — сказал я. — Половину. Давайте я сам отрублю.

Топором я отсек от хвоста. Чернов завернул в бумагу, и я спрятал рыбу в портфель.

— Послушайте, — сказал я. — А правда, что вы вылавливали бегунов с собаками?

— Так чего уж тут скрывать? Две медали «За отвагу» имею. Дело нелегкое. Это теперь порасшаталось все.

— А вот этот последний случай...

— С Вершиным, что ли?

— Как-как? Как его звали?

— А черт его знает, как его звали, — сказал Чернов. — Помер он. Нет его в живых.

— Так этого вы что, тоже вылавливали?

— А как же? — спокойно сказал Чернов. — С Францем за ним двое суток до самой Юсь-Иглы бежал, а он, сволочь, под мостом сидел целые сутки, а я на обратном пути только и взял его, окоченевшего. Почти мертвый был.

— А как это было?

— Я возвращался с Юсь-Иглы, а собачки Франц и Копега вперед пошли. Слышу — залаяли. Ну, думаю, зайчика травят. А они этого очкарика нашли. Потащил я его к сторожке, где связь у нас была. Думаю, оживет. Все они так, когда с собачками поиграют, мертвыми прикидываются. Тепло было. Я его приволок с собачками на своем парусиновом мешочке: накидочка у меня навроде мешочка сделана.

— А не тяжело?

— Какой там тяжело! Худенький он. Дистрофик.

— А говорят, что у него реабилитация была?

— Пришла амнистия попозже, когда он уж и концы отдал.

— А отчего?

— Слаб был до чрезвычайности. Да простыл. Попробуй на морозе под мостом сутки почти в одной фуфайчонке просиди.

— А для чего под мостом? — еще раз спросил я.

— А как же? Сначала по воде километра два следы заметал, а потом под мостом спрятался. С расчетом спрятался. Его по лесу ищут, а он у лагеря хоронится. Прекратят поиск, а он и выходит на волю как ни в чем не бывало.

— А почему он не дождался реабилитации?

— Как же не дождался, дождался. Только документики на него еще не пришли. А сообщить-то ему сообщили, что он подчистую, в полном оправдании должен выйти на волю. Но всему свое время. Нельзя

без документов выпускать, не положено, там у нас, как вы знаете, и бендера, и власовцы, и басмачи содержались, не каждому реабилитация полагалась, и кто знает, почему вдруг всем пришли бумаги, а на него задержали, может быть, под самый занавес там где следует и выяснились какие-нибудь новые обстоятельства, всякое в лагерях бывало.

— Ну и что же? Он не дождался бумаг и убежал? Для чего?

— Вот этого я не скажу.

— А откуда он узнал о своей реабилитации?

— А из Москвы письмо получил, не то от жены, не то от невесты, она сюда как раз и сама вроде бы как прискакала. Вот так-то. А теперь одни неприятности всем.

— Кому, собственно?

— А всем. И начальнику. И охране.

— А начальнику, это что, самому Шафранову?

— Говорят, и его по этому делу будут таскать.

— Его-то за что?

— Как же, за все он теперь отвечать должен один. Ссылать — так все, а отвечать — так теперь одни мы. Вот так!

— И вам неприятности?

— А шут их знает. Я по заданию шел: наряд в зубы, и топай.

— А сын знает об этом случае?

— А как же? Сынок всегда меня провожает, когда я по заданию иду. Всякое может быть. Один раз так меня колышком саданули — два месяца в больничке провалялся. Медаль тогда и дали. К ордену представляли, а потом медалью отделались. Не положено все это рассказывать, да теперь уж все равно все про все знают. Меня на днях в магазине как хлопнет один гражданин по плечу да как заорет на весь магазин: «Собаками народ травишь!» Я ему: «Ты что, спятил?» А он: «Видели тебя!» — и с кулаками на меня. Хорошо, участковый подоспел. Сроду такого раньше не было.

— Еще чего случиться может? — сказал я.

— Мне-то уж не страшно. Нажился я. А вот детишек жалко.

Я стоял на порожке сарая. Переминался с ноги на ногу и не мог понять, что же со мной происходит. И жалостью, и злостью переполнялось мое нутро, и ничего не мог я сказать.

— Всякий раз, как рыбки понадобится, всякий раз приходите ко мне, — сказал между тем Чернов.— Сам промышляю.

Я взглянул на портфель и ахнул: из портфеля текла мутная рыжая жижица.

— Я, пожалуй, у вас этот сверток оставлю, — сказал я. — У меня в портфеле тетрадки.

— Понимаю... — сказал Чернов, поглаживая сверточек.

И так жалко он произнес это слово «понимаю», точно его самого настиг и догрызал какой-нибудь волкодав по имени Франц или Копега.

10

До встречи с Черновым у меня не было уверенности в том, что Вершинин, как назвал его Новиков, это и есть тот самый Вершин, который дружил с Блодовым и с которым я был знаком в студенческие годы.

Самым интересным было то, что Вершин именно тогда, в университетскую мою пору, натолкнул меня на Аввакума и Морозову. Точнее, первым человеком, кто мне рассказал об Аввакуме, был мой друг Маркелыч. Но по-настоящему заинтересовал меня русским семнадцатым веком именно Вершин. А познакомил меня с Вершиным Блодов. Это было 19 февраля 1951 года. Я тогда еще острил: историческая встреча состоялась девяносто лет после отмены на Руси крепостного права. Я, Блодов и Вершин сидели за столиком. Я отошел к стойке буфета и вдруг увидел, как Блодов из своей кружки выплеснул остатки пива в лицо Вершину. Вершин вскочил. Я бросился разнимать.

О причинах скандала я так и не узнал, сколько ни пытался спрашивать. Знал только о том, что оба сидели в лагере и оба вышли оттуда. Блодов стал учиться в университете, а Вершин в Художественном училище. Знал я, что Вершин пишет что-то историческое из жизни допетровских времен. С Маркелычем (до его отъезда, разумеется) спорил о расколе церкви. Вершин яростно защищал Никона, а Маркелыч — Аввакума. Вершин приводил доводы: «Никон был за социальный прогресс. Подготовил появление Петра. Аввакум — вредное явление. Он звал к самосожжению, лишь бы утвердить свою правду. Двадцать тысяч здоровых россиян сожгли себя в те страшные годы». Маркелыч спокойно отвечал ему, что Никон создал церковь разврата и отступничества. Аввакум настоящий пророк, потому что стоял за ту веру, которая не знает лжи и казнокрадства. Я был на стороне Маркелыча. Блодов в спор не вступал. Вершин доказывал, что России нужны социальные преобразования в любом виде. Маркелыч стоял на том, что социальные преобразования, не подкрепленные нравственным просветлением каждого человека, непременно приведут к жутким последствиям.

— А все же твое мнение? — спросил я у Блодова.

— Я за прогресс. Все остальное — поповщина.

Когда все ушли, я спросил у Блодова:

— А как его живопись?

Блодов оживился, а потом помрачнел и сказал с сожалением:

— Есть у него несколько штучек — высший класс. Это цикл портретов одной милой девочки. Ей семнадцать лет, и она влюблена в нашего живописца. А он, подонок, растлевает ее: пишет голой. Один из лучших ее портретов написан в образе Венеры с зеркалом. Есть у Веласкеса такая картина.

— Зачем же такое подражание?

— Валял дурака. А получился шедевр.

— У него любовь?

— Не думаю.

— Послушай, давай сходим к нему.

— Хорошо, как-нибудь, — ответил Блодов.

Пойти к Вершину нам не довелось. Вскоре мы узнали, что его забрали. Пришли и забрали. Ночью. А пять лет спустя я, встретившись с Блодовым, спросил:

— А где Вершин?

Блодов толком ничего не ответил.

Я больше не спрашивал о Вершине, да и Блодова потерял вскоре из виду.

Теперь я вспоминал: Блодов мне рассказывал о своих муках в лагере, именно в каком-то печорском лагере, где ему отбили почки и откуда его выпустили, не найдя за ним никаких грехов, потому что сам факт связи его с украинскими националистами во время фашистской оккупации, как он однажды мне подчеркнул, оказался ложным, и он рассказал еще о своей великой готовности не только в юности, но и сейчас отдать жизнь, сжечься на костре, распяться, лишь бы закончились на земле неоправданные убийства. И я верил ему и думал о своей ничтожности, о том, что я такой мерзавец: ни разу мне в голову не пришла мысль о спасении человечества через собственное уничтожение. Если бы я стал копать вглубь, я бы обнаружил и следующее: я боялся Блодова. И точно знаю: страх закрался после того, как Маркелыч вынужден был уйти из университета. А случилось это после того, как Блодов открыто обвинил Маркелыча в поповщине. Я робко выступил в защиту, сказав, что Маркелыча больше интересует не вера, а история культуры. Маркелыч не пожелал защищаться таким способом.

Потом мне Блодов сказал:

— Зря ты полез его выгораживать.

— Но он же мой товарищ, — сказал я.

Блодов скривился. Ничего не сказал, только скривился. А потом Маркелыч, не попрощавшись, исчез. Совсем исчез.

— Вовремя слинял, — пояснил Блодов, — иначе бы...

Я и тогда заметил, что Блодов о своих взаимоотношениях с Вершиным что-то утаивал. Мелькали догадки. Самые разные. Кто же Морозова? Какое отношение она имеет к Вершину? Знал ли Блодов о Морозовой?

Единственным человеком, кто мог мне хоть что-то прояснить, был Новиков. Я знал, что мои новые вопросы о Морозовой-Вершиной могут привести Новикова в ярость. И все же я не удержался. Рано утром я пришел в школу, меня еще на крыльце встретил Новиков.

— Вы дежурите? — спросил он.

— Нет, я вас жду.

— Заходите.

— Алексей Федорович... — начал я и замолчал.

— Случилось что-нибудь?

— Я тогда неправду вам сказал. Только и вы ошиблись. Не Вершинин, а Вершин его фамилия.

— О чем вы? Я вас не понимаю! О чем вы?! — закричал Новиков. — Вы в своем уме? Я знать не знаю никакого Вершина. Никогда и нигде с вами о нем не говорил.

— Как не говорили, Алексей Федорович! Я же вот тут сидел, и вы мне про Макиавелли говорили и Пестеля...

— Поразительно, — рассмеялся Новиков. — Нет, я вызову врача. Посидите здесь, а я вызову. У меня хорошая знакомая, заведующая неврологией, Марья Христофоровна...

Он глядел заботливо, а глаза издевательски смеялись.

— Меня интересует смерть Морозовой. Кто убил ее?

Новиков встал:

— Вон отсюда! Вон! Я кому сказал: «Вон!»

Я поднялся. Слезы сдавили горло. Направился к двери, услышал голос Новикова:

— Постойте. Сядьте. Вы думаете у нас работать? Хотите работать? Тогда занимайтесь делом и не суйте нос не в свои дела. Ясно?

— Ясно, — прохрипел я. — Я знал Вершина, а его невеста...

— Не говорите глупостей. Никакая она ему не невеста. Она замужем... — Новиков улыбнулся. Выдвинул ящик стола, достал ключ от сейфа, открыл железную дверцу и вытащил оттуда папку. — Вот ее личное дело.

Я привстал. Я тут же, даже сидя напротив, узнал Морозову на крохотной фотографии.

— Читайте на обороте: муж — Блодов Вячеслав Данилович, искусствовед.

— Не может этого быть, — сказал я, рассматривая личный листок. — Так вот как оно все обернулось...

— Что обернулось?

— Это я так, для себя, — пробубнил я.

— По-дружески вам говорю. Не лезьте в это дело. Не лезьте. Обещайте мне. Сейчас я вам только добра желаю... Забудьте всю эту историю...

Я уходил от Новикова с твердым намерением выкрасть личное дело из сейфа и до конца раскопать эту историю.

11

Мне нужна была моя тайная, фантастическая, великая и чистая любовь. Она нужна была мне, чтобы сохраниться в том чистом помысле, каким был я. Она нужна была детям, чтобы заронилось в их сердце то самое светлое человеческое чувство, благодаря которому род человеческий продолжает быть хранителем истинно человеческих ценностей. Она нужна была той коллективности, какую я еще не нашел и какую так искренне искал. Эта коллективность должна была быть напоена соками подлинной гражданственности и подлинной человечности. Мои дети (им было уже по пятнадцать-шестнадцать лет) вступали в прекрасную пору идеально-чувственных мук. Они, и девочки и мальчики, взбирались на вершины, откуда (одно неверное движение!) в один миг можно оказаться в самой последней грязи и откуда можно увидеть свою единственную звезду. Увидеть, чтобы

всю жизнь следовать за ней. Это и выбор себя. Это и выбор своего отношения к другим. Это и рождение самой главной жизненной идеи. Я рылся у Тарабрина в книжках. Нашел потрясающую мысль: оказывается, слово «идея» в переводе на русский язык (с греческого) означает — лик, то есть лицо. Первозданный лик, то есть божественный образ. Просвещенный человек, высоконравственный человек как бы освещается идеей изнутри и собою и через себя являет миру, другим высокую идею. Распад личности начинается тогда, когда в человеке исчезает свет. Распад начинается не только в старости. Он может обозначиться и в шестнадцать лет. Я рассказывал детям о самой великой и самой идеальной любви. Я брал себе в союзники Еврипида и Софокла, Данте и Петрарку, Рафаэля и Врубеля, Пушкина и Блока. И вдруг открытие. Я мог, почти не таясь, поведать детям о Ней.

— Однажды, — рассказывал я им, — Рафаэль доверился одному своему другу: «В мире так мало изображений прелести женской, посему-то я прилепился к одному тайному образу, который навещает мою душу». Тогда друг спросил: «Что значит «навещает душу», что значит это «прилепился»? Рафаэль бросился к другу со слезами на глазах и открыл тайну. В нем давно зрело святое чувство написать Мадонну. Он громко произносил ее имя по ночам и, произнося ее имя, прислушивался к своей душевной грусти. Неутомимый дух его трудился в мыслях над образом Мадонны, а образ все еще был туманным. Иногда в какие-то лишь мгновения он видел очертания своего идеала, но он тут же исчезал. И вот однажды ночью он увидел на своем холсте, там, где был неоконченный портрет Мадонны, сияние; образ казался совершенным и будто живым. Градом покатились слезы из очей изумленного Рафаэля: он нашел именно то, что искал всю жизнь. Он не мог припомнить, как заснул. Видение навеки врезалось в память и постоянно, как замечал Рафаэль, навещало его душу.

Я рассказывал детям, и они понимали меня. И я знал, что мой рассказ им необходим, ибо в нем сосредоточены ответы на мучительные их собственные вопросы. Я вдруг понял, что попал в совершенно необходимый мне водоворот. Меня так закрутило в нем, что мне не стало хватать времени. Как-то само все шло ко мне, наслаивалось одно на другое и особым, совершенно естественным образом подходило к детям. Прошлое смешивалось с настоящим. И у этого смешения было два адреса: я и они. Нам было удивительно интересно от столкновений с тайнами великих людей. Эти тайны нескончаемой вереницей сами шли к нам, раскрывались, утоляя душевный голод, звали к раскрытию новых тайн.

Именно в эти дни я прочел книги о Беатриче и Лауре. Рассказал о них детям. Рассказал, чтобы еще и еще раз поверить в то, что есть в мире высшая любовь, высшая чувственность, которая слитна с идеальностью, не разграничивается на разные виды отношений к противоположному полу: телесное и духовное. И чем больше я рассказывал о Беатриче, тем больше думалось о Феодосье Морозовой и о протопопе. Кто знает, может быть, Морозова и есть Беатриче. Иначе откуда такие слова у протопопа: «Звезда утренняя, упование мое, надежда моя»? «Житие» и есть Дантов ад. Ад на русский манер. Не укомплектованный всеми аксессуарами западной роскоши: ни котлов добротных, ни чертей, ни героев мифических, ни античных поэтов. Ад упрощенно-суровый, подчеркнуто злобный: сырая яма, рогожка, насекомые, клещи, вырывающие язык, топор, отсекающий руку: «Гляди, протопоп, да возрадуется твоя смутнянская душа!» А протопоп глядит и тайно ото всех зрит очами свою утреннюю зарю, ступающую по облакам чистыми, омытыми утренней росой ногами, — святая Феодосья. Беден русский рай, горемычен русский рай — нет в нем ни чертогов, ни одежд, ни золота, ни драгоценностей; есть переливы морозного сияния, бездна за бездной из сплетений солнечной щемящей тоски, черные лавки, бревенчатые срубы, ягоды, грибочки и ослепительная серебристость льна — льна, слепящего белизной глаза, льна цвета свежей сметаны с едва заметным кремовым оттеночком, льна совсем кремового и льна цвета последних лучей уходящего солнца, и льна сиреневого, и льна брусничного, и льна ежевичного, и льна черничного. В этих одеждах из праздничного льна, из льна сумеречного, из льна погребального видит он свою Невесту, по-заморскому Беатричей ее зовут, а по-православному, кто знает, может, святой Анной, а может, святой Варварой, а может, и святой Феодосьей.

Потом сплошь стали попадаться мысли: чтобы понять себя в этом мире, надо постичь развитие историческое. Чтобы понять историческое, надо постичь сегодняшние беды и возвышения как живую историю. Надо возвыситься до понимания трагических будней, в каких прячется иной раз великая память, хранящая адовые всплески злодеяний, багровые сгустки запекшейся крови, злые улыбки от сознания, что один за другим отправились в преисподнюю мнимые и не мнимые враги, потенциальные завистники, лживые почитатели, отважные лицемеры, отчаянные соглядатаи, утонченные садистские улыбки от сменяющихся картин: в белом белье, смерть почему-то принимают в белье, так и мне казалось, раздевают, а они, раздевающиеся, рвут одежду, а иные впадают в смех, а иные плачут и клянутся, что любят и всегда будут чтить тех, кто отнимает сейчас у них жизнь, и пули, пули, пули — изобретение технического прогресса — дырявят живую плоть — к праотцам, а садистская улыбка прячется в усах, или за огромными очками, или в узенькой бородке, или в мясистом подбородке, и жирные пальцы перелистывают томик Макиавелли: «Как достичь власти?» Надо истребить всех приближенных, надо сделать так, чтобы близкие уничтожали более близких, а тех близких расстреливали, удавливали, топили новые близкие, а новых близких умерщвляли уже совсем новые близкие, а откуда брать еще более новых близких, а они всегда под рукой, кто был никем, тот станет всем, крутится колесо швейной машинки, великолепный портной Абрам Самойлович шьет отличную одежду для нового комбрига, которую сорвут с него через некоторое время,

сначала петлицы сорвут, потом рубаху разорвут, зачем такая торопливость, вещь добротная, можно бы и сохранить, нет же, рвут на части, концом колючей проволоки по спине комбрига, по легендарной спине, так полоса и осталась на спине, один к одному спинка, так старался Абрам Самойлович, подгонял спинку, ни одной складочки, все пригнано, а сукно какое! — и все! — конец и комбригу, и гимнастерке — в общем мусоре сгорит гимнастерка комбрига, и четверо мужиков оттащат грузное тело комбрига в крохотный домашний крематорий, уютный крематорий, и распишутся четверо в ведомости, обыкновенной амбарной книге, — состоялась кремация умершего от дифтерита Ивана Ивановича Колдубаева, и подписи неразборчивые будут поставлены, и всем четверым будет сделано замечание капитаном Шулейкиным: «Подпись надо ставить разборчиво, ишь расписались, гнедые, государственное дело вам доверено, а не какое-нибудь хухры-мухры».

А потом пошла иная полоса. Кругом восклицания: «А вы знаете, Матвеев освободился, полностью реабилитировали!» Или: «Вчера Сидоров вышел». Или: «Устинова освободили, но полная реабилитация не пришла. Говорят, денег выдали ему!» — «А кто такой Устинов?» — «Посол в Японии был». И я бегу с разными людьми то к Матвееву, то к Сидорову, то к Устинову. Живая история. Встречи с интересными людьми. Меня встречают спокойные, тихие старики, радостно встречают. «Как там? Как жили? Что было с вами?» Молчат старики. Покорно молчат. Радостно молчат. Кончилось все. Восторжествовала правда. Ленинская правда. А я пытаюсь докопаться, дознаться. Пытаюсь приоткрыть их душу. Вовнутрь, в краешек заглянуть: что там? А они глядят на меня пустыми глазами. И ни за что не открывают мне свои тайники, не впускают меня в свое тайное знание, не могу я увидеть в этих тайниках ни комбриговских гимнастерок, ни колючей проволоки, ни уютных крематориев. Молчат бывшие легендарные, бывшие военачальники, бывшие загранкомандированные. Молчат. Молчат, точно воском все нутро их залито. Молчат и радуются: хорошо-то как дышать на воле! Солнца сколько! Люди-то какие! Страна какая! Строек-то сколько! Нет, не зря все было. Кто старое помянет, тому глаз вон. Славим Петра. Ивана Грозного славим. И опричнина нужна была. И стрелецкие казни нужны были. Во славу государства Русского. Единого государства. Пока стало писаться Великия, Малыя и Белыя Руси, много крови надо было пролить, много зубьев прямо из десен живых на землю шмякнулось, немало спин было продырявлено чем попало — ятаганами и топорами, плетью и саблями, резиновыми палками и кольями. Нет такой шкуры человечьей, какая могла бы не поддаться профессиональному Пытающему. Тайная профессия. Родовая. Из века в век она передается по тайным каналам от человека к человеку. Из рода в род. Из племени в племя. Из зла в зло. А там, за пределами таинственных передач, гремит музыка, к добру призывает тонкая скрипка, ласкает будущий Пытающий любимую или насилует ее, пастью преградив своей выход ее воплей, распинает, чтобы и человек, и земля, и небо, и воздух были наполнены родами зла, клокочущим звериным хрипом удовлетворенной плоти, чтобы по мирозданию рассеялся зловещий воздух насилия, чтобы в души он вселялся, этот воздух, чтобы росли и росли новые поколения Пытающих.

— Ложь! Ложь! — кричу я. — Ничего не нужно! Не нужно все это. Погибнет все это! И опричнина не нужна. И стрелецкие казни не нужны!

А старики молчат. Они — тени. Из них вышиблено все. Печенки отбиты, селезенки отбиты, девять метров кишки заменено эрзацами — все из воска, все безжизненно, все покоем обернуто. Я вспоминаю протопопа. Из ямы в яму. Из каторги в каторгу. А от своего не отступился. Не отошел от своей святости. Свою чистую веру не предал. И слышатся мне душераздирающие крики Макиавелли: «Все предам! От всего откажусь, только душу мне оставьте! От пыток освободите». И крики Саванаролы: «Лгал я. Всегда лгал я. Заверяю вас, лгал я!»

А старики молчат. Тихие. Полусонные. Вопросы вбирают в себя. Глаза, как у затравленных щенят, слезой иной раз наливаются, а иной раз просто стекленеют, а иной раз и оправдывают все: «Так было надо!» А потом будто команда была дана: заговорили. Письмо официальное зачитали. Комбриг в этом письме клятвенно заверял, божился и кричал о верности своей Пытающим. А Пытающий, Главный Пытающий, тонко и сатирически улыбался, поглаживая свои усы, с проседью усы, мудрые усы, революция в белых перчатках не делается, кто кого, вот так, милостивые вы мои, и жирные пальцы листают Макиавелли, всегда должен быть под рукой подходящий случай, чтобы тело Рамиры, ближайшего твоего Пытающего, тело, разрубленное пополам, можно было выбросить толпе: «Он во всем виноват! Да здравствует Государь! Самый справедливый Государь!» И толпа ликует! И новый Рамиро продолжает дело своего предшественника. Рамиро номер два. Продолжает, чтобы попасть под случай, чтобы оказаться разрезанным пополам на площади Чезены, чтобы толпа зевак ликовала, чтобы в домах наступило некоторое послабление, чтобы звенели бокалы, чтобы за столом сидели старики, вышедшие из подземелий. Вышедшие с разорванными спинами, с выбитыми зубами, с перебитыми ключицами, с отбитыми печенками: «Все отдам, только душу оставьте!» Чтобы третий Рамиро пришел, чтобы его тело ублажалось нежнейшими женскими пальцами, массировалось и томилось, и судорогой счастливой подергивалось, и изнутри ублажалось — перепелками, поданными в чугунных горшочках, и фрикасе, поданными в гончарных горшочках, и обилием зелени, и душистым сыром, и многообразием напитков — Камю, Мартель, джин, хванчкара, кинзмараули, и хрусталь — услада для глаза, для чутких губ — хрусталь — рюмки продолговатые, узорчатые, конусообразные, и рюмки низкие, совсем без ножек, и рюмки круглые, на тонких ножках, и плошки, говорят, из царских, чистое золото, инкрустированные камнями — сапфир чистей-

шей огранки и хризолит бразильский, и серебро чеканное, гладкое, черненое, сетчатое, витое, мозаичное — ах, этот мерцающий свет таинственного металла, — и третий Рамиро, великий Рамиро, да здравствует Рамиро, и третий Рамиро в окружении родни и милых деток, вечный Рамиро вдруг разрезается на две части, и обе половины напоказ отвратительной грязной толпе. Что же вечного есть в этом мире, создатель?! Вечен был Борджиа. Тот, кто умертвил десять Рамиро. Тысячу Рамиро. Десять тысяч Рамиро. Нет, и он бесславно в жаркий день оставлен был разлагаться на смертном одре — дети предали и отказались, все сто тысяч последующих потенциальных Рамиро предали его, войска предали, карлики-шуты, и только зловоние разлагающейся плоти было в нем, курилось это зловоние, и его отвратительный запах въедался в историю, чтобы навсегда остаться в ней.

Заговорили. Нет-нет, меня не пытали. Не пытали. Так, продержали по колено в воде, а не пытали, и еще по рукам два раза пресс-папье чугунным стукнул один, сволочь, конечно, но пытать не пытали, а мало ли какая сволочь есть, сволочь, она везде и всюду, да и что сделаешь, если этой тупой сволочи команда дана: вести дознание и получить признание, дома ждут, жена ждет, детки ждут, а этот, скот, не признается, дай-ка на крайность пойду, прессом его, папьем по фалангам, ага, сразу признался, пальцами не можешь писать, пиши, вражеская твоя душа, зубами, вот так, теперь иди спать, Архипов! Отвести в камеру, идти не может, вишь, членовредительством занимается, в дверях пальцы защемил, кто, Колдубаев, тебе пальцы защемил? Так, молодец, что признаешься, Колдубаев, скидка тебе будет за это, дать хлебную надбавку Колдубаеву, вызвать фельдшера, пусть перевяжут, смотри, Колдубаев, тебе за членовредительство суд положен, но беру на себя, Колдубаев, твои злодейства!

Нет, пыток особых не было. Работать, конечно, приходилось от зари до зари. В воде, в грязи, в болоте, отогреться негде, лекарств нету, да где они были, эти лекарства, весь народ бедствовал тогда, а мы, можно сказать, в лесу: ни пушек, ни гранат, так нам и говорили: вон какие хари у вас, а народ русский вместе со всем народом многонациональной страны кровь проливает, ни дня ни ночи покоя нет, великая война идет за справедливое устройство мира, а вы, разбойничьи вражеские души, отъедаетесь здесь, подумаешь, горлышко заболело, вон по сводкам батальон Комарова весь погиб, один политрук остался, и тот изрешеченный пулями весь. А в тылу дети сутками у станков за краюху хлеба, впроголодь, вместе с матерями, и бабками, и сестрами, все стали на вахту, а вы, вражеские души, еще смеете?!! Нет-нет, не смеем, так положено, так вышло, так получилось, и нам бы, если доверили, испытать той вольной смерти на вольном ветру, на земле вольной, чтобы секунду ощутить запах свободы, запах тьмы чтобы исчез, чтобы, если удастся выжить, своих повидать близких, самых близких, женское тепло, какое оно? Какая она, женская нежность? Женская сладость? Какие они, прикосновения дочки-девочки и прикосновения сына-мальчика, макушка головки крепенькая, уткнулся, бедный, так и не мог поднять головки, а меньшой так и не проснулся, где они, писать нельзя, думать о них можно, надеяться на встречу тоже можно... Нет-нет, пыток не было. И в яме никого не держали. Не было ямы. Конечно, и уюта не было. Барак бараком. А сначала и бараков не было. Вывезли прямо в лес. Все сами от колючей проволоки до жилья, до последнего столбика — все своими руками. Трудиться, конечно, пришлось. Что было, то было. А пыток не было. Конечно, попадались лагерные служаки, садисты, жестокие, так те отсебятиной занимались, собак иной раз натравят, но и то, если причина будет, кто в сторонку отошел, а кто, сколько ему ни говори, идет не как положено, говорит, забывается, врет, свой нрав показывает, вот и получает свое... Но это так, частный случай. А пытать не пытали, чего уж там говорить!

Рассказывают старики. И я слушаю. И Толя слушает, мы с ним вместе ходили к Матвееву, и Рубинский слушает, мы с ним вместе к Устинову ходили. И Кашкадамов слушает, и Гера слушает, с ними вместе я не ходил, но они тоже интересуются, о чем рассказывают эти амнистированные.

— А как же вы хотели! — орет Гера, доказывая необходимость происходившего. — Войну выиграли. Новое общество построили! Как же вы хотели, чтобы это само по себе все возникло?

Молчит Толя. Молчит Рубинский. Молчит Кашкадамов.

— Ну, не так же в конце концов? — Я произношу робко эти слова, что-то во мне побаивается и Гериного прямого взгляда, и его крепких рук, и его волевого нажима.

— А я вам признаюсь, допрашивал. Видел двух бендеровцев. Две семьи эти сволочи сожгли в доме. Шестеро детей. Что, по-вашему, я с ними должен церемониться?

— Но не все же детей сжигали? — это снова я спрашиваю.

— А пойди разберись, кто больше сжигал, а кто меньше.

Я шел домой и думал об отце, который никого не сжигал, никого не трогал, который своими руками хлеб добывал и которого взяли, упекли, будто для расследования взяли, и вины, действительно, никакой не нашли за ним, а все равно не отпустили. Где он, в каких болотах погиб, когда погиб? Я спрашиваю себя об этом, а все равно в моей груди нет боли, все за то, чтобы я его забыл навсегда, и мама внушала мне это, и мои богатые родственники внушали мне это: так случилось, хороший был человек, но что поделаешь, история, такова судьба, и я не ропщу, и в моей душе образовалась зияющая дыра, выход в некую адову щель, без отца так без отца, не было так не было, не понимаю я, что эта щель как раз губит многое во мне, оттуда, из этой щели, врываются в меня глухие холодные сквозняки, разлагают живое мое тело, и входят через эту щель разлагающие микробы, и сеют в моем духовном тепле злобность, ненависть, и сколько бы я ни старался зале-

чить душевные раны, а все равно мое духовное уродство будет выступать наружу, потому что источник суетной агонии во мне бережно хранится. Этот источник — моя черствость, моя лживая холодность. Я ни разу не сказал о себе ни Гере, ни Толе, никому, потому что я считал себя человеком вне подозрений. Я всю родственность, которая отдавала жизни на фронтах (семеро братьев погибло, другие трудились в тылу, вон сколько награжденных), — эту родственность я просчитывал и брал с собой, и думалось, их кровь — залог моей безопасности. И не знал я, конечно, сколько же надо смертей в роду, чтобы уравновесить гибель одного невинного, но осужденного, чтобы с детей, внуков и правнуков этого невинного было снято пятно, чтобы они могли ощущать себя чистыми и невиновными. Теперь только я понимал, что мама несколько раз шла на смертельный риск, и я хоть и ребенком был десятилетним, а все равно безбоязненно шел на смертельный риск, когда в нашем подполье мама прятала беглецов, двух людей, головы которых я увидел однажды, когда была отодвинута кровать. Мама сняла крышку подвала, и оттуда две головы выглянули, одна чуть-чуть виднелась, а другая до самых зубов, и две руки оттуда вынырнули, и мама им передала еду, и снова крышка подвала захлопнулась, а кругом были немцы, отступающие немцы, очень злые немцы, которые шли на постой в дома, а к нам не пришли, потому что я просил помощи у немцев: «Майне муттер кранк, тиф. Хильфе». И немцы уходили в другие дома. Но ведь могли и не уйти, могли нас выселить. Могли обнаружить этих двоих. И тогда все. Виселица. Расстрел. И об этом случае я никому не говорил. Где надо, знают об этом. Это уж я точно знаю, что знают. А все равно молчал. Обо всем молчал. И только хотел проникнуть в какие-то исторические перипетии и через приближение к ним узнать чего-нибудь и о своей жизни, и о судьбе моего отца, и о судьбах многих близких мне людей. Я лез в самую гущу событий. И поражался тому, что мне не открываются новые тайны. Все эти тайны я знал и раньше. И другие об этих тайнах знали. Но эти тайны никогда не соединяли с настоящим временем. Знал же я о Макиавелли раньше. И о макиавеллизме знал. И не только я знал, но и другие знали. И читал я изданную в 1934 году книгу о Макиавелли, предисловие в ней довольно подробно развертывало все пороки коварства советов великого флорентийца. И про опричнину читал. И про Петра, и про Аввакума, только вдруг все это заиграло во мне иными ассоциациями. Окрасилось пытливой детской мыслью. Действительно, меня захватило учительствование. Учительствование в том же, наверное, смысле, в каком употреблял это слово Толстой или Достоевский. Я хотел знать, на каком материале надо формировать человеческую душу. Во мне сидела абсолютная убежденность в том, что такие качества, как гражданственность и человечность, должны и могут формироваться в молодом поколении только через анализ таких глобальных исторических процессов, как Возрождение, Революции, Войны, Смены Режимов, Династий. Я понимал, что рядом со злом во все времена и века развивалась истинная культура, и на гребнях исторического развития вдруг, в один миг, оказывались великие Зодчие мира, великие Пророки и Учителя. И если не касаться этой культурно-исторической практики, значит, жить вслепую, значит, отказаться от возможности влиять на подлинность становления души человеческой. И эта мысль крепко сидела в моей голове. И чтобы как-то она обнаруживалась в моем общении с детьми, я подымал все новые и новые пласты истории, искусства, литературы, где эти важнейшие события обнаруживали себя во всей своей первозданности. Все убеждало меня в том, что я поступаю правильно: книжки основоположников, чье учение помогало моей деятельности, отношение Новикова и его помощников — они, историки и литераторы, сразу одобрили мои опыты, — само Время — вдруг везде в книжках стали раскапываться исторические сюжеты, связанные именно с теми временами, какие волновали и меня. Я везде и всюду стал натыкаться, как это ни странно, на свои собственные мысли. Однажды, чего уж тут, совсем крайний случай, стал читать «Кола Брюньона» и удивился: как близки мне были рассуждения Роллана, уважаемого в нашей стране Роллана, досточтимого Роллана, друга Максима Горького, друга нашей страны, наших преобразований, который хоть и не был марксистом, а все равно очень близок был к идее нашей народности. Так вот, как я стал читать Роллана, так и понял, что непременно с этими мыслями к детям пойду, Новикову расскажу о своем открытии. Так оно и получилось, именно на это факультативное занятие пришел ко мне Новиков и, как всегда, сел на последнюю парту, сел и впился в меня голубыми глазами. А я рассказывал о мыслях пусть не совсем простого крестьянина, но все же крестьянина, который, в отличие от моего отца, не мерз в вагоне, когда его везли в Сибирь, или на Север, или еще в какие-нибудь тартарары, не коченел в землянке, не отморозил себе руки и ноги, и не был брошен полумертвым на нары промерзшего барака, и не умер на этих нарах, вспоминая своего единственного сына, которого он так любил, ибо послан был ему богом на сороковом году его жизни во время второго брака с женщиной, у которой тоже не было детей, а были сплошные операции, все время чем-то да болела, а когда я родился, счастье их было беспредельным, поэтому отец и старался всем обеспечить свою семью, не разгибал спины, все чего-то да делал, зимой и летом, весной и осенью: дом построил — и в этом была его основная ошибка — нельзя было строиться, когда всеобщая разруха в стране, нельзя богатство наращивать, когда голод и война на носу.

Я рассказывал о Кола Брюньоне, который был, как и мой отец, юмористом, кто знает, может быть, и это одна из основных причин того, что отец мой оказался окоченевшим на нарах в холодном ссыльном краю: нельзя к юмору прибегать, когда кровью все истекает, когда скулы миллионов злобностью свело и глотки пересохли от засухи, от всеобщего мора; нельзя и глупость подмечать, когда вселенская огол-

телость вдруг собралась в кулак, сконцентрировалась, чтобы уничтожать и уничтожать смертных — всякая улыбка при таких оборотах исторических расслабляет, тормозит дело, волю размагничивает.

Я рассказываю о Кола Брюньоне — и лица детей светлеют, и они полны ожидания, потому что сейчас начнется. Будет самое главное, небольшое представление, которое так дополнит мои слова, мои предположения о том, что человек и есть производное всей предшествующей человеческой культуры, что, если он не присвоит себе эту культуру всесторонним образом, он не человек.

Я даю сигнал, и Света Шафранова выходит с портфелем на середину физкабинета — наше заседание проходило в физкабинете: нужна нам была и лаборантская для гримировки и переодеваний.

— Наш отрывок будет называться «Кола Брюньон и история». Роль Кола Брюньона исполняет Валерий Чернов.

Чернов. Временами я говорю себе: «Послушай, Брюньон, мой друг, и какого черта ты всем этим интересуешься? Какое тебе дело, скажи ты мне, пожалуйста, до римской славы? Или до сумасбродств всех этих великих разбойников? С тебя хватит и твоих, они тебе по росту. Видно, досужий ты человек, что занимаешься пороками и невзгодами людей, умерших тысячу восемьсот лет назад! Потому что ведь, милый ты мой, согласись сам: твой Цезарь, твой Антоний и шлюха их Клео, твои цари, которые режут родных сыновей и женятся на родных дочерях, — сущие прохвосты. Они умерли; это лучшее из всего, что они сделали за всю свою жизнь. Оставь их прах в покое».

Надбавцев (к классу). В чем же не прав Брюньон?

В классе та напряженная тишина, которая непременно разрядится взрывом дискуссии:

— Я скажу! Я скажу! Мне дайте слово!

Снова, как и в прошлый раз, Новиков взял меня под руку, и снова провел в свой кабинет, и снова наговорил массу добрых слов:

— Вы знаете, я в детстве любил историю. У нас был хороший историк, и он много рассказывал о великих людях, о главных событиях в жизни разных стран, потом я сам много читал, и мой интерес к истории развивался с каждым днем. Но когда я попал в институт, у меня почти пропал интерес к истории. Все читалось по конспекту, сухо, вяло, даже самые знаменитые исторические личности трактовались как заурядные — и я разлюбил историю. Я не понимал, что на моих глазах фальсифицируется история. Фальсифицируется, упрощается наука. Подтасовываются факты и события.

Я слушал, и в моей голове мелькало: что это? провокация? подстрекательство? А Новиков встал из-за стола, взял вузовский учебник в руки и швырнул на стол. Так же небрежно он швырнул и два других школьных учебника — античность и средние века.

— Разве это книги? Разве по этому учебнику можно учить? Заметьте, все, что касается развития культуры, науки, борьбы за нравственность человека, — все это выброшено, а оставлено все про орудия и средства производства.

— Моя задача как раз и состоит в том, чтобы за два года познакомить детей с основными направлениями в развитии человеческой культуры.

— Меня несколько пугает, что нет системы. Вчера Леонардо, сегодня Суриков, завтра Савонарола...

— А разве когда человек идет на один спектакль, потом на второй, потом на третий — все события сразу связываются? Важно одно, как говорили древние, чтобы был катарсис, чтобы было очищение, нравственное прозрение. Если оно есть, значит, идет крайне важная работа. У нас только видимый хаотизм. На самом деле все бьет в одну точку. Мы исследуем кладовые человеческой культуры.

— Замечательно, — сказал Новиков. — Хорошо бы над какой-нибудь пьесой исторической основательно поработать, не торопясь. Подготовить хорошие декорации. Можно было бы подключить и математиков — всесторонне чтобы было все...

— По сути, такая работа и ведется.

— Я вам много обещать не могу, но кое-что дам вам по внеклассной работе.

— Я вас не понял.

— Заплатим за ваш труд. Рубинскому мы доплачиваем за хор и с вами найдем способ рассчитаться.

— Я вполне обеспечен материально.

— Ладно, это мои заботы. Я вас хотел еще спросить вот о чем. Вы знаете контингент учащихся?

— Ну, разумеется, в пределах каких-то.

— Вы стали ходить по домам? Это хорошо. Но у нас сложный контингент, да и время сейчас не из легких.

— Вы что имеете в виду?

— Нездоровые ходят слухи. Некоторые, воспользовавшись последними событиями, стали не нашу линию проводить. Нет, я вас ни в чем не обвиняю, но будьте осторожнее.

— В чем?

— Подумайте. Не торопитесь, а подумайте.

У меня создавалось впечатление, что Новиков меня о чем-то основательно предупреждает, а о чем, я не знал.

— Вы что-то хотите определенное сказать?

— У вас есть друзья, знакомые?

— Есть, а что?

— А как вы устроились? Квартира как?

— Квартира отвратительная. Холодина собачья. Соседи алкоголики.

— Я подумаю о квартире, — улыбнулся Новиков. — Вы подайте заявление в местком на улучшение.

— Я уже подавал. Отказали.

— Нет, вы теперь подайте. Я думаю, что местком должен решить положительно.

Я ушел, и мне неспокойно было на душе. Что

имел в виду Новиков. Кого он опасается и чего? Бреттеров? Рубинского? Геру? Я и не думал, что все так быстро перестроится в моих отношениях с Новиковым: иные проблемы придется решать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я читал Толстого и Достоевского и видел то, как и в чем был ограничен Макаренко, не принявший Достоевского, считавший, как и многие его современники, великого мыслителя создателем вредной «достоевщины», философии самокопания. Я вчитывался в содержание закона, открытого Фурье, закона притяжения как основы жизни. Я размышлял над тем, почему люди так тянутся друг к другу, так страстно спорят друг с другом, так страдают друг от друга: чем ближе, тем больше страданий, набрасываются друг на друга, как убийцы (поразили отношения Вронского и Анны), расстаются, и снова неудержимая сила закона притяжения влечет их друг к другу. Я мучился стремлением понять глубинный смысл потрясений героев Достоевского: что движет их страстями, какая неразрешимость вкручена в их ущемленно-болезненный разум, какая кислота разъедает их совестливость.

Создавая с детьми, как мне казалось, новую систему отношений, основанную на самоуправлении, я входил в бурные потоки детских притязаний и страстей, иногда эти потоки пересекались, и нередко между детьми вспыхивали ссоры. Я видел их затаенные обиды, вероломства, предательства. Я хотел преобразовать мир детского общения, я постоянно сталкивался с тем, что мои дети говорили: а над нами смеются, мы одни как дураки занимаемся этим самым всесторонним развитием, работаем на фабрике, шьем себе рубахи и пишем стихи. Я понял: нужна более широкая социальная система, чтобы отдельный микроколлектив или личность ощущали влияние друг на друга.

Я рассказывал о своих замыслах Рубинскому. Он возражал. А однажды заметил:

— Руссо придумал самую гуманную теорию. Робеспьер, восприняв эту теорию, стал уничтожать не только врагов и оступившихся, но и самых преданных революции.

— Субъективный фактор, — ответил я.

— Нет. Робеспьер, как и его сообщники, не был нравственно подготовлен к демократическому устройству общества.

— Ты хочешь сказать, что и наш коллектив не готов к самоуправлению?

— Именно это я и хочу отметить. Я видел твой список совета: Чернов, Надбавцев, Шафранова. Как можно ставить у власти тех, кто не властвует над самим собой?

— Добавь еще: кто безнравствен.

— Добавлю.

— По-твоему, выходит так, что из замкнутого круга никак не выйти: демократия в детском обществе невозможна, потому что дети безнравственны, а дети безнравственны, потому что нет школьной демократии.

— Наконец-то ты четко сформулировал идею.

— Ты не учел самого главного. У педагогики нет выбора: она должна воспитывать хороших людей, и для этого необходимо демократическое устройство коллектива.

— Демократия как средство?

Я подумал. Я тогда еще не знал многих хитросплетений между средством, целью и результатом. Много времени спустя я лишь усвоил формулу: человек — всегда цель и никогда средство. А что такое коллектив? Это единение личностей, а не средств.

А тогда я сказал Рубинскому:

— Да, демократия является и целью, и средством, и результатом воспитания.

— Для тебя демократия синоним дисциплины, а не свободы.

— Только в рамках настоящей дисциплины может быть подлинная свобода личности.

— Дисциплина подавления, дисциплина в наручниках?

— Именно против твоего авторитаризма будет направлена дисциплина демократически устроенного коллектива.

— Это будет демократия Чернова и Шафрановой?

— Чем тебе не нравится Шафранова?

— Неуравновешенностью. Экстремизмом.

— Она талантлива и полна энергии.

— Ей недостает мудрости, смирения и кротости.

— Это идеал девушки девятнадцатого века.

— Значит, я старомоден. Странно, как в тебе сочетается интерес к Толстому, Достоевскому и ко всякой времянке.

— Я не примечал смирения у девиц Толстого и Достоевского.

— Это верно, — промычал Рубинский. — Но я все равно против Шафрановой. Она занята только собой.

— Это неправда!

Снова я чувствовал в чем-то правоту Рубинского и не хотел сознаться в этом себе. Идея демократического устройства коллектива целиком овладела мною. Развиваемая мною демократия должна гарантировать каждому защищенность (от оскорблений взрослых, от насилия сильных над слабыми и т. д.) и обеспечивать свободное развитие наклонностей каждого. По нашему замыслу каждый член коллектива ставился в необходимость всесторонне развивать себя. Именно необходимость! Я орал на всех перекрестках:

— Результат должен быть неизбежным, я за такую педагогику!

Вот для чего мне нужна была реальная детская власть, способная объединить не только мои три класса, где я преподавал и вел занятия по искусству (театр, лекции по живописи, сочинительство, история), но всех учеников школы. Я уже видел, как вся

школа фанфарным маршем шагает к новым рубежам.

И все шло хорошо, пока не сорвался Чернов. На Ноябрьские праздники он напился. На педсовете на вопрос, почему он был пьян, Чернов ответил: «Я плохо закусил».

Эти слова облетели школу, Чернов стал посмешищем, а его дурную славу разделил и я.

Срочно был созван расширенный актив старшеклассников, где я выступил с обвинительной речью. Я не щадил ни себя, ни ребят, ни Чернова. Я говорил о своих ошибках, о необходимости разорвать замкнутый круг, в котором мы оказались. Я объяснял, почему мы безнравственны, почему низменные потребности властвуют над нами, почему так трудно достичь высоты.

Чернов плакал. Может быть, впервые плакал не от обиды, а от чувства сознания своей беспомощности. И я сказал, обращаясь к притихшим детям:

— У нас нет другого выхода: мы обязаны поверить Чернову.

Конфликт возник, когда я узнал, что Чернова и его родителей вызвали на педсовет. Я пришел к Новикову:

— Эта акция подрывает авторитет самоуправления.

— Вы о чем? — спросил он.

— Чернов уже наказан коллективом. Нельзя за один и тот же проступок наказывать дважды.

— Вас этим глупостям Макаренко научил? Знайте: пока я здесь, в школе, высшая власть принадлежит педсовету. — Новиков вышел из-за стола. — Что вы знаете о Макаренко? Ничего. А я знаком с его воспитательной системой не по книжкам, а по рассказам некоторых его воспитанников. Моего ребенка я бы не отдал к нему в школу.

— Почему?

— Потому что хочу, чтобы мой ребенок рос как все. Могу прямо вам сказать: ваши последние педагогические затеи мне не нравятся. В школе ребенок должен учиться, а не строгать доски. Скамейки он может научиться делать за две недели, а освоить курс средней школы по-настоящему — это не так просто. У нас слишком много людей с высшим образованием без среднего. Но я не мешаю вам развивать вашу самодеятельность, потому что от нее есть кое-какой прок.

Я подумал: ничего себе кое-какой — мои ребята, даже бывшие троечники, стали учиться на четыре и пять, родители восхищены отношением детей к ним, на многих районных конкурсах и спартакиадах ребята занимают первые и вторые места. Ничего себе кое-какой...

— И вот еще что, — продолжал Новиков. — Я категорически запрещаю дежурным убирать рекреации.

— Почему?

— Потому что негигиенично. Будут у вас свои дети — будете по-другому смотреть на воспитание.

Я не стал спорить. Ушел. А когда уходил, заметил, как остро и насмешливо блеснули глаза у Новикова. На душе стало так тоскливо, будто и не было моего изумительного восторга от всех чудес, какие напридумывали мы с детьми.

2

Была конференция. Обыкновенная январская учительская конференция. Я даже попал в списки выступающих, а потому и готовился, и голова кругом шла, и волнение неуправляемым становилось. Когда мне дали слово, я стал рассказывать об опыте работы школы, и все шло хорошо, и я видел довольное лицо Новикова. Но потом меня понесло: я стал рассказывать о том, как надо строить жизнь в школе, как развивать детскую инициативу, как нам, педагогам, преодолевать в самих себе авторитарный настрой. Я говорил об авторитарности как о злоупотреблении педагогической властью, о необходимости развития подлинного авторитета: авторитета доверия, научного знания и коллективности. Я говорил и о том, что школу надо перестраивать на основе действительного соединения обучения с производительным трудом, с искусством, с гимнастикой.

По тем временам мое выступление, должно быть, показалось очень вольным, и зал загудел от удовольствия, и председатель стучал по столу, и зал кричал: «Пусть говорит!», и я продолжал, и меня несло точно на крыльях, я чувствовал силу единения с коллективом и был счастлив от этого. Когда объявили перерыв, я увидел, как в мою сторону продвигался Новиков. Я тоже кинулся к нему навстречу, ожидая от него добрых слов. Одна из особенностей лица Новикова, а точнее, его глаз состояла в том, что они одинаково светились (лучезарно) и тогда, когда он смеялся, и тогда, когда он приходил в ярость. И в этот раз я принял его лучезарность за любовь ко мне и приготовился ответить ему столь же щедрой пылкостью.

Ожидания мои обманулись, когда Новиков, по слогам, по буквам, произнес:

— Вы п-п-п-падле-ец!

Такое заключение было для меня совершенно неожиданным. Я решил, что это определение не относится ко мне, что тут произошла какая-то ошибка. Как же, я так удачно выступил, расхвалил школу, директором которой является всесильный Новиков, и за мои труды такая жестокая неблагодарность. Очевидно, ощущая мою непонятливость, Новиков пояснил:

— Кто вам дал право судить о коллективе школы в целом?!

И тогда в одно мгновение я сориентировался, потому что уже в прежней школе столкнулся с заключениями: директора подменяете, многое на себя берете... И все-таки я кое-как сдержался. Но когда взрывается что-то внутри, хоть ты и сдерживаешься, а все равно оно в двойном размере выходит из тебя. Что-то я резкое отпарировал, намекнув, что я секретарь комсомольской учительской организации, что мой класс, старшеклассники, причастны к жизни

всей школы. И тогда произошло невероятное. Новиков сказал такую гнусность, что у меня в глазах стало черным-черно. Жар внутри достиг такого накала, что все мои жизненные сдерживающие силы взорвались по-настоящему. Он стоял передо мной, маленький, красный, с сияющими, зеркально отполированными голубыми глазами, не то смеющимися, не то плачущими от счастья, и теперь уже произносил свои гадости, в которых особое место занимало невзрачное слово «порошок». Пока столь простая формула «В п-п-п-арашок сотру» соединялась с выводом: «Я всю подноготную вашу знаю», во мне зрело и обкатывалось возражение Новикову.

По мере того как кончался перерыв, исчезали из моей головы остатки хладнокровия и здравомыслия. После перерыва я попросил слова для справки. В президиуме что-то учуяли. Стали совещаться. Зал зароптал: «Дать слово!»

Сложность моего положения состояла в том, что во мне, в моем теле, в жаркой голове, будто появился новый человек, некто посторонний: не от сердца и не от мысли, а от чего-то другого шел этот посторонний. Так вот, это неуправляемое, безотчетное существо было вооружено само по себе такой неотразимо-могучей логикой, такой жестоко-спокойной страстностью, что мои два «я» (явное и тайное), знакомые и доступные самосозерцанию, одно от сердца идущее, другое от мысли, так вот, оба моих «я» с завистью пали ниц перед этим третьим, так он складно говорил.

Мне и до сих пор непонятно, как этот третий ориентировался в ситуации, как безошибочно поражал, как мгновенно вытаскивал нужное сравнение и как безбоязненно (все же контролируя себя) разил противника. И говоря, все же контролировал себя, потому что действительно только кажущейся была некая опьяненность этого постороннего, взявшего напрокат мою оболочку на период дерзкого выступления. Меня и потом поражало то, с какой точностью отсекалось все, что могло повредить мне. Так, шевельнулась было в груди фразочка, направленная на то, чтобы отпарировать эту самую «подноготную», а это значит — сказать об арестованном отце, сказать во весь голос: «Я горжусь своим отцом. Я ненавижу тех, кто его уничтожил!» — нет, этого я не сказал. Воздержался неуправляемый третий в моей воспаленной жаркой голове. Не крикнул этот посторонний Новикову: «Встать, п-п-п-падлец! Память моего отца почтим вставанием, с-с-волочь!» Нет, отца не было. Отца я всю жизнь скрывал. Скрывал, потому что вместо отца был отчим. Вполне надежный. Скончавшийся от плеврита. Захороненный не на каких-нибудь Соловках или в Воркуте, а в теплой черноземной земле на самом юге страны, где и лагерей-то сроду не было. Нет, этот третий точно соображал, чего нес. Он дальше того, что было известно сидящим в зале, не пошел. Но одно дело — говорить о чем-то в коридоре, а другое дело — на трибуне, во всеуслышание.

— Молодчики Берии, Берии, Берии, Берии!!! — Вроде бы ничего особенного. Берия уже был насквозь прошит обоймой. Не было его. А вслух о нем говорить было не принято. Нельзя было соединять его с живыми. А у меня Новиков вдруг соединился с уничтоженным чудовищем. Соединился как молодчик его ведомства.

Председатель звонил в колокольчик. А зал настаивал: «Пусть говорит!» И мой третий продолжал обвинять:

— Молодчики Берии, Берии, Берии!

Мои два «я», так сказать, учительское (всякие там методы, уроки, журналы) и человеческое (идеалы, интересы, мотивы), в согласие с тем посторонним пришли. С подмостков сошла, скорее, оболочка, в которой еще крепковато держался тот самый третий. Он сел рядом с кем-то. Ему шептали на ухо. Жали руки. Потом в перерыве подходили. Потом была включена музыка, и этот третий был приглашен танцевать. Пригласила Вольнова. Рука ощущала жесткость платья. Точно тела и вовсе не было. Сознание устроило небольшую регистрацию: «Отец Вольновой полковник. Она слывет в вольнодумках. Чего ей надо?» Третий танцует, а в груди уже, в уголочке, шевелится пепел, серая безжизненная масса — труха. И больно. И есть уже живое предчувствие: началось. Еще неизвестно, в какой форме, но уже началось. Этому третьему-то что! Он выпорхнул в свою безвестную идеальность, а ты живи, расхлебывай здесь, тяни, отрабатывай его безудержную вспышку.

Шамова подошла. Руку пожала. Улыбнулась. Старый эсер, как оказалось потом, никакой он не эсер, а так, обыкновенный учитель, тоже подошел, сказал доброе слово. Рубинский коснулся моего пиджака, тоже что-то поощрительное заметил. А мне уже жутко внутри, потому что я знаю, это уж точно, с сей минуты начинается иная моя жизнь.

— Ну и дал же ты... молодчики... ну и ну! — это, не то смеясь, не то сожалея, Чаркин заговорил.

Его слова уже не были ни поощряющими, ни сочувствующими. В них наметилась легкая пощечинка. Он точно этой пощечинкой отделился от меня. И сказана была эта фразочка в некотором отдалении от других. И у меня по коже мурашки пронеслись. А в голове вертелось одно слово: «молодчики». Слово, которое я никогда в общем-то и не употреблял. Это не мое слово. Не из моего лексикона, да и Новиков никак не подходил под это слово. Никакой он не молодчик. Толстый, плечи покатые, в синем отглаженном костюме, рукава почему-то длинноватые, розовые пальчики торчат, никаких краг и кожаных вещей не носит. Правда, вру, есть у него желтая блестящая кожанка, на подкладке в клеточку. И в таком контексте фразу я эту нигде не вычитал, значит, она, эта фраза — «молодчики этого самого» — вовсе не мне и принадлежит, а тому постороннему, который в меня вошел и сейчас уже витает бог знает где. Может, к кому другому подселился. А у меня осталось только щемящее что-то, будто ожог в тех местах, где сидел третий. Чаркин или кто еще тоже мне сказал:

— Это тебе не пройдет. Так Новиков не оставит...

А я молчал. Убогонько улыбался. Не суетился, не отрицал, а тихо слизывал с губ жалкенькую улыбочку, точно соглашался с тем, что Новиков, в кожаном пальто на серой подкладочке, отхлещет меня по лицу ремнем, не очень больно, ремень тоже из мягкой кожи сделан, но позорно, потому что я уже чувствовал, что не пошевельнусь, когда он по щекам будет хлестать. И только когда в глаз попадет, зажмурюсь, закрою лицо руками и под пристальные хохочущие взгляды окружающих убегу вон из моей школки, из моего класса, из моего театра.

И еще запомнился мне эпизодик. Дребеньков, завхоз наш, подошел ко мне. И взял лацкан моего новенького костюма (в Москве купил), и этот краешек лацкана на ощупь потрогал, точно ценность и качество материала проверял.

— Хороший костюм! — захохотал он тихо, точно придавливая чем-то внутри свой могучий смех. — Ну и носи себе на здоровье. — И закивал головой, замотал ею и ушел прочь.

Я потом думал над словами завхоза: чего это он с иносказаниями, сволочь, в такую минуту ко мне полез? Чего ему надо?

Видел я потом, как Дребеньков с Чаркиным подошли к Новикову, что-то сказали ему, но директор не стал их слушать, махнул рукой.

Так уж получилось, когда я уходил из школы, то оказался совсем один. Багровое, синее, зеленое северное сияние бродило по небу мощными волнами, точно это сияние мой третий там раскручивал наверху, чтобы еще и еще раз показать всем бесполезность этой холодной, горящей, испепеляющей красоты.

3

На переменке ко мне подошла Света Шафранова:

— Вы видели мою маму?

— Не видел я твоей мамы.

— Это неправда. Вы же здоровались с моей мамой.

— Это была твоя мама? Я думал...

— Все считают, что это моя сестра.

— У тебя очень красивая мама.

— Мама хотела с вами поговорить о ваших личных делах.

Света на слове «личных» запнулась.

— Мои личные дела улаживаю я сам, Света.

— Но...

— Никаких «но». И маме передай, будь добра, что в мои дела вмешиваться без моего согласия нельзя.

Света вспыхнула и убежала. У меня со Светой стали складываться несколько непонятные отношения.

Что-то от нее исходило такое, что меня не то чтобы настораживало, а потихоньку и тайно влекло. Я ловил себя на том, что, когда готовил уроки, думал над тем, как Света воспримет тот или иной текст, как поймет ту или иную идею. Я гнал от себя и такую мысль: «Что же, я для нее готовлю уроки?» Однако, входя в класс, искал глаза ее, и, когда находил, на душе делалось спокойно.

Первая по-настоящему острая догадка выскочила из груди и стукнулась где-то в мозгу, когда я готовил серию картин к пьесам о живописи Сурикова. Света играла Морозову. Красавицу Морозову в юности, в зрелые годы ученичества, Морозову бунтующую и, наконец, Морозову умирающую.

Я гримировал мальчиков. Девочки должны были гримироваться сами.

— У меня не получается! — подошла ко мне Света.

— Пусть поможет Оля, — сказал я, не отрываясь от лица Чернова, которого я разрисовывал под протопопа Аввакума.

— У нее тоже ничего не получается.

— Размазывается все... — рассмеялась Оля. — Помогите.

— Ладно, занимайте очередь, — сказал я, прислушиваясь к себе. Что-то подсказывало не гримировать капризных девчонок. Нет бы проявить решительность, ан нет: становитесь в очередь!

Первой я загримировал Олю. Потом на место Оли села Света. И как только я коснулся ее щеки, так ее лицо еще ярче засветилось, и от этого меня будто жаром обдало. Я накладывал тень за тенью, и по мере того как всматривался в лицо Светы, все больше и больше мне становилось не по себе, точно что-то щемяще знакомое было в ее лице, такое знакомое, что я боялся сознаться в этом знании. Руки сами по себе разглаживали кожу, смягчая тени у глаз, а сам думал и искал уже не в лице Светы, а в каких-то кладовых мозга, что же это мне напоминает и Света, и все, что происходит со мной.

Потом, двадцать лет спустя, Света мне скажет: «Какие у вас были руки». Я смотрю на одну из фотографий, где запечатлен момент гримирования. Я не знал тогда, что человеческая рука обладает способностью дышать, угадывать мысли, передавать настроение, видеть ту главную суть человеческой личности, какую никаким глазом не схватишь, никакими извилинами не осмыслишь. Это потом я уже совершенно точно установил, что мои руки чувствовали силу цвета, отделяли холодные тона от теплых, различали полутона, четверть тона и мириады всяческих других оттенков. Это потом я уже предпочитал пользоваться не кистью в живописи, а пальцами, чтобы каждую клеточку холста ощутить, как я ощущал каждую поринку детской кожи. Это потом я уже понял, что детское лицо обладает удивительным свойством свечения, и тут уж никакой мистики нет.

Света сидела на стуле, и половина ее головы освещалась светом лампы, а другая, тыльная, что от ушей к затылку шла, была не то чтобы в тени, а в полусумеречном движении теней была. А переливчатый свет шел от лампочки, что светилась за окном и бросала сноп блекло-сиреневой прозрачности, и эта прозрачность смешивалась с морозной темью, и от этого получался нежный трепет молочной бледности, не серой бледности, а чуть подсиненной, какая быва-

ет от молока, разбавленного водой. И вот этот тончайший контраст света и тени вдруг в одно мгновение ощутили мои руки, и они замерли на прохладном кусочке девичьей кожи...

— Что же вы остановились? — удивилась Света. — Скоро выход. Быстрее же!

А я не мог гримировать. То, что я увидел, было внезапным. Гладко зачесанные волосы отдавали не только блеском волос, но и еще таким свечением, какое будто схоронилось на поверхности головы и чудом держалось: светился воздушный обруч вокруг головы девочки — этот тончайший радужный обруч был едва заметного голубого цвета, и эта туманно-голубая вибрация переходила в нечто золотистое. Я смекнул — это, должно быть, кончики волос оказались в поле электрического света, и они образовали своеобразный нимб. Нижняя часть нимба сливалась с явно оранжевыми полосками, которые закачивались снова голубовато-розовым кольцом — и этот воздушный полумесяц вибрировал и был в таком изумительном согласии с нежно-белым колером лица, на которое я наносил грим...

Неожиданно для себя я резко повернулся к стене, взялся за голову.

— Что с вами? — спросила Света.

Я молчал.

Когда я вновь посмотрел на Свету, нимба не было. Света сама заканчивала работу над своим лицом.

Я никогда никому не сознавался в том, что видел настоящий нимб над ее головой. Никто бы не поверил. Да я и сам бы не поверил, что был нимб. И что самое поразительное, о том, что было это свечение, знала Света.

— А знаете, что я видела, когда вы меня гримировали? — спросила она меня, когда мы вышли с нею однажды из клуба, где шла районная конференция...

— Потом расскажешь, — сказал я, увлекая ее за собой: пришел один из последних автобусов.

На автобус мы не успели. Пошли пешком.

— А знаете, что я увидела, когда вы меня мировали? — снова возобновила свой разговор Света.

Я торопился. Мы должны были пройти в пределах полутора километров, чтобы сесть на другой автобус.

Света догнала меня и еще раз сказала:

— А знаете...

Едва она сказала эти слова, как выскочивший из-за угла мужчина схватил меня за руку. Другой, такой же подозрительный, выхватил нож, я хорошо увидел лезвие ножа. Я увернулся, но рука с ножом опустилась, и вместе с треском моего пальто я ощутил резкую боль в плече. Может быть, от боли, а может быть, от ярости, какая нахлынула на меня, я воспользовался секундой, когда рука с ножом внизу была, и что есть силы двинул в физиономию нападающего, затем, не глядя в сторону того, кто отлетел от меня, я ногой ударил мужчину с ножом... Человек упал, выбросив руку с ножом. Я прыгнул на руку и, нагнувшись, перехватил отлетевший в сторону нож. И, схватив за руку Свету, помчался что есть силы вдоль улицы.

Я чувствовал: нас догоняли. Я резко остановился и сильно толкнул преследователя в сугроб. Не оглядываясь, мы снова побежали. До остановки оставалось около километра. Света поскользнулась и упала. Она подвернула ногу и ушибла колено.

В автобусе мы сели на последние места. У меня ныло плечо. Я чувствовал, что-то горячее ползет по телу. А в рукаве моем был нож. Я не удержался и показал Светлане этот тесак.

— В хозяйстве сгодится, — сказал я не без бравады.

Света посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.

На следующей день Светы в классе не было.

— Что так? — спросил я у дежурного.

— Заболела, — был ответ.

— Что с ней? — спросил я, не глядя в класс.

— А ерунда, ножку подвернула.

В перерыве ко мне подошла Оля.

— Что это у вас с рукой? — спросила она.

Я прижимал руку в локте: боль резко отдавалась в плече. Рана была небольшой, но глубокой. Мне в поликлинике предложили даже бюллетень, но я отказался.

— Фурункул, — сказал я шепотом.

И по тому, как Оля спокойно кивнула головой, я понял, что она ни о чем не знает.

В тот же день вечером я отправился к Свете. Открыла дверь женщина. Сказала, чтобы я раздевался, и ушла прочь.

Мое суконное пальтишко на очень красивой вешалке выглядело сиротливо. Рядом висела длинная шинель с красным кантом, на красной подкладке. Настоящая генеральская шинель. Сукно шинели было ворсистым и мягким, хотя снаружи казалось жестким. У шинели точно была и своя физиономия, и эта физиономия ласково булькала: «Что же это ты свое тряпье суешь мне под нос?» Рядом с шинелью висело улыбающееся, коричневое в рубчик, легенькое зимненькое пальтецо Светланы. Стоячий воротничок подбадривающе и пушисто кивал: «Не робей, проходи...» А я и прошел было, да вдруг увидел прожженное еще в студенческие времена пятно, точнее дырку, а еще точнее — заплату, и тут же перевернул пальто другой стороной, но и здесь оно было хоть заштопано аккуратно, а от ножевой раны все равно след был.

Меня встретила Света.

Она была бледна.

— Как плечо? — тихо спросила она.

— Ничего. Все в порядке, — ответил я.

Вошел отец. Он пожал мне руку. Переспросил, как меня зовут. Похвалил меня за большую и интересную работу, какую я веду в школе. Так и сказал — большую и интересную работу.

Потом пришла мама Светланы.

— Света с таким увлечением работает над литературой, — сказала она. — А эти спектакли! Она прямо-таки ожила.

. Я разговаривал с мамой. А Света испытывающе рассматривала меня. И весь я был в этом доме пришедшим бог весть откуда, чужим, посторонним. Я утопал в мягких ворсистых креслах. Держал в руках чашку, пил чай, и все же мучительно думалось мне о том, что мне надо отсюда быстрее уходить. И я бы ушел, если бы мои глаза не наткнулись на золотистые корешки книг на стеллажах. Я взял в руки книгу, которая лежала на самом верху. Прочел: «В. Н. Татищев. История Российская». Другая книга меня совсем поразила. Она рассказывала о жизни Морозовой и ее двоюродной сестры Евдокии.

Я раскрыл книги. Вверху стоял штамп «Из книг С. Б. Тарабрина».

Я промолчал.

— Можно вам один вопрос задать? — спросила Света, и в глазах ее потемнело. — У вас есть в жизни цель?

— Что? — переспросил я.

— Цель. Ну, вы знаете, для чего вы живете? Вы верите в то, чему нас учите? У нас в классе спор недавно был. Одни стали говорить, что вы как все, что вы призываете к честности, потому что так надо.

— Зарплата, — сказал я.

— Ну, не совсем так...

Ситуация была явно напряженной, и мне захотелось ее разрядить. Я сделал очень конспиративный вид и сказал:

— Я по секрету тебе скажу. Можно?

— Конечно.

— А не проговоришься?

— Ни за что.

— Так вот, я дурю всех. Я жулик. Краду из разных книжек ценности и сбываю их детворе.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Кстати, самое сложное — обмануть детишек. Чтобы это получилось, я нацеливаюсь на самых доверчивых, и они помогают мне осуществлять мой коварный замысел. И еще я беру в союзники совсем профессиональных бандитов — Шекспира, Шиллера, Сурикова, боярыню Морозову и прочих...

— Вас что заставило поехать на Крайний Север? Деньги?

— Романтика. Дровишки в печке потрескивают. Народные традиции. Одним словом, легче околпачить местное население...

— Вы опять шутите. А серьезно?

— А серьезно — я не знаю. Я ищу цель. Это понятно?

— Очень даже.

— У меня был товарищ, который говорил: весь смысл в том, чтобы не искать смысла. А я думаю наоборот: весь смысл жизни в том, чтобы искать смысл. Всю жизнь искать.

— А вот я еще хочу у вас спросить, — сказала Света. — Вам бывало когда-нибудь страшно? Совсем страшно? Вот я, например, так мне кажется, ничего не боюсь. Понимаете, ничего. Я уже испытала себя.

— Наверное, это очень страшно — ничего не бояться.

— Мне это же говорят родители. Они больше всего боятся того, что я ничего не боюсь. Вот смотрите!

Света привстала. Подтянулась к письменному столу, где на стекле лежала обыкновенная канцелярская кнопка, и со всей силой вдавила металлическое жало в мягкость ладони.

Наверное, я побледнел. Мне действительно стало не по себе, будто она всадила эту кнопку в меня. В самую мою душу. Я кинулся к ней, ничего не соображая, а она отодвинулась, поднесла руку к губам. Зубами выдернула кнопку и снова приложилась губами к руке. Она держала раненую часть ладони во рту, а сама наблюдала за мной. И глаза ее смеялись.

— Вот и все! — сказала она, показывая мне вдруг свою тоненькую ладонь. — Как ничего и не бывало.

— Идиотизм, — вырвалось у меня.

— Меня так воспитали.

— Не думаю, чтобы кто-то тебя учил всаживать в тело кнопки.

— А надо быть ко всему готовым. Это ваши слова.

— Я не это имел в виду.

— Значит, вы лгали. Помните, я спросила у вас: можно научиться легко переносить боль? Вы сказали: можно. И сами привели пример, как вы пробовали ладонью забивать гвозди.

— То, что может мужчина, не должна делать женщина.

— Женщина — низшая раса.

— Женщина — это совсем другое. То, что ты сделала, — это глумление и над женщиной, и над человеком.

— Вам меня жалко?

Света провела ладонью по лицу. Очевидно, забыла о ране. И на лбу остался кровавый след.

Снова в груди у меня кольнуло. От боли я едва не задохнулся. Хрипло вырвалось у меня:

— Кровь, кровь же...

Света вытерла кровь. Улыбнулась. А затем, едва сдерживая себя, заплакала, уткнувшись в колени.

Я потихоньку встал и направился к выходу.

— Обождите, — сказала она совсем бодрым голосом. — Я у вас хотела спросить. Скажите, а почему Морозова не вызывает у нас сочувствия?

— Почему же, сочувствие, наверное, вызывает...

— Ну, не сочувствие, а симпатию. Как-то страшно от того, что может быть такая нечеловеческая сила в женщине.

— Пожалуй, страшно. Фанатизм всегда страшен.

— Даже когда фанатизм стоит за правду и справедливость?

— Мы же об этом говорили уже.

— Говорили, но мне все равно непонятно. Выходит, чем больше правды и справедливости в человеке, тем опаснее этот человек.

— Мерой правды и справедливости может быть только человек.

— Мера всего — человек?

— Вот именно. Когда ты убиваешь в себе человеческое, ты выступаешь против этой меры. И против всей справедливости на земле. И против правды.

— А вот мне надо быть готовой ко всему. Знаете, надо.

— То есть?

— А вот так у меня могут сложиться обстоятельства, что все может получиться.

— У всех может все получиться. Важно в любой ситуации оставаться человеком.

— А вот если близкий вам человек окажется подлецом?

— Не понял.

— Ну, самым сильным вашим врагом. Что тогда?

— Это все твои придумки. Сегодня близкий человек — враг, а завтра — еще ближе.

— Нет и нет. Я вам правду говорю.

Продолжить ей не удалось. С шумом ворвался в комнату ее младший брат Игорь. Швырнул портфель в угол. В комнату вбежал огромный пес. Он подошел ко мне, остро блестели его глаза, дважды он лизнул мои руки: признал.

Теперь я поднялся и ушел.

4

Тогда на слуху у многих был Макиавелли. Потому и сказал о Новикове Рубинский:

— Типичный макиавеллист.

— Не Макиавелли, а макиавеллист? — переспросил я.

— Именно так. Макиавеллизм вечен. Он возник за много тысячелетий до появления Макиавелли. Этот стиль правления можно было назвать и пилатизмом.

— Паучий способ.

— Э, нет. Паук один плетет свои сети. А здесь каждый виток паутины создается помощниками. Задача лидера типа Новикова состоит в том, чтобы не участвовать непосредственно в создании сетей. В дискриминации. В вылавливании нерадивых.

— Он теоретик, — подсказал я. Мне было интересно будить мысль Рубинского. Говорил он превосходно, когда я поддерживал таким образом его пыл.

— Он практик чистейшей воды. Он жестко знает несколько стандартных действий, с помощью которых добивается своего.

— Например?

— Валерию он однажды подловил на ее сексуальном маньячестве, один раз скомпрометировал, а потом взял навсегда под защиту — и она ему служит верой и правдой. Фаранджеву он впутал в махинации, ей вовек не очиститься. Это его второй метод. И третий прием — маскировка под демократа...

Рубинский говорил, а я вспоминал, как сразу же после той злополучной конференции ощутил себя в изоляции. И странное дело, меня всюду преследовали голубые глаза Новикова. И интонации его слышались. Говорю однажды с интеллигентной пожилой учительницей начальных классов, а она вдруг интонациями Новикова, с этакой расстановочкой: «А вы напрасно недооцениваете мудрую власть педагогического коллектива...»

Это были любимые новиковские слова. Я застыл на месте, ибо она эти слова произнесла так, точно эти слова должны были меня поддеть снизу, как лопатой, и вышвырнуть вон. И глаза, я чуть не рехнулся, у нее заголубели чистым новиковским блеском.

И Вольнова мне бросила как бы невзначай: «Есть законы порядочности, наконец...»

И о порядочности все время толковал Новиков. Клановая порядочность: не продать, не вынести за пределы своего коллектива, уничтожать каждого, кто нарушит клановый сговор...

Рубинский говорил, а я вспоминал, как в малодушии своем ринулся было объясняться к Новикову. Он меня не принял. Я стоял за дверью, а он играл в шахматы с Дребеньковым. Я нагло вошел в кабинет. А он рассмеялся, и его голубые глаза слезились: «У меня рабочий день закончен два часа тому назад. Сейчас восемь вечера. Можем мы позволить себе...» — он обратился к Дребенькову. — «Бог ты мой, — замельтешил Дребеньков, — да оставьте вы нашего директора в покое...» Дребеньков встал, взял меня за руку и вывел в коридор...

А Рубинский между тем говорил:

— У Макиавелли есть объяснение. Он говорит, что надо создать порядок, при котором все сограждане нуждались бы в жестоком диктате: тогда они всегда будут верны лидеру.

— Значит, Новиков устраивает всех?

— Безусловно. Многие горло готовы были перегрызть, защищая его.

— Почему были?

— Потому что общая система, поддерживающая Новикова, зашаталась.

— Новиков это понимает?

— Еще бы! Если бы он не понимал, ты бы уже не работал здесь. Почему Новиков не может тебя убрать немедленно? Да потому, что ты выразил общее мнение — раз, потому что это общее мнение совпало с официальной линией государства — два, и третье — так или иначе, медленно, но верно, произойдут процессы замены руководителей типа Новикова.

— И сколько это будет продолжаться?

— Я не пророк. Но думаю, немало времени пройдет.

— Ты считаешь, что Новиков оставит меня в покое?

— Ни за что. Он заставит своих приближенных рыть ямы, ты должен сам в одну из них попасть и сломать шею.

— Ты неплохо обо мне говоришь.

— Надо знать правду.

— Что же мне делать?

— Ждать и глядеть в оба.

Я посмотрел на Рубинского: на его лице было написано явное превосходство. Он добавил:

— Мы все думаем над тем, как тебе помочь.

Рубинский был прав. Все было сделано чисто и неожиданно. Новиков напрочь отгородил себя от

моих бед, предоставив мою участь решать другим. Никаких ни выговоров, ни замечаний в мой адрес, ни придирок, ни каких-либо неудобств не последовало. Больше того, как только эти мелкие неудобства появлялись, так по моему первому прошению тут же снимались.

— Вас не устраивает расписание, Владимир Петрович? Так, физику передвинем, географию на понедельник поставим...

— Мне неудобно в понедельник, — просил географ...

— Ничего, вам удобно в понедельник, — отвечала ласково завуч Мария Леонтьевна. — У Владимира Петровича большая перегрузка по внеклассной работе, театр, кружок, ему надо пойти навстречу.

И все точно чуяли тайную, особым образом организованную войну. Точно меня специально откармливали перед гильотинированием.

Первой учуяла беспокойство мама. Пришел я както в самом наилучшем настроении домой. Чувствую, мама вся напружинилась, вот-вот произойдет взрыв. Знаю я ее эту страшную, болезненную подозрительность. Когда эта подозрительность соединяется вдруг с ее безумным гневом — ничем ее не остановить, любой беды можно ждать от нее. Поэтому я тороплюсь ее успокоить:

— Что ты, мамочка?

А она будто и ждала этого вопроса:

— А ты не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Вечно ты что-нибудь сочиняешь...

— Ничего я не сочиняю. Все люди говорят! На людей ты стал кидаться! — И понесло мою бедную маму: глаза блестят, руками машет, то взвизгнет так, что мурашки по коже, то заплачет вдруг с причитаниями: — Сыночек мой родненький...

Я тороплюсь успокоить ее: это в прошлом все, теперь меня снова все любят.

— Я на хорошем счету у директора, — неуверенно, но громко говорю я.

Мама соскочила со стула и замахала ладонью в мою сторону, норовя попасть мне по лбу.

— Дурак. Ненормальный. Все люди говорят, что он тебе такое устроит, что ты... — И мама снова заплакала.

Она сидела напротив. Маленькая. Рукой глаза вытирала, а слезы лились из глаз ее. И в мою сторону не смотрела. Я никогда не выносил ее слез.

— Да прекрати в конце концов! Мало мне горя было в жизни.

— Ну какое теперь у тебя горе?

— Какое, какое? Заберут тебя — что я буду здесь, на краю света, делать одна? — И мама заплакала навзрыд.

— Прошло то время, — снова продемонстрировал я уверенное спокойствие.

— Дурак! — резко вскинулась мама. И слез ее, и ее расслабленности точно и не было.

Я знал эти жуткие переходы от слез к гневу. В ней рождалось буйство, ничем не укротимое, все ниспровергающее буйство.

— Чего тебе недостает? Мало тебе прошлых неприятностей? Что тебе дался этот директор? Почему ты должен всех поучать? На себя-то посмотри!

— Замолчи, — не выдержал я.

— Не замолчу! — отвечала мама. Ей необходимо было сопротивление.

В стенку постучали. И в дверь потом постучали.

— А мне плевать, что они подумают, пусть все знают, какой ты дурак!

— Замолчи! — зашипел я.

— Не замолчу, — отвечала мама с такой злобой в глазах, что мне совсем не по себе сделалось.

Я знал, что лучше уйти сейчас. Схватил пальто, шапку. Но мама загородила путь:

— Не пущу! Никуда не пойдешь! Выслушай!

Я рванулся к дверям, и мама отлетела в сторону. В груди так защемило, такая боль подошла, что я понял — это конец! Мама опрокинулась на спину, одной рукой держась за кровать. Я подбежал к ней, пытаясь помочь.

— Негодяй! Мерзавец! Руки на родную мать подымаешь!

В дверь заколотили сильнее.

— Пусть все знают, какой ты негодяй! — вопила моя мама.

А в дверь колотили что есть силы.

Я повернул ключ.

— Что это! Над матерью издеваетесь? — говорил сосед — школьный сантехник. — Я в парторганизацию сообщу! Знайте, не дадим в обиду старого человека. Фроська в домком уже побегла. Сейчас придут. Враз вам укажут!

Ничего не ответив, я выскочил на улицу. Я бежал по проселочной дороге, стараясь не попадаться никому на глаза. Петлял и снова бежал, пока не добежал до леса. И здесь хладнокровие вернулось ко мне. Как же все обернулось? Хуже не придумать. Поборник добра и справедливости избивает старенькую мать. Ничего себе картина. Сантехник все доложит. Акт составят. Завтра все начнется. Что же мама? А может быть, у нее высший расчет — пусть меня по бытовым делам приструнят, чем по тем, которые на конференции тогда наметились.

Как же она не понимает? А подсказать ей некому, да и никого она сроду не слушалась. Меня тем более не станет слушать. Я для нее в такие минуты становлюсь врагом. Как же она не понимает, что ее опутали? Кто опутал? Вспомнилась мне учительница младших классов, которая однажды, когда я пришел домой, мгновенно вынырнула из нашей комнаты, и мама чернее тучи была, знал я, что эта учительница чего-то наплела моей маме, а что наплела, я не стал дознаваться, неинтересна была мне эта учительница.

— Чего она приходила? — спросил я.

— Какое твое дело? — грубо ответила мама. — Я же не спрашиваю, кто и зачем к тебе приходит.

Не думал я тогда, что и рыжая образина, пьяница и дебошир, мой сосед, был как-то связан и с этой учительницей, и с помощниками Новикова. Это я потом, много лет спустя установил, установил конечно же чисто теоретически, так сказать, по аналогии, когда был в роли директора, а более опытный директор

меня поучал: «Сам никогда не связывайся. Надо уволить кого-то — создай невыносимые условия. Не прибегай к крупным конфликтам. Опутай сетью мелочей. Говоришь, этот неугодный живет в казенной квартире? Отлично. Пусть твои помощники подскажут сантехнику, чтобы он раза два в неделю, этак ночью, часа в два, стучал в двери и говорил: «У вас трубы, кажется, потекли, разрешите взглянуть». Я допытывался, к чему же может привести это опутывание. «К очень многому, — отвечал мой знакомый, доморощенный макиавеллист. — Человек шалеет от таких вещей. Раз разбудили, второй раз разбудили. Один раз в два часа, а другой раз под утро, часиков в пять. Смотришь, клиент засуетился, забегал: при первой возможности сам сбежит».

Мне все же никак не верилось, что я оказался в западне, не верилось, что за каждым моим шагом следят, что каждый мой поступок тщательно анализируется.

В бессилии и полном отчаянии я тогда шел по заснеженной тропе. Мне хотелось хоть к кому-нибудь пойти. И как только я перебирал в памяти знакомых, все тех же милых моих знакомых, так желание пообщаться тут же исчезало. Собственно, был единственный человек, к кому бы я хотел пойти. Это Нина. Тихая, добрая Нина. Она сидела всегда в учительской где-нибудь в уголочке и проверяла свои тетрадочки по немецкому языку. Мне казалось, что я ей нравлюсь. Поэтому и не стремился поддерживать с нею знакомство. Я не хотел к ней сейчас идти и по другой причине: к ней временно подселили приехавшую музыкантшу. Я ее не видел. Но в учительской говорили о музыкантше как о вздорной, заносчивой истеричке: сразу условия поставила — класс ей специальный нужен, инструменты нужны, книги нужны. Ей сказали, что сейчас нет возможностей, а она ответила: «А мне плевать, что у вас нет возможностей. Нет, так нечего мне здесь делать. Уеду». Школа засуетилась. Клуб засуетился. Два управления засуетились. Все достали для истерической Алины Сергеевны, так звали новенькую. Я заговорил о ней с Рубинским.

— Что за особа?

— Исчадие ада, — ответил он. — Такую бесцеремонную даму вижу впервые. Я у нее попросил ключ от музыкальной комнаты, знаешь, что она мне сказала? «Катись колбаской по Малой Спасской».

— Ты с ней на «ты»?

— В первый раз ее в глаза видел.

— Ну, ты, наверное, решил за ней приударить?

— Не скрою, она произвела неплохое впечатление.

— И ты полез?

Рубинский вспылил:

— Ты же знаешь, я не выношу пошлости.

— Прошу прощения, великолепный синьор.

Я теперь как-то мельком подумал о новенькой и хорошо представил ее. Такой тип женщин мне никогда не импонировал, и я не нравился женщинам с такими вывертами. Я стал думать о Нине и вспомнил, что она меня приглашала взять у нее книги, касающиеся Возрождения: ей в посылке прислали. И я отправился к Нине. Так сказать, по делу.

Постучал в дверь. Открыла Нина.

— Быстрее проходи. Мы вымыли головы.

Я потоптался в коридоре, стряхивая с себя снег и давая хозяевам как-то приготовиться к встрече.

— Ты теперь самый знаменитый человек, — сказала Нина, когда я вошел.

Алина сидела спиной ко мне.

— Ничего, что я займусь туалетом? — сказала не оборачиваясь.

— Что-нибудь опять произошло? — спросила Нина. — Чаю хочешь?

— Не откажусь.

— С вареньем или с медом? Да ты разденешься наконец?

— У меня душа продрогла.

Алина медленно повернула голову в мою сторону. И я растерялся. В блеске ее холодных, карих, точно таких, как у Морозовой, широко расставленных глаз (и такая же крутая бровь, такой же изгиб, и такой же блеск каштановой золотистости мягких волос), так вот, в блеске ее холодных глаз я в одно мгновение рассыпался на мелкие кусочки. Она заметила мою растерянность, и ей что-то передалось от моего смятения, и она подбадривающе улыбнулась.

Позже я обратил внимание на одну свою психологическую особенность. Меня преследовали сплошные совпадения, добрые и недобрые приметы (я в них верю), разные знаки. И мое суженное сознание всюду находило то, что искал мой воспаленный мозг. Вот и в Алине я вдруг нашел сходство с незнакомкой.

— Ты будешь чай, Алина? — спросила Нина.

— Я? Чай? Нет. Не буду.

Эта ничего не значащая фраза тоже отозвалась во мне смятением.

— Смешной ты. Очень смешной, — сказала Нина, а я смотрел на нее и не мог понять, почему я смешной, то ли потому, что пальто не хотелось мне снимать, то ли потому, что сидел, ничего не видя и не слыша в этой комнате. Перед глазами моими стоял оцинкованный грязный стол с инвентарным номером, белое, совсем живое тело Морозовой, чуть-чуть приподнятая верхняя губа — поразительное сходство с Алиной.

Алина всматривалась в зеркало, говорила как бы между делом, обе руки ее медленно разглаживали крем у глаз. И я думаю о том, как же прекрасны у нее глаза, сколько радости в них, сколько самоуверенности и неги. Мне виден едва заметный пушок на ее румяной щеке, не могу оторваться от ее лица. За спиной у Алины настольная лампа. И от света, и от того, что волосы подняты вверх, шея кажется такой длинной и такой контрастирующей с ворсистым темно-синим халатом, что весь ее облик где-то на грани чуда. И Нина видит то, как я глаз не могу оторвать от лица Алины, и Алина видит и еще больше кокетства добавляет, и еще больше моя разбитость соединяется с вдруг вспыхнувшей не то влюбленностью, не то потерянностью.

— А мы вас видели на прошлой неделе. Вы были в компании двух молодых людей, — произносит Алина. — Один из них довольно милый. В пыжиковой шапке и в синем пальто с накладными карманами.

— Это Толя, судмедэксперт.

— Судмедэксперт? Скажите, как интересно. А другой, в меховой куртке?

— Это Абрикосов. Из органов.

— Прекрасное общество... И что же, это ваши близкие друзья?

— Приятели.

— Ну пригласили бы их к нам. Собрались бы, что ли...

— Алина, не выдумывай, — это Нина. Но ей тоже, я чувствую, хочется собраться, не одни же тетрадки проверять.

— Ну так как? — это Алина уже закончила возню с кремами, сиреневая косынка легла уютненько поверх прически.

— Что как? — спросил я, дивясь тому, как же еще прекраснее стало лицо у Алины. — Ах да. Собраться можно.

— Что это вы без энтузиазма так?.. — говорит Алина и уходит за ширму, которая соединяет шкаф со стеной.

Мне виден ее силуэт. Еще несколько ее движений, и мой глаз выхватывает контур обнаженного тела. И будто Алина почувствовала эту недозволенность, гасит свет.

— Ты что? — спрашивает Нина, отрываясь от книги.

— Зажги свой, я переодеваюсь, — смеется Алина.

Наконец она выходит.

— Те же и Рашкова, — замечает Нина. — Ты чего вырядилась?

Алина усаживается за стол. Всматривается в мое лицо и жестко спрашивает:

— Попов, я слышала о вас. Чего вы добиваетесь?

Я пожимаю плечами. Ощущаю в себе боль, обиду, всю ненужность этого прихода, и злость вспыхивает к этой изящной девице.

В дверь постучали. Это соседка позвала Нину.

Я встал.

— Так чего же вы добиваетесь в жизни? — играя сверкающими зрачками, повторила вопрос Алина.

— Чистых глаз, — ответил я. Это была моя выношенная формула.

— А у меня какие глаза?

— Необыкновенно прекрасные глаза. Но не чистые.

— А у Нины?

— У Нины абсолютная камертонная чистота.

— Почему так?

— Она страдает. А вы мучаете других.

— Вы так легко об этом говорите.

Я молчу, и она задумалась. Вошла Нина.

— Нина, слышишь, у тебя святые, а у меня нечистые глаза.

Мне мерещится едва заметное предательство. И мое предательство по отношению к Нине. И Алинино предательство по отношению ко мне. Она предает, точно оправдываясь. Зачем ей это?

— А во имя чего вы боретесь? — снова Алина спрашивает.

А я молчу, потому что в вопросе ее снова слышу и насмешку, и предательство, и еще черт знает что слышу.

— Я ни с кем не борюсь, — отвечаю я совсем приниженно, пусть она довольствуется своей крохотной победой. Мне совсем не по себе. Мне к тому же становится жарко в пальто. Мне двадцать раз предлагали раздеться, а я сижу, мне и пошевельнуться трудно, все сковалось во мне.

Я гляжу на свое пальто. И от него шероховатость живая с запахом струится. Пальто старое, из грубого сукна, местами побелело, на спине топорщится, потому что мама еще чего-то добавила, ватину какого-то, чтобы я не замерзал. А сейчас в тепле и сукно, и вата, наверное, так прогрелись, что весь мой жар стал не выходить наружу, а, напротив, назад в тело уходил, с прилипшими ворсинками входил в душу, отчего еще большая тоскливость появилась в груди.

Я курил (мне разрешили: «А мне нравится, когда дымом пахнет в комнате», — это Нина). И видел, как пепел стряхивается на фалды моего пальто, торчащие из-под ног. Там, где пепел оседал серыми пылинками, уже была дыра, вот так же стряхивался пепел еще в студенческие годы, когда я сидел с Блодовым на ящике у пивного ларька. И не заметил тогда, как подкладка пальто стала тлеть гранатово-светлыми искрами; и теперь мне почему-то захотелось увидеть на углах моего одеяния эти гранатово-серые тления, и я пальцем стал сбивать пепел, чтобы главный горящий ком из папиросы свалился на пальто. И когда он вывалился, и рядом с дырой затлело еще одно крохотное зарево, и дым пошел, и суконно-ватный запах двинулся к девичьим ноздрям, на лицах моих хозяек появилась некоторая озабоченность. Ноздрями они повели по сторонам, глубоко вбирая в себя жаркое комнатное тепло.

— Горит, что ли, где? — это Нина.

— Ничего не может гореть, — ответила Алина. — Утюг выключен.

И все же утюг был включен. Но он спокойно стоял на консервной банке из-под атлантической селедки.

— Провода, наверное, — сказала Алина.

— Провода, — повторила Нина.

А я глядел под стол, где мерцало красным и откуда все же шел едкий противный запах горелого старья.

И я этим горелым теплом отгораживался от хозяек, одевался им как в простыню, и что-то мне подсказывало, что веду я себе гнусно, крайне гнусно, а изменить что-либо в себе никак не мог. Стул, пальто, горящие гранатовые крупинки, мои ноги, сырое пятно и даже лужица под ногами, это снег оттаял у каблуков (отчищаешь, отчищаешь, а все равно у каблуков остается), это у меня каблуки были такие, наборные, откуда тоже вываливалось по одной пластинке и туда набиралось снега, и я уже просмотрел

эти пятна и даже разобрался в этих пятнах: одно изображало скачущего коня с осьминогом вместо седока, а другое, кажется, старца, бредущего по снегу. Половицы были некрашеные, но чисто оттертые, я видел, в углу лежали две терки из запутанной проволоки, а рядом подобие цикли, да и Нина говорила, что полами она занимается особо: все уголочки отмыла и отпарила, а то, когда поселились, тут бог знает что было, вот потому и узоры от талого снега теперь так четко выделялись. Так вот и с этими полами, и с лужами, и с тайной болью в груди, и с осознанием того, что мне надо было давно уйти, а я не могу, потому что совсем увяз в стыдливом собственном месиве, так вот со всем этим я сросся так, что и пошевелиться не было сил. Такое состояние было у меня и раньше, когда голодал в студенческие годы. Теперь же я был сыт (зимой свежие овощи были, помидоры были, хоть и мороженые, но оттают, с маслом растительным да с луком — это несказанно как вкусно, уток и кур забитых и тоже мороженых мама приносила по две, а то и по три штуки сразу). Теперь это состояние от чего-то другого произошло. Я слышу голоса, слышу слова, слетающие с больших розовых губ Алины, и не могу в толк взять, чего она говорит:

— А вы читали Куруева?

«Не читал Куруева», — так надо ответить мне. Я это чувствую, что так надо ответить. А не отвечается мне. Язык сковало, в башке что-то жарко растопилось, не может взяться язык волевым инстинктом, не может приказать, чтобы легко и празднично я разговаривал. Чтобы разделся, повесил пальто в угол, там еще один свободный гвоздь на вешалке есть. И я ничего не отвечаю. А гляжу какими-то дурацкими глазами. А моя щека в мурашечках вся, морозцем подернулась, и испуг насторожился, застрял в кончиках волос у шеи и у висков, точно жду я откуда-то сзади пощечины, резкой и горячей пощечины, после которой я и не пошевельнусь, потому что в голове обязательно мелькнет: «Заслужил, ну чего зря обижаться, так и надо, чтобы не палил грязную вату да не прикидывался сумасшедшим, как мама говорит». И глаза будут смотреть жалко. Я этот свой взгляд знал: он весь из вины собран, приниженный взгляд, что-то оскорбленное и обиженное было в этом взгляде, мне и потом, когда примечали этот взгляд, в особенности пожилые женщины да и мужчины, говорили: «Вы, должно быть, много страдали?» И мне так хотелось бросить им: «Разумеется, страдал». И тогда неосознанно думалось, точнее хотелось, чтоб думалось о том, что я страдаю очень, что это мое страдание выше чего-то, что оно нужнее, даром что его сейчас притушат вместе с гранатово-продырявленным пожаром на моих фалдах.

— Да вы с ума сошли, Попов? — это Алина.

— Горит, в самом деле горит? — это Нина.

И снова меня берет стыд. Уже не такой, какой раньше выходил из меня, скованный и притупленно-растерзанный, а улыбающийся стыд. Стыд только что проснувшегося человека, который будто во сне крепко согрешил, да был пойман с поличным, а проснувшись, улыбнулся и на укоры окружающих ответил: «Вы же видите, я спал, я не в ответе за то, что во сне произошло. Не считается то, что во сне. Мало ли что вы подметили, а вот не считается, и вообще это чепуха все...» Я и глядел, не отвечая Алине, и робко повиновался Нине, которая взяла меня за руку, дескать, встаньте, я стряхну гранатовый дым. А у нее вроде бы тоже как застопорило, видно, от меня перебралась к ней скованная закрученность, и она хохочет:

— Пальто снимите. Горит же...

Я робко снимаю пальто. Она гасит огонь. Алина качает головой:

— Странно все это...

Она уходит за ширму. А я топчусь на месте, а потом ноги несут меня к выходу. Глаза Алины не то насмешливо, не то удивленно обласкивают меня напоследок. Нина грустна: испуг застыл в ее глазах, а может быть, сожаление. Я глядел на прекрасное лицо Алины и где-то десятым своим предчувствием сознавал, что за ее сверкающим блеском глаз тоже сидит своя безысходность. Переступлю я порог, и она (это я потом узнаю) кинется на постель и завопит не своим голосом:

— Не могу! Не могу больше!

5

Мне с юношеских лет были известны оба моих «я». Первое — это то, которое на виду росло. Оно переходило улицы, остерегаясь идти на красный свет, чистило картошку, стараясь ее держать таким образом, чтобы не отхватывать себе полпальца, прикасалось к женщинам только в том случае, когда была абсолютная гарантия, что тебя не оттолкнут. Это «я» в общем-то за свои поступки несло ответственность и четко знало, что к чему.

Второе мое «я», то, которое от сердца или от души шло, тоже было мне известно. Оно перемалывало информацию тайного порядка. Это второе «я» жило хоть и нелегальной жизнью, но все же наверняка прощупываемой, то есть эту жизнь так или иначе можно было обнаружить. У этого «я» было хорошо развито чувство ответственности. Оно подогревалось на угольях страха, отчаяния, одним словом, на стрессовых эмоциях, то есть на таких состояниях, которые в общем-то управлялись и ситуацией, и первым «я», и более отдаленными обстоятельствами.

А третье «я», обнаруженное мною уже в зрелые годы, было стихией, как бы посторонней силой. Оно было одновременно и выпуклостью, и вогнутостью, тяжестью и отсутствием притяжения, оно было приказом и категорическим отказом действовать, в нем сидели все «да», которые есть на свете, и все «нет», которые успели перебывать в различных переделках.

Два первых «я» управляли моими поступками. Некто третий, сидевший во мне, стоял как бы над нравственной сутью. Он был частью противоречия, моментом разрешения конфликта, началом полета мысли, духа, эвристических сил, он будто утверждал

и доказывал: «Нравственность ситуативна. Если вы хотите повторить свое нравственное действие, повторить, копируя, вы так или иначе поступите безнравственно. Чтобы поступить нравственно, необходимо творчество». Одним словом, этот третий был сверхзадачей, был прямой противоположностью первым двум «я». Он не переходил улицы, не чистил картошку, не выполнял никаких черных работ; он жил в особой сфере, где всего этого не было, — в хоромах, где он жил, именуемых подсознанием, сосредотачивалась жизнь высшего порядка.

Этот третий был концентрацией моей творческой сути. Его кризисные состояния означали то, что вся моя целостность поставлена на край гибели. То, что произошло у Нины и Алины, выражало не иначе как приближение смерти для этого третьего, а следовательно, для всей личностной уникальности. Некто третий был чужим в этом мире. Он был отчужден от первых двух «я». Предан ими. Я потом, много лет спустя, пытаясь разобраться в проблеме отчуждения, понял, что низшие формы отчуждения обнаруживают себя в материальном насильственном отчуждении человека от других, а высшие — это когда самой личностью предаются творческие силы, нравственные порывы и побуждения.

А когда то и другое?.. Я прихожу домой и чувствую: снова кто-то маму настроил против меня. Она плачет:

— Соберутся они все да дадут тебе так, что места себе не найдешь. — И снова мама заплакала. — А что я буду делать? Куда я пойду?

Меня несколько задевает то, что мама, такая любвеобильная мама, прежде всего о себе сейчас думает; значит, меня заберут, так это бог с ним, а вот как она останется без работничка в этой жизни. А она будто учуяла мою недовольность и продолжает:

— Кормила-кормила, растила-растила, все силы отдавала, а зачем? Чтобы самой остаться с чужими людьми?

Меня совсем этот мотив в бешенство вгоняет, я встаю:

— Ну хватит. — Я еще не срываюсь, но уже близок к срыву.

— Тебе хорошо. Тебе, дураку-то, что... — И снова слезы.

— Хватит причитать! — не выдерживаю я.

Комната сужается до такой степени, что в ней едва-едва протискиваются слова. Три метра в ширину — четыре в длину, да две кровати, да два столика (один для работы, другой для обеда), да стеллаж, да швейная машинка, копия зингеровской, какая-то пробная модель госшвеймашинного производства, — все это в таком нагромождении, что шагу сделать нельзя, чтобы не зацепиться. Кровь, хлынувшая к вискам, слепит меня, мое бедро врезается в госшвеймашинный угол, споткнувшись, я лечу и ударяюсь о стол на курьих ножках, стол опрокидывается — летит моя пишущая машинка, и чернильный прибор летит. И снова, как и днем, за стенкой стук. И в двери стук. И некуда деться от этих давящих четырех стен, от стука, от маминых всхлипываний.

— Мамочка, хватит, — неожиданно говорю я, прошу, молю. Но, видно, тем самым я еще больше подбавляю огня.

— Ничего, не хватит, — начинает она, совсем вставая с кровати. — Никогда я не успокоюсь. Знай это!

Я взвешиваю: если я оденусь и выбегу на улицу, она скажет вслед: «Уходи!» Если я снова буду просить и валяться у ее ног, это лишь прибавит ей пылу: «Не верю я тебе, мерзавец!» Если я накроюсь с головой и заткну уши, она сдернет с меня одеяло: «Не бесись, слушай, что тебе мама говорит. Никто тебе не желает добра, как я!»

Я просчитываю все эти варианты. И действительно, ожидаемые реакции проигрываются мамой с точностью до микрона.

Комната дышит ненавистью. Стены в холодных и жестких бугорочках опрокидываются на меня известковым безразличием; лупоглазое огромное промерзшее окно, ничего не видно, кроме мерцающих фикусов, наползающих друг на друга; окно для невидимости, не для связи с внешним миром, а для полной закупоренности, чтобы наша ненависть, наша общая нажитая с мамой обозленность здесь в комнате хоронилась, пряталась в простуженных сырых углах, висела на трещинах потолка, торчала из-под стеллажей, гирляндами высвечивалась на голом проводе электролампочки в двести ватт. Столы, кровати, стеллажи, машинки — все тонуло в разобщающей энергии.

И в этом энергическом месиве барахтался и некто третий. Ему эта среда была совершенно противопоказана: он был бессилен перед ней, он орал о спасении. Но его стоны терялись в крепкой и энергичной злобности.

— Кормила-одевала, кормила-одевала, кормила-одевала, — бурав невероятной длины прошивает меня насквозь сто и тысячу раз, потом дратва просмоленная сквозь меня проходит, потом снова бурав: «кормила-одевала», потом снова дратва, потом я придавливаюсь упавшими известковыми стенами и прошиваюсь на госшвеймашине — лапка поверх сплющенной души, поверх мозга, поверх всего, что есть во мне: первое, второе и третье «я» простегиваются госшвеймашиной, все прострачивает мама, и некто третий, он особенно ей ненавистен: живи как все, а не держи ни в голове, ни в теле ненужного добра; ни у кого нет этих третьих, живут, слава богу, кормят своих матерей, одевают, как я одевала и кормила, — снова бурав запущен, и снова сто цыганских игл воткнулись в переносицу, в хрящ, в плечевой сустав, в локоть, ступню — и от этих прошиваний нет спасу, хочется крикнуть: «Хватит!», — но силы исчезли, и в дверь снова тарабанят что есть мочи:

— Домком вызовем!

В изнеможении я падаю на кровать. Вижу себя со стороны. Стесненность в груди, дышать нечем.

— Не притворяйся. Не верю я тебе! Ишь, сумасшедшим становится. Видала я... знаю. Кормила, одевала, кормила-одевала...

Потом мама неожиданно засыпает.

Я вчитываюсь в книжки: две-три всегда у меня под рукой. Злобный мой мир отступает от меня. По мере вхождения в книжное содержание точно на новом озонном берегу оказываюсь. Этот оазис залит светом, в нем целительное тепло, отчего ласково и с приятной щекоткой отстают налипшие повязки, выпадает прошитая дратва, заживают раны и появляется столько силы и радости, что вновь хочется верить в бесконечные будущие удачи. И в этом оазисе щедро и весело поет мой надежный поводырь — некто третий. Он призывает любить этот мир, любить маму, любить надежду и мечту мою.

6

Я уже привык, что на каждом моем уроке сидит либо Марья Леонтьевна, завуч, либо Иван Варфоломеевич, член месткома — производственный сектор. Марья на моих уроках своими делами занимается и ухо держит наготове, чтобы рука для записи подключилась, — черный блокнот специальный для меня заведен, и туда все карандаш пишет. Иван дремлет. Словно на отдых в мой класс ходит. От меня да от детей отгородится ручищами да посапывает. Но тоже изредка пишет. Я привык к ним и не ропщу. И дети привыкли. Это, как теперь бы выразились, называется — под колпаком. Тогда такого слова не знали. А все это называлось — изучение опыта работы с целью оказания помощи. Марья вся светится, когда глядит в мою сторону. Такой добрый свет включается в ее глазах, что он даже ничуть не мешает моему общению с детьми.

На уроки я бегу. Нетерпеливо жду их часа. Здесь такой трепет. Здесь чудеса, иная жизнь, и я впитываюсь в эту иную жизнь, дышу ее ароматом:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

Этот мир принадлежит не мне. Не сегодняшнему моему «я», а, скорее, завтрашнему. Я вхожу в этот дворцовопраздничный мир, и мороз по коже:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

И не знаю, почему слезы у меня на глазах. Тепло подступает к горлу, наверное, чтобы облегчение произошло, чтобы сполна и дети, и я, и Марья эту прекрасную и грустную интонацию-боль сердцем почуяли:

Сил нам нет кружиться доле;
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?

Я наслаждался даже не самими уроками, я наслаждался их ожиданием. Я знал, что они будут, что их никто отменить не в состоянии.

Мне казалось, что я участвую в неслыханной мистификации. И об этом никто не знает. Величайшее в мире человеческое наслаждение названо работой. Я иду к детям — к юным прекрасным душам, чтобы наслаждаться вместе с ними искусством сопереживания, — и это оплачивается как работа. И эту радость, я это знаю, хотят у меня отнять. Бесы! Всегдашние бесы — они всегда рядом. Они всегда так шумно празднуют свои победы — но всегда есть надежда прорваться сквозь пургу, прорваться, если не замечать их жуткого воя, как Одиссей прорвался между Сциллой и Харибдой. Прорваться к своей чистоте. Прорваться вопреки пляшущему зловещему бесовскому наговору, запрету:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?

Сидит Марья на последней парте, сидит и светится своим ясноглазием, а что там у нее внутри делается — это сейчас совсем неважно... Важно другое. Глаза Светы Шафрановой, Валерия Чернова, Саши Надбавцева, их дрогнувшие сердца.

Это потом мне станет известно, что скажет Марья. Впрочем, ничего особенного, даже похвалит: «Эмоционально». Но тут же спохватится: «Так говорить с детьми нельзя. Никто ничего не сможет запомнить. Не перекликается речь учителя с текстом учебника».

Не перекликается. Это уж точно. Я буду молчать, потому что когда я с детьми уроки вел, то совсем другие мысли у меня пробивались, и я боялся этих мыслей:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Ты сам свой высший суд...

Не дорожи любовию народной...

Марья пишет в свой блокнот. Для себя пишет, для человечества пишет. Потом, через два года, она умрет от рака. А блокнот останется. И в нем будет написано обо мне, еще живом: «Владеет учитель и классом, и словом, но есть идеологические ошибки. Пушкин призывает не дорожить народными массами. Это в корне неверно. Пушкин — выходец из народа. Он любил народ и призывал к революции».

Я иду потом по улицам, и невидимка-луна — почему невидимка? Впрочем, вот она, загадочная — изумрудный свет свой пробивает через морозную стылость, через предвестие белых ночей. Теперь мутных, а потом совсем белых. И в этой мутности скачут Марья с Иваном, Новиков с Рубинским, старый эсер с Шамовой скачет. Скачут в диком хохоте за моей спиной. А я иду, и мне боязно обернуться, потому что мерещится мне железная с шипами пощечина — и нет сил сказать: «Ты царь: живи один».

А потом пляшущие призраки исчезают. Совсем светло становится. Перед глазами другой урок. Пар-

ты сдвинуты так, чтобы дети друг к другу прикасались, чтобы общее тепло переливалось от одного к другому.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья...

От слез мне становится будто теплее. Сквозь морозную плотность, должно быть, оттуда, из зачарованных волн северного сияния, пробивается тонкий аромат османии:

— Простите, я уже приехала. Я буду вести уроки во всех трех классах, — снова чудится мне образ, навещающий мою душу.

— Это необыкновенно. Я рад. Я расскажу вам о детях.

— Почему же вы замкнулись на Пушкине да на средневековье?

— Нет. Нет. Кто вам сказал! Сейчас двадцатый век пойдет. Готовим удивительный рассказ о героях гражданской войны: о Лазо и Блюхере. Знаете, мы старичка нашли. Представьте, знал Блюхера в шестнадцатом году. Блюхера — кавалера трех Георгиевских крестов, в бильярд научил этого старичка играть. Старик отбыл срок — 20 лет, не забыл Василия Константиновича, сам готов участвовать в наших сценах. И о Тухачевском расскажем. Тоже очевидцы есть. Знали и командарма, его жену и дочь — обе красавицы, представьте себе. Трагическая смерть обеих...

— Не боитесь?

— Я?! — И стремительные силы несут меня, как на крыльях, и таким я сильным себе кажусь: все мне нипочем, всего я готов и могу достигнуть, лишь бы ее лик не отдалялся от меня. И непременно добьюсь всего.

— Чего же вы хотите добиться?

— Чистоты. Чего бы это мне ни стоило: позора, унижений и даже смерти.

— Это не каждому дано — смерть принять за чистоту.

Изумрудно-багровые волны беснуются на небе, исчезает мое видение, глухо и темно становится на душе. Как же я живу? То ли делаю? Как хотелось мне жить стремительно, ярко, с божеством и вдохновением — нет и нет, живу, как притворщик, все в тайне держу самое лучшее, кружусь, как ноябрьский лист в бурю, среди бесов синих, рыжих, красных, бесов с лицами Марьи и Ивана, Рубинского и Новикова, Дребенькова и бухгалтера — Тэдисова. Марья — вспухшее, с румянцем, когда-то доброе лицо: «Все-таки перегибы у вас. Мамы одевали своих детей, чистили, гладили, а вы их в цех, полы драить, да разве можно так!» И Иван: «Ох, и надоел ты мне, братец, со своими сценариями. Ну на кой черт тебе этот треклятый Рафаэль! Ну кто он тебе? Брат или сват? Пойди разберись, за кого он стоял до революции, одно ясно — поповщину разводил, мать его за ногу. А этот, барбос Аввакум? Ну и сожгли его, ну и ляд с ним, на кой он черт нам-то сдался... И с этими, Тухачевскими да Блюхерами, я бы не торопился. Реабилитировать-то реабилитировали, а команды полной все же не дали, чтобы везде портреты восстановить. Ты подожди да погляди, чем оно все обернется, может, завтра опять приказ дадут, считать их вредителями...» У Ивана Варфоломеевича предоброе лицо. Он вроде и любит меня, и говорит мне об этом: «Вот люблю я тебя и как сыну говорю и советую — оставь ты эти свои смутные дела. Поверь, очень они смутные, дела твои. Это, скажи спасибо, дали тебе еще всем этим заниматься. Подумать только, в наше время во весь рост на стенке деву Марию возвеличивать...» — «Это же шедевр мирового искусства», — говорю я. Махнул рукой Иван Варфоломеевич, исчезла его добробесовская физиономия, и на его месте завхоз Дребеньков: «А кроваточку возвратить надо сегодня же». — «Так нет же кроватей в магазине!» — «Не могу — ревизия!» И я сбрасываю мамин матрац на пол, оттаскиваю железную, давно списанную кровать на школьный двор. Бухгалтер Тэдисов отмечает птичкой мою кроватку в особой амбарной книге. Он же мне говорит: «Я вас на заем подпишу по двум школам сразу». — «Но я же там временно, по совместительству». — «Ничего», — трясет он отвисающим кадыком, и уши как у домового — лопатками удлиненными, книзу широкими, не как у всех, заостренные кверху. В ночной мгле Валерия Петровна — завуч, кабачки, варенье, шуба, головка набок, следить и следить за идеологическими ошибками, брови домиком, первого мужа своего сама засадила в тюрьму, да, да, пришла и заявила: «Не наш человек, весь белогвардейский из себя, Ахматову читает. Стихи Мандельштама держал в подполе». И Новиков в кожаном пальто. Через двадцать лет мне скажут: «В канаве утонул. Пьяный был». Это он глазами полированными: «Шума не подымать. Не торопиться. Сделайте так, чтобы сам споткнулся».

И разбор уроков. Все: есть недостатки — такие, такие, такие. Новиков с защитной речью: «Не надо, товарищи, с выводами торопиться. Помочь надо молодому специалисту». Улыбка в мою сторону — и снова вихрем кружится кожаное пальто на клетчатой подкладке, и новиковская физиономия в мягком вагоне поезда «Котлас — Воркута» (на конференцию ехали), орал он: «Здесь нет советской власти! Здесь я — советская власть!» И Чаркин тут как тут. И Иван Варфоломеевич с вилкой, на которой нанизан кусок семги, а в другой руке стакан, чокнуться норовит. И песня: «Гремя огнем, сверкая блеском стали...», и снова в купе, тесно в купе: «А ну, Иван, давай выломаем проход, чтобы посвободней было, а ну надавим», — и снова в хохот все — и так всю дорогу. «Эх, лапти мои, лапоточки мои», — это Валерия. «Мою любимую! — кричит Новиков. — Калинка-малинка моя, в саду ягодка-малинка моя».

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

— Еще наливай, черт бы все побрал, нет здесь советской власти...

— Может быть, хватит? — это Марья. — А то остановка сейчас, прибраться надо бы.

— Плевать! Я здесь хозяин, кто здесь хозяин, я спрашиваю?

— Вы хозяин, — это проводник отвечает.

— Иван, ему налей!

— Мне нельзя.

— Можно, я здесь хозяин!

В памяти и светлые картины. Незабываемые. Неожиданные.

Началось все с решения объединить труд, искусство, самоуправление. В этот день за труд была ответственной Света Шафранова. Очищали от снега овощехранилище. Снег в рост человеческий. Группу заключенных я увидел первым, спереди и сзади по конвоиру. Заметив нас, заключенные, так мне показалось, замедлили шаг. Я наблюдал за лицами детей. У Саши Надбавцева — взволнованное, у Чери — презрительное, у Светы — настороженное, у Оли — сочувствующее.

— Отойдем в сторону, — предложил Черя.

Света сегодня ответственная за весь день. Но этот неожиданный факт никак не вписывается в школьное самоуправление.

— От греха подальше, — сказала Оля.

— В русских традициях жила всегда идея — помогать обиженным, — вдруг книжно заговорил Саша.

— Они-то обиженные? Все по пятьдесят восьмой отбывают. Политические, — это Черя.

— Кретин, — прошептал Саша.

Света сегодня ответственная за весь день. Но этот неожиданный факт никак не вписывается в школьное самоуправление. Здесь другое. «А почему другое? — мелькает у меня в голове. — Если самоуправление не затрагивает главных вопросов жизни — тогда зачем оно? Разве только для внешнего дисциплинирования? Чтобы быть продленной рукой учителя?»

Я наблюдаю за детьми, вижу, как движется на нас группа заключенных. В черных фуфайках, черных шапках, руки у всех сзади: так положено. Вижу конвоиров. Вспоминается чей-то рассказ: шаг влево, шаг вправо — стреляю!

Света между тем вытащила из сумки кулек с бутербродами и направилась к заключенным.

Конвоир кричал, а Света будто и не слышала ничего. Я подошел к конвоиру и что-то промямлил о том, что, мол, ничего особенного, это дети; сочувствие и так далее.

А потом мы стояли и смотрели им вслед.

А на следующий день было разбирательство.

— Да за такое к стенке раньше ставили, — это Чаркин.

— К стенке не к стенке, а срока давали, — это Валерия.

Эти ужасные слова «срока давали» звучат нелепо, но в них реальность. А то, что я говорю, это химера:

— А как же воспитывать без сострадания, сочувствия и соучастия в чужой беде?

— Сочувствие — буржуазная категория, — это Марья.

— Сострадание воспитывает раба, — это Валерия, должно быть, перепутала что-то из Макаренко.

Я молчал. Предательски, отвратительно молчал, потупив голову. Что там все мои прошлые грехи: методы новые придумал, ролевую игру проводит, самоуправление — волю дал детям, ребят к обучению привлек, спектакли, уроки красоты и добра, — все побледнело рядом с тем, что сейчас произошло. В подтекст вошла грозная сила — идеология. Та неформальная идеология, которая как раз и была формальной, но по ряду причин скрытой, за нею хоронилась кровавая история: убийства, пытки, доносы, предательства. И я молчал вместо того, чтобы, может быть, сказать: «Я горжусь Светланой. Горжусь Сашей. Их поступок — подлинно гражданский акт. Подлинно человеческий поступок».

Я этого не сказал. Молчал и Новиков. Он хмурился, слушал тех, кто говорил, впрочем, непонятно было, одобряет он их или нет.

А потом я пришел в класс. Они, должно быть, знали о разбирательстве. Дети очень многое знают из того, что происходит с педагогами. Но главное не это. Как только ступил я в класс, так будто все клапаны во мне открылись. Дышать стало легче. И глаза! Какие глаза у детей! Нет ничего прекраснее детской готовности к благородному поступку. И Пушкин по-новому звучит в атмосфере этой готовности.

Светлана Шафранова — как только я увидел ее — она совсем преобразилась. Что-то неуловимое прибавилось к ее овалу лица, и к гладко зачесанным назад волосам, и к белизне лба и шеи, и к грациозности движений; и в глазах столько тревоги, участия, доброго ожидания, надежды, поистине — как гений чистой красоты...

Пятнадцать лет спустя Света напишет мне: «Я вас любила. Я боялась за вас каждую минуту, каждую секунду...»

А я не знал этого. Я был строгим учителем. И всегда стремился быть еще строже. И все же дорожил ее участием. Ощущал это участие. Потому и остерегался прикоснуться лишний раз взглядом к ее чистоте. Боялся загрязнить эту чистоту.

Оторопь брала всех, даже Ивана с Марьей, когда она выходила к доске. Это были не просто ответы на оценку. Это были робкие откровения:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты...

Она говорит о прошлом, а оттого что я слышу и вижу сегодняшние тревоги в ее рассказе, едва не навертываются слезы на глаза. Потому и оторопь берет. Как сложится жизнь в стране, еще неизвестно, а подлинный гражданин чувствует эту жизнь не в отблеске кровавых злодеяний, а в просветах завтрашних надежд. И готов защитить эти надежды. Приблизить их свершение. Чего бы это ни стоило: позора, унижений и даже смерти. Она говорит о Пушкине, о славнейших традициях литературы XIX века, а я вижу ее в черном пальто на снегу, переступившую дозволенную черту, и конвоира слышу: «Назад! Стрелять буду!» И осклабившиеся, едва не плачущие лица заключенных: «Не надо, доченька! Спасибо, доченька», и при-

стальные взгляды моих ребят. Как я должен поступить? На чьей я стороне? А мне хочется сказать Светлане добрые слова. Впрочем, и Чернову хочется сказать что-то подбадривающее.

Чернов Валерий обратится ко мне через некоторое время: «За что они все против меня? Бойкот объявили. За что они меня ненавидят?» И я: «Успокойся. Все будет хорошо. Подумай, может быть, и ты неправ». И я в открытую на классном собрании: «Нельзя бойкотировать человека, если он хочет сам понять и разобраться во всем...»

А весной забот прибавилось. Стали работать над новой темой: «Свобода воли». Я для себя установил: нравственность и воля неразрывны. Если ты сам не способен к длительным напряжениям, то вряд ли сможешь в полную меру реализовать себя и помочь другим. Пошли ежедневные тренировки.

К нам подходят Марья с Иваном.

— А мы пришли посмотреть, как вы тренируетесь.

— Не устали, ребяточки? — это Иван.

— А с родителями согласовано? — это Марья.

— Сколько, сколько километров?

— Девочки пять, а мальчишки по десять с Владимиром Петровичем...

— Полезно это?

— Для армии и флота — совсем хорошо, — это Иван.

— У меня раньше и сердце болело, и голова, а теперь совсем перестало все, — это Оля.

— А у меня гланды были, а теперь даже купаться решил...

— Сейчас купаться?

— Если с умом, то почему же нет, — это я.

Контраст разительный — мы в спортивных костюмах, а Иван да Марья в зимних пальто.

Мы бежим. Впереди дорога. Ожидание красоты. Ожидание поэзии. Ожидание взросления. Ожидание любви. Ожидание новых надежд — это все в них. А от них ко мне переходит эта острота несказанных ожиданий.

И мы бежим.

— Плечи чуть назад. Посвободней. Дыхание! — это я девочкам говорю.

И им нравится расправлять плечи, выполнять мой совет. Нравится это дозволительное прикосновение учителя к недозволенному. У нас тысяча разных дел сегодня. Сразу после зарядки мы идем к нашим подшефным третьеклассникам, затем надо навестить больного Юру Савкова, потом ребята помогают друг другу по математике и русскому языку, затем, уже после уроков, идут на комбинат.

Чернов говорит об этом:

— Вот списки бригад на следующую декаду. Обо всем договорились с руководством комбината. Работать будут в две смены по три часа...

Я ничего не спрашиваю у Чернова, а он говорит и говорит, точно отвлекает меня от мрачных моих мыслей, и ребята следят за моим напряжением, а Чернов будто торопится выложить мне всю программу декады нашего содружества с деревообделочным комбинатом: намечено дать три концерта там же, прямо в цехе, место отличное, и сцена, и декорации, то, что нужно, фанера, доски в нашем распоряжении, ребята из цеха помогут. Я действительно забываю о кратком, но бурном разбирательстве, которое состоялось вчера в учительской и о котором, впрочем, тут же (и после никто и никогда не вспоминал) точно забыли. Не было! Ничего не было: ни заключенных, ни Светы Шафрановой с кульком бутербродов, ни самого разбирательства. И я не думал над тем, почему все это произошло так, почему забылось все, почему набросились на меня сразу все, а потом точно кто сказал им: «Не надо об этом. Нельзя об этом. Это надо похоронить в себе навсегда!»

И педагоги ко мне, я даже удивился, и оба завуча, и Иван Варфоломеевич, и Новиков, стали еще ласковее относиться: и на концерт на комбинат пришли (здесь все было хорошо), и посетили нас, когда мы в цехах работали, настоящим производительным трудом занимались, и восхищались:

— Надо же, Чернов Валерка сам, по доброй воле работает.

— А кто бы мог подумать, что Шафранова будет так трудиться!

И это все говорилось вслух, там же, в учительской, и спрашивали у меня: «Да как же вам удалось?» — «А не надоест ли детям?» — «Неужто по сто рублей заработают?»

И я отвечал на все вопросы, и только много лет спустя я расшифровал их выражения лиц, улыбки, участие.

Они со мной как с больным, как с ребенком. Впрочем, в это участие была вкраплена и их тревога, и их сознание вины передо мною, и ощущение надвигающихся перемен.

Это приближение перемен лучше всего ощущали дети. Они хотели говорить о прошлом, о будущем, а я запрещал говорить. Не принято. Точнее, в прошлом можно было искать только хорошее. В будущем — прекрасное. А в настоящем? Пожалуй, и я ориентировал детей на положительное отношение ко всем людям. Я и к Марье, и к добродушному Ивану Варфоломеевичу отношусь с любовью, доверительно. Мне жалко их: не по своей воле они ходят по моим пятам, выкладываются. Я вижу, как они ежатся от холода, как им неловко оттого, что ощущают они неприглядную омерзительность своей роли, как они, будто посрамленные, уходят прочь.

— Шпионят, — это Черя сказал им в спину.

— Не смей так говорить, — это я.

— А что, неправда?

— Не твое дело, — это снова я.

— Почему так жизнь устроена? — это Саша.

— Жизнь прекрасно устроена, — это снова я.

— Вам так надо говорить? — это Алик.

— Конечно, мне за это деньги платят. А если бы не платили, я бы говорил: «Черт знает что, а не жизнь».

— Хмы, — это мальчики. Все разом.

— А почему вы с нами возитесь?

— А я не вожусь. Это вы со мной возитесь, — мой ответ.

— Как это?

— Очень просто. Если бы не вы, я б умер.

Лицо вспыхивает у Светы, а затем румянец переходит к Оле.

— Значит, мы вас спасаем?

— Конечно, и за это вам надо доплачивать из моей зарплаты. С северными, разумеется.

— Лучше из зарплаты Марьи и Ивана, — это Черя.

— Не смей так говорить... — это я. И Свете: — Света, накинь пальто.

— Жарко, не могу.

— Я кому сказал!

Света смотрит на меня, как иной раз смотрит мать на своего ребенка. И нежность, и улыбка, и игра в строгости.

И я вижу, что у Светы сегодня появилось что-то такое, чего не было ни вчера, ни позавчера. Появилось что-то такое, что выше и сильнее всего на свете, по крайней мере у женщин, одухотворенность: у этой девочки засветилась не просто весна, в ней засветилась та спокойная, жизнелюбивая страсть, которая будет ей верным, долготерпящим и милосердным другом на многие годы потом.

И когда еще двадцать лет пройдет, Света мне скажет: «Без этого я была бы другой».

И я был другим. И я хотел утверждать доброе и светлое в этой жизни, потому что чужд был мне нигилизм, зряшное отрицательство никогда я не принимал. Рационализм Сальери — дело тупиковое. «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет — и выше» — эта формула не для меня. К моей душе прилип совершенный образ весны, которая отсвечивает сейчас и в глазах Светы Шафрановой, и в глазах Оли Бреттер, и в глазах Чери и Саши Надбавцева.

И этот прекрасный свет согревает меня, будто приближаюсь я к свиданию с моей единственной любовью, приближаюсь к той тайне, которая дает мне силы. А потому и иные формулы соединяют меня с этим прекрасным миром, с моими детьми:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь...

Самые прекрасные слова на уроке могут выполнять лишь дежурную, формальную роль — работать на оценку, на бездуховное прохождение материала. Настоящая педагогика урока начинается там, где от школьной обязательности отслаивается и западает в душу подлинная духовность. Когда нешкольное состояние души рождает в каждом, пусть еще слабенького, кого-то третьего. Талант, мужество, гражданский поступок, человечность — вот какой он в детях, этот некто третий. А потом он может вырасти в каждом до исполина. Вот для чего в школе нужна любовь. Без любви пушкинских учителей — Куницына, Энгельгардта, Малиновского — не было бы ни Пушкина, ни его друзей — Пущина, Дельвига, Кюхельбекера. Только великая любовь и великое страдание могут подвигнуть человека к свершению подвига. Не мельчить. Не размениваться на мелочи. Всю жизнь думать о главном шаге своем, о главной цели своей жизни.

Мимо нас проехала машина. Это Новиков. Черя сплясал ей вслед:

— Калинка, малинка моя, в саду ягода-малинка моя.

— Не смей, — сказал я.

7

Коварный замысел Новикова, должно быть, осуществился. В один день, а может быть в два, все вдруг вокруг меня изменилось. Силой неслыханной волны меня сбросило с моего цицероновского гребня, швырнуло оземь с такой небрежной жестокостью, что едва я сумел опомниться.

Первым кинулся на меня с враждой Рубинский. Он принес мне книгу, которую я ему на день рождения подарил. Хорошая книга про искусство Италии, дорогая книга, и ему очень понравилась, так вот он эту книгу мне бац на стол, перед самым носом.

— Мне эта книга не нужна, — сказал он.

Сказал и вышел, не глядя в мою сторону. Я удивился.

Вечером я зачем-то забежал к Екатерине Ивановне.

— Мы уходим, — сказала она. И дверь захлопнулась перед моим носом.

В этот же день, чтобы испытать, что же произошло, я отправился к Вольновой. Когда я проходил мимо дома, увидел ее лицо: занавеска чуть-чуть была приоткрыта. Я еще ей помахал ручкой, и она, я это точно видел, закусила нижнюю губу.

На мои звонки никто не ответил. Я стал стучать. За дверью свирепо лаяла собака. Но дверь так никто и не открыл.

На следующий день я встретился с судмедэкспертом Толей Розднянским. И он смотрел на меня удивленными глазами.

Я метался, не до конца понимая, что же произошло. Догадывался. Ощущал омерзительный смысл моей новой тайны. Теперь Новиков открыто смеялся мне в лицо.

* * *

Стукач. Я не знал этого отвратительного слова.

Не любил я вообще жаргона. Еще как-то переносил нецензурность — там хоть первородность была. А слова, перекрученные, вторичные, в которых изъят, отчужден первозданный смысл, внушали чувство нечистоплотности. Одно дело — первородная грязь с огородной грядки. Она чистая. И другое дело — грязь мусорной ямы, где зловония, гадостность, удушающая мерзость отдает разложением. Такое ощущение было у меня от слова «стукач». И касательства оно ко мне не имело. Так мне казалось до определенного времени.

И случилось это не сразу. А начало было положено в одно из таких тихих утр, когда в мою комнату постучали.

Человек в шапке и в пальто пристально смотрел на меня. В пристальности были и уважительность и доверие. А я всматривался в него, чувствуя что-то неладное. Лихорадочно всматривался, чтобы найти какую-либо деталь, чтобы понять что-то. Такой деталью оказался краешек кителя с кантом. Мой взгляд перебросился вниз: ну да, сапоги.

— Что вы хотели?

— Можно войти на секунду?

— Входите.

— Прекрасно. Вы не беспокойтесь. Я из ЖЗЛ.

— Мне нечего беспокоиться.

— Вам необходимо, если у вас найдется времечко, прийти по этому адресу. Второй этаж, комната пятьдесят семь.

— Это что, опять насчет Морозовой? Я же все объяснил.

— Не знаю. Я выполняю чисто посредническую роль. Не забудьте, завтра в восемнадцать тридцать.

На следующий день, озираясь по сторонам, я нырнул в подъезд двухэтажного дома. Снаружи я обратил внимание, что окна правой стороны дома зарешечены, а левой — украшены занавесками и цветочками. На крохотной вывеске, впрочем весьма аккуратной, совсем новенькой, золотыми буквами было выведено — Ж З Л. Пятьдесят седьмая комната находилась с левой стороны.

— Пожалуйста, — сказал человек в штатском.

Этого молодого человека лет тридцати я уже однажды видел, и тогда он был в железнодорожной шинели с капитанскими погонами. Я еще спросил: «Новенький?», а Рубинский мне ответил: «Сейчас, с этой реабилитацией, сюда повалило столько новеньких». — «Кто же этот капитан? — спросил я. — Что-то лицо больно знакомое». — «Из железнодорожной прокуратуры, должно быть», — ответил мне Рубинский. А я спросил еще: «А что, есть и такая?» А мне ответил Чаркин: «В Греции все есть...» Я еще подумал, что за глупость совать всюду эту Грецию. Как бы то ни было, а этот человек в моем сознании зафиксировался не как инспектор, каким он, по всей вероятности, и был, а как капитан определенного ведомства, которое разбирало всякие сложные житейские дела, мнимые и настоящие преступления и, разумеется, все, что связано было с реабилитацией. А так как в те времена о ведомствах такого рода не принято было говорить вслух, то и о капитане, то есть об этом инспекторе больше ни у кого не спрашивал, а про себя всегда называл этого человека капитаном.

Итак, человек в штатском приподнялся и предложил мне раздеться. Я снял пальто и сел напротив. Очевидно, на лице моем было некоторое беспокойство, хотя я и улыбался.

Я, конечно, как мне казалось, понимал, куда я попал. Сюда не чаи приглашают гонять. Для проформы так назвали этот дом — Жизнь Замечательных Людей. Тоже мне конспираторы! Раньше он по-другому назывался. Тоже три буквы, но совсем другие. Настоящий страх шел от этих домов. Этот страх рос вместе со мной. Я мог возмущаться, фанфарониться: никого не боюсь, мне плевать! А страх, некто четвертый, я о нем потом расскажу, сидел во мне спокойно, прочно, он проживал во мне свою защищенную жизнь — Жизнь Замечательных Людей.

Я улыбался, а губа предательски уходила несколько в другую сторону. Кончики губ будто ослушивались, точно ими за ниточки подергивал некто четвертый.

Наконец десятым чувством я осознал, что мне неуместно улыбаться. И я мгновенно проглотил улыбку. И от этой торопливости тоже что-то нескладное получилось, отчего некто четвертый сладко расхохотался внутри.

Я поразился: этот сидящий во мне некто из пятой колонны был заодно с ними. Он жил во мне. И предавал меня. Хозяйничал и распоряжался. Он был цензором и стражником. Он был моим домашним, тайным, коварным, независимым, совершенно автономным полицмейстером. Теперь в этой просторной светлой комнате — два стола, один к другому, зеленое суконце, чернильные приборы, портрет ратоборца, открытая форточка, два сейфа с большими номерами на боковой стороне, пол выщербленный, лампы настольные — в этой небытовой, нетипично канцелярской комнате мой некто четвертый почувствовал себя как рыба в воде. Сначала он выпрыгнул из меня, на одной ножке поскакал, попрыгал на сейфе, а потом стал раскачиваться, как это делают детишки, когда перед прыжком размахивают руками, и сиганул на мои вихры, отчего волосы зашевелились до самых корней. Он нагло отбивал чечетку, отчего мне было щекотно, и, очевидно, сидящий напротив капитан видел этого легализовавшегося стражника и подмигивал ему. А мне не видно, что же отвечал ему мой тайный жезэловец. Я сделал попытку согнать моего стражника с головы, даже рукой провел по волосам, а он изогнулся и выскочил меж пальцами. Я повторил попытку, а он спрыгнул с головы и стал корчить рожи откуда-то с угла форточки. Самый раз бы мне под каким-нибудь предлогом резко двинуть форточку, дескать, дует, простужен, да не тут-то было, раскусил он мои планы, оттолкнулся от форточки, отчего она качнулась, и прыгнул к потолку, ухватился по-обезьяньи за провода и повис так, точно собирался плюнуть в мою сторону.

— Вам не надует? Можно закрыть форточку...

— Нет. Нет. Я закален, — ответил я.

Какой смысл захлопывать форточку, если этот мой сожитель качается на проводах. Другое дело бы залезть на стол да оттуда попытаться его схватить, но что скажет капитан, который и так рассматривает меня с некоторым удивлением.

И вдруг во мне что-то заклокотало. Вдруг набралась неожиданно та ослепительная сила буйного негодования, которая была замешена на ненависти, на яростной силе оправдательного поиска.

— Никаких свидетельских показаний я давать не буду! Я уже говорил в прошлый раз... — так я и отрезал, чем обозлил того четвертого, который слетел с

проводов и успел-таки, мерзавец, плюнул мне в левый глаз.

Мне несколько стало неловко за его резкую выходку.

—Странно, — сказал капитан. — Люди не имеют представления о нашей работе и полагают, что раз их сюда пригласили, значит, намерены в чем-то обвинить...

Он встал и зашагал по комнате. Его лицо стало огорченным. Он даже заметил, что здесь в работе он сталкивался с разными реакциями людей: одни кидались в оправдания, другие резко дерзили, их еще ни о чем не спрашивали, а они уже несли всякую чушь: не имеете права, я член такой-то партии, столько-то лет работал, был на выборных должностях, кровь проливал, нервы изнашивал. Господи, чего только не несут здесь люди, еще не зная, о чем их будут спрашивать. Вот был случай: пригласили как-то одного счетовода, так, для справочки пригласили. А его как бросило в истерику: «Пощадите, дети у меня, дочка беременная, внука жду, все отдам, только оставьте на свободе. Это не я, а Семыкин прикарманил казенные деньги». Вот и пришлось нам в другие учреждения передавать дело счетовода. У нас каждый человек замечателен. Потому и называется наше учреждение, как вы заметили, по-новому. Вы ведь тоже по-своему замечательный человек.

— Узкая серия человеческих типов, — пробормотал я.

— Как вы сказали? Узкая серия?

— Это слова Макаренко. Он говорил, что нам не нужна узкая серия человеческих типов, нам нужны творческие люди.

— Именно замечательные люди. Поэтому их жизнь нас и интересует. А вы в долгу перед нами. Вы должны были зайти к нам по делу Морозовой.

— Я все сказал вашему человеку.

— Ну, положим, не все.

— Дело в том, что у вас с Морозовой есть не только общие знакомые...

— У меня?

— Так случилось, что все, что коснулось сейчас вас, когда-то коснулось и меня, но об этом потом. Я могу назвать этих знакомых. Тут нет секретов. Тарабрин. Бреттеры. Солодовникова. Пока хватит?

— А кто такая Солодовникова? Я не знаю такой.

— Значит, других вы знаете?

— Конечно, знаю.

— Прекрасно. А Солодовникова — это племянница Бреттера, и вы с ней встречались в доме Бреттеров.

Капитан говорил так, будто уличал. И если бы он по-доброму не улыбался, то создалось бы у меня впечатление допроса.

— Значит, вы не станете отрицать, что знакомы с названными людьми?

— Разумеется.

— Вот это как раз и надо нам было уточнить.

— И для этого вы меня вызвали?

— Пожалуй, для этого, если не считать еще одной детали.

Я посмотрел вверх. Некто четвертый устроился на крапленой золотистой раме, в которой под стеклом улыбался великий ратоборец. По-доброму улыбался. И некто четвертый будто подражал ему:

— Вот и все, милый, ми-л-л-л-л-ый, — губы некто четвертый вытянул в трубочку, точно желая обозначить, что он принадлежит к неопределенному полу, а теперь подражает, точнее развивает свое женское начало. Мой сожитель затем расхохотался, уцепившись за лацкан кармана великого ратоборца, и, демонстрируя высокий класс пилотажного искусства, спикировал вниз, а затем снова взмыл вверх и уселся на портрете, свесив ножки так, что они закрыли смеющиеся, искрящиеся глаза на портрете.

— В нас правда. Только правда. Вся правда! — трещал мой сожитель. — От меня никуда и никому еще не удавалось уйти. Невидимые нити связывают меня с людьми. Эти нити — вечные пуповины. Они со дня рождения человека.

Я повел рукой по груди и почувствовал что-то липкое на рубашке. Неужели пуповина? Что он мелет, мерзавец?

А сожитель хохотал, держась за круглый животик:

— Чего смотришь? Желудок у меня такой. Недокармливали меня в детстве. Вот и вытянул на рахитичность.

Капитан, должно быть, наблюдал за мной. Его лицо светилось добротой. Еще немного — и он кинется ко мне с откровенностью:

— Поймите меня правильно, мой дорогой, мы ведь оба и справедливцы и правдолюбцы, а в жизни так много нечисти, что приходится прибегать к мечу, а не только к убеждению.

Оттуда, сверху захлопали. А взгляд у великого ратоборца стал еще пристальнее.

А капитан бы мог при этом продолжить:

— Вопрос стоял всегда так: или за социальные преобразования, или против социальных преобразований. У нас нет выбора: или за человека, или против человека. Мы за человека! А вы? За полное его развитие. За гуманистические условия, когда все братья. Я ваш брат, поймите, я ваш братик. У вас не было, черт побери, братиков? А как прекрасно звучит это словцо. Братик. Согласитесь, есть в нем что-то. Братство. Братание. Давайте же, черт подери, с вами побратаемся. Не бойтесь же. Я не нумизмат. Неужели вы такой неопытный? Только так можно по-настоящему побрататься. Так крепче держитесь за стол. Я начинаю брататься. Я первый предложил. Поэтому вы расслабьтесь, совсем, и глаза держите закрытыми. Так положено. Вы должны довериться. Совсем довериться. Положиться на меня. Какое у вас прекрасное тело. Спорт — это всегда хорошо. Только злоупотреблять нельзя. Слишком много мышц — это как-то вульгаризирует.

Наверху снова захлопали в ладоши. Великий ратоборец одобрительно улыбался.

— Только вместе. Вместе с рабочими и крестьянами можно одержать нравственную победу... Вы ведь из крестьян? — говорил капитан, проявляя нетерпение. — Крестьяне — это звучит чисто. Да-да. Не та

грязь. Грязь с полей — это не грязь, а плодородие. Плодородие — вот смысл, дорогой. Я плодоношу, ты плодоносишь. Одним словом, плодоовощи, — и капитан засмеялся так громко, что мой сожитель закрыл глаза тюбетейкой. — Мы все должны плодоносить, — трещал он, нащупывая во мне что-то тайное и, может быть, постыдное.

У меня вдруг закружилась голова.

— Форточку, нельзя ли открыть форточку?

— Она открыта, — сказал капитан. — Можно шире, совсем настежь, пожалуйста.

— Нет, достаточно.

— Так вы не отрицаете, что знаете Солодовникову?

— Как же я могу отрицать, когда я видел ее.

— И, разумеется, при необходимости где угодно можете подтвердить, что знаете ее?

Я понимал, что идет какая-то игра. Несмотря на братание, у меня все же обострилось и недоверие. Что-то барахталось во мне, должно быть, мой некто третий шевелился. Но я помнил, что когда вылетал из меня этот мой сожитель, то он успел перевернуть некто третьего, своего антипода, вниз головой таким образом, что голова застряла в желудке, а ноги и руки были зажаты между седьмым и двенадцатым позвонками.

— О нашем доме анекдоты ходят, — сказал капитан и рассмеялся. — Видите, он не отличается от других двухэтажных домов. Так вот анекдот. Спрашивают: «Почему прекратились нецензурные анекдоты?» Ответ: «Тот, кто их сочинял, раньше жил напротив нашего дома, а теперь живет напротив своего дома». — Капитан посмотрел на меня. — Остроумно?

— Я не понимаю намеков, — сказал я.

— Опять? Да нет к вам у нас никаких претензий. Больше того, когда я вас спрошу об одном одолжении, вы поймете, как мы к вам относимся.

— Какое одолжение?

— Вы хотите сказать, что никаких одолжений вы нам не намерены делать.

— Никаких!

— Ну зачем же так, ми-л-л-л-ый? — снова губы в трубочку. — Мы же побратались. Мы же теперь неразделимы. Конечно, мы всегда были за идею, против кровности, пусть хоть брат брату животик распорет, мать пригвоздит к кресту, лишь бы идея, великая идея была живой и прекрасной. Кстати, заметили, что нигде и никогда женщин не распинали на кресте? Только мужиков. А почему? Уважение к слабому полу? Нет. Другое здесь. Так вы говорите, Солодовникова интересная женщина?

— Я этого не говорил.

— Но вы ее знаете. И не станете отрицать, что вы ее знаете.

— Не стану.

— Прекрасно. Вот и все. Больше от вас ничего не требуется. Распишитесь вот здесь.

Чуяло мое сердце, что никак нельзя было мне брать ручку в руки. Что нельзя даже под правдой подписываться. А вот взяла рука ручечку...

— Ну, давай, чего тянешь, тряпичная твоя душа, — кричал сверху сожитель. — Надо, братец, готов я с тобой тоже побрататься. Не дрейфь, семь бед — один ответ.

Я прочел бумажку, вырванную из какой-то амбарной книги в черную линейку, не очень широкую, не очень узкую, внизу слово «Подпись». В бумаге было написано, что такой-то виделся дважды с названными поименно гражданами, знавшими Морозову, кончившую самоубийством в ночь на девятнадцатое февраля 1955 года, а также, что подписавшийся участвовал во вскрытии тела Морозовой, при этом интересовался придатками...

— Я не интересовался, — сказал я. — Это ложь!

— А вот так не следовало бы вам говорить. Я бы на вашем месте об этом же сказал бы так. Например: «Здесь, по-моему, неточность». Или: «У вас есть доказательства, что я интересовался придатками Морозовой?..» Понимаете, при такой постановке вопроса отпадает ненужный эмоциональный налет, который может пойти вам во вред.

— Хорошо, — послушно согласился я. — У вас есть доказательства, что я интересовался придатками?

— Есть. Вот, — и капитан протянул мне листок такой же разлинованной бумаженции.

Подпись стояла неразборчивая. В тексте было сказано, что при вскрытии речь зашла о придатках Морозовой и Попов хоть и не проявил никакого интереса, он лежал у окна и его едва не рвало, но все же по тому, как он вздрогнул, можно было судить о том, что его заинтересовали придатки Морозовой. Об этом также свидетельствует и тот факт, что потом все же Попов подошел к оцинкованному столу, на котором вскрывалась Морозова, и заглянул в полость низа живота, где были придатки...

— Этого не было? — улыбнулся капитан.

— Было. Но кое-что все же не так. Во-первых, нельзя по вздрогнувшим плечам судить о моем интересе к придаткам. Я вообще такого слова раньше не знал. Конечно, я догадывался, что придатки как-то связаны с половыми органами. Да и вообще каждого мужчину, наверное, интересует, как устроена женщина.

— В этом вы бесподобны! — закричал капитан, размахивая руками. — Вы искренне бесподобны. Я вам докажу, что вы искренне бесподобны. Я знаю, вы думаете, что я говорю не то и даже не так употребляю слова. А я вам и всем докажу, что ваша искренняя бесподобность держится на одном суку, на общем суку, на котором сидят очень и очень многие. Убери этот сучок, стеши его топориком — и не будет этой бесподобности. У вас чистая, бесподобная, тихая, беззаветно преданная, но вдрызг разглаженная, то есть разгаженная, нет, опять не так, разлаженная органика. И это просто бесподобно. И в этом смысле вы правы. Нет у вас интереса к придаткам. Но как всеобщий индивид — (капитан только в этом году закончил философский факультет университета) — вы интересуетесь женщинами, потому что ими интересуется человечество. А раз вы интересуетесь женщинами, значит, не можете не интересоваться придатками. Не так ли?

— Не совсем так...

— Поясните.

— Здесь речь идет...

— Собственно, что мы канитель разводим. Вы, кроме этого пункта, со всем согласны? Было это? Были вы на вскрытии Морозовой?

— Был.

— Вот и прекрасно. Давайте вычеркнем насчет интереса к придаткам, а остальное вы согласитесь подписать?

Портрет на стене зашатался. Видать, мой сожитель не по центру сидел. К тому же раскачивался, дрыгая ногами.

— Ну так как? — спросил капитан.

Как только я поставил подпись в указанном месте, где еще и птичку обозначил капитан, так непреодолимая слабость пошла по телу. А впрочем, не совсем так. Скорее не слабость, а какая-то расслабленность, никаких размышлений, полный покой, а чего там особенного? — ну подписал, ну был я у Бреттеров, Солодовникову там видел, ну и что? да пропадите вы все пропадом с вашими раскладами, сроду больше не приду к вам, одни расстройства в голову забрасываются...

— Еще как придешь, — это мой сожитель сверху запищал. — Придешь. Стоит только коготку увязнуть, по себе знаю, как все тело со всеми потрохами потом в болотине окажется, и вытащить ничем нельзя. А прийти придешь, обязательно придешь. Я тебя приведу. Теперь ты такое же дерьмо, как Новиков, как Иван да Марья, как бухгалтер. Все одним миром мазаны. И я над всеми судья. Я — некто четвертый. Даром что я не первый. Сила — это то, что скрыто, а не на виду. По-настоящему сильный не капитан, а тот, кто за ним, кто его за веревочку дергает. И я сильный, потому что тебя привел сюда. Подписать любую бумагу заставлю. И над капитаном я. И над Новиковым. И над всеми. Есть у меня один враг, одолеть которого мне не под силу, да не скажу, кто он.

— Врешь ты все, — прошептал я. И вслух добавил: — Что, можно идти?

— Еще одна деталь, — сказал капитан, — Не могли бы вы для нашего коллектива прочесть лекцию о Ренессансе?

Я едва не проглотил язык от удивления, столь неожиданным был вопрос. Однако я оправился от нахлынувшего волнения. Спросил с достоинством знатока:

— Вас интересует Леонардо, Рафаэль, Микеланджело?

— Я знаю, что вы увлечены флорентийцами, Борджиа, Макиавелли. Но нас интересует совсем другое. Понимаете, то, над чем вы размышляете, слишком очевидно.

— Что очевидно?

— Любопытен сам факт того, что в эпоху разврата и убийств такой расцвет искусств и науки.

— Наверное, это не совсем так. Прежде чем Савонаролу сожгли на костре, он несколько лет открыто выступал против правящих сил. Открыто называл Александра Шестого величайшим из злодеев. Не забывайте, что во Флоренции была республика и именно там была с помощью того же Савонаролы утверждена демократия.

— Разумеется, Флоренция — это не фашистская Германия.

— Совершенно верно, там, где тоталитарный режим, там невозможно Возрождение. Меня интересует именно Возрождение. Социальное возрождение. Это вечная тема и для государства, и для каждого маленького или великого человека.

— И все-таки, — сказал капитан, улыбаясь, — с итальянским Возрождением все понятно. Меня интересует поздний Ренессанс.

— Голландцы или испанцы?

— Испанцы, главным образом. Контрасты.

— Караваджизм? Техника?

— Я бы не сказал, — ответил спокойно капитан, доставая пачку библиотечных карточек из стола. — Меня интересует контраст социальный. Верхнее и нижнее разложение. И именно Испания.

— А из художников главным образом кто? Сурбаран, Алонсо Кано, Мурильо, Вальдес Леаль?

Капитан закачал головой.

— Ах да, совсем забыл. Значит, Веласкес?

— Именно он, и только он, — решительно отрезал капитан. — Вы обращали внимание на тот факт, что лица инфант, принцев, графов и лица шутов в чем-то схожи?

— Интересно, — снова замер я от неожиданности, вытаскивая из памяти портреты дона Карлоса, Филиппа Четвертого, карлика-уродца Себастьяна де Марро, дегенеративно-растерянного дурачка Бобо дель Корио. — Удивительное наблюдение, — сказал я. — Больше того, лица дебилов умнее королей и графьев.

— Знаете анекдотец: я начальник — ты дурак, ты начальник, я — дурак? — капитан рассмеялся.

— Меня поразил ваш вывод о сходстве дегенератов с правителями страны, — сказал я. — А почему именно в Испании? Тоталитарный режим, костры, инквизиция?..

— Не совсем так, — сказал капитан. — Семнадцатый век — это уже иная Испания, когда вместо костров одни угли да пепел, уже инквизиция прошла, наступило вырождение, оттепель. История превращается и в фарс, и в новую жестокость. Нужна иная тоталитарность. Но кто ее создает? Шайка этих дегенератов? Все эти доны Карлосы, Филиппы, Бальтасары, Изабеллы...

— Может быть, шуты? — сострил я весьма неуместно.

Но капитан не поддержал шутки. Напротив, серьезно ответил:

— Возможно. Над этим надо подумать. Знаете, мне показалось, что Веласкес обобщает историческую мысль того времени и, выражаясь сегодняшним языком, выходит на прогнозирование. Не случайно все шуты одеты в королевские костюмы, а многие представители голубых кровей наряжены в простые охотничьи одежды

— Но это же внешнее, — сказал я.

— Извините! — помахал пальчиком капитан. — В настоящем искусстве нет случайных деталей. Но я не об этом. Есть в Веласкесе и иная линия власти. Помните портрет Иннокентия Десятого? Вот образец самодержца. Заметьте, все короли стоят, и только Иннокентий Десятый сидит как король, и поза исключительно королевская.

— Я хорошо помню портрет Иннокентия Десятого. Кстати, когда я читаю о Борджиа, не о герцоге Валентино, а о папе Александре Шестом, я вспоминаю именно Веласкеса, написавшего Иннокентия Десятого в красной мантии.

— Немудрено, что есть сходство. Александр Шестой был испанцем и, как свидетельствуют историки, принадлежал к одному из самых коварных и развращенных родов испанской правящей верхушки. А Иннокентий Десятый тоже был испанцем, или он итальянец?

Этого я не знал. Меня неожиданно поразили, с одной стороны, знания и характер размышлений человека, занимавшего столь необычный пост, а с другой стороны, мне показалось, что я нечто подобное давно слышал уже там, в прежней моей жизни, когда дружил с Вершиным и Блодовым. А капитан между тем все больше и больше оживлялся, предлагая мне обратить внимание на контрасты социальные в творчестве Веласкеса. Он продолжал говорить о самых тонких вещах испанской живописи, и мне делалось, по мере того как разгорался его живописный пыл, так сладко, точно я сидел вовсе не в двухэтажном доме особого назначения, а, скажем, в директорском кабинете Лувра или Эрмитажа, и мне несли напоказ шедевры, комментируя каждое полотно.

— Хотелось, чтобы вы в своей лекции проследили вот эти линии падших дегенератов и дегенератов еще не падших, но обреченных, дегенератов на троне... Я бы хотел, чтобы ваши наблюдения основывались на фактах. Скажем, нельзя ли обобщенно выйти на какой-нибудь генетический код, зафиксированный в чертах лица? Здесь можно и циркулем поработать. Думается, что лучше начинать с анализа портрета. Причем идти не сверху вниз, а снизу вверх. И этот принцип соблюдать во всем. Скажем, измерьте подбородки у этих идиотов-полудурков и у правителей. Я это пробовал. Дегенератизм, не замечали, начинается с подбородка. Подбородок — это одна из самых характерных черт человека. Подбородок неприметен. Он внизу, сюда стекает все характерное, вся суть личности. Посмотрите, какой набалдашник у графа Оливареса. Это же чудовище, а не подбородок. Им можно сваи забивать. Не какая-нибудь пятка, а свиной зад, заросший черной шерстью. А подбородок дона Карлоса. Тоже мне инфант. Полный разложенец. А туда же, в правители метит. Сравните подбородки принцев и инфантов с подбородками идиота-карлика из Веласкеса...

Капитан сыпал терминами, именами, фактами так, будто родился в Испании и был личным другом какого-нибудь дон Гаспара де Гусмана графа де Оливареса. Причем он, чтобы подчеркнуть свое профессиональное знание, называл имена полностью.

— Вы так прекрасно знаете живопись.

— А я художник. Профессиональный. Что, удивляет? Да, я оставил искусство, потому что понял, что тех средств, какими располагает искусство, недостаточно для моего самовыражения. А потом я не колорист.

— А кто колорист?

— Суриков, скажу я вам, колорист, а вот Репин — не колорист.

— Непонятно, — воодушевился я, хотя почувствовал, что капитан в самую точку попал.

Вместе с тем в моей голове застряла фраза капитана: «Средства искусства оказались недостаточными для самовыражения». Что бы это значило? Сейчас он тоже самовыражается?

— Я догадываюсь, о чем вы думаете, — сказал капитан. — Вы гадаете, почему все же я пошел в ЖЗЛ работать, а не стал заниматься живописными поделками. Могу прямо ответить. Меня на этот путь натолкнул Макаренко. Помните, как он говорил о том, что работники государственной службы это новая порода людей, противостоящая старой интеллигенции? Новая порода — это значит определенным образом устроенная нервная система. Но это и знание мировой культуры, психологии, истории, путей развития. Сейчас как никогда и нигде требуется человек нового образца. Кованный из чистой стали, выражаясь фигурально, с душой ангела, если у них есть души...

Я раскрыл рот, чтобы возразить, но он перебил меня.

— Вернемся к нашим баранам, — продолжал капитан. — Вспомните, как бился Суриков над цветом шубы боярыни Морозовой. Кстати, вы не находите связи между девицей Морозовой и суриковской мадам?

— Какая же тут связь? Фамилии?

— При чем здесь фамилии, — сказал он. — Странно, вы установили связь между Савонаролой и Аввакумом и не задумались о развернувшейся на ваших глазах трагедии. А между Суриковым и Веласкесом вы тоже не находите связи? — неожиданно спросил капитан.

— Не нахожу, — ответил я.

— А меня на это полнейшее сходство натолкнул сам Василий Иванович. Взгляните на эту карточку.

На карточке были написаны слова Сурикова, адресованные Павлу Петровичу Чистякову: «Я заканчивал осмотр галереи, как встретился лицом к лицу с «Папой Иннокентием X». Я замер. Этот подбородок, давящий, жестокий, рот с оттопыренной нижней губой алчного сластолюбца, хищные глаза... Это живой человек. Это выше живописи... Для меня вся галерея Рима — это портрет Веласкеса. От него невозможно оторваться. Я с ним перед отъездом из Рима прощался, как с живым человеком...»

— Смотрите, анализ у Сурикова тоже идет снизу вверх. И на первом месте подбородок. Я хотел бы, чтобы вы сравнили подбородки на суриковских картинах с подбородками в картинах Веласкеса... Есть над чем подумать. А отсюда и колористика. Суриков са-

мый великий в мире колорист, потому что его цвет обладает свойствами социального свечения. Вспомните казнь стрельцов, лица Петра, Степана Разина, вспомните Меньшикова, Морозову и рядом юродивых, приживалок, монашек. А разве можно представить себе боярыню Морозову в одежде другого цвета?

А вот репинского убиенного царевича можно в любые одежды нарядить. Замените ему зеленые сапожки на розовые, а кафтан сделайте зеленым, а не красноватым, что изменится? Ничего. Мне все это не случайно пришло в голову.

— Я не согласен с вами относительно Морозовой. Вообще не согласен с Суриковым. Морозова — одна из прекрасных русских женщин. Образованна, умна, главное, добра. Героическая смерть и героическая жизнь. Конечно, фанатизм и прочее, но это не главное в мученице.

— Вы бы ее по-другому изобразили?

— Именно по-другому. Я написал бы ее такой, какой она казалась ее гениальному соотечественнику — протопопу Аввакуму. Я бы написал ее в белорозовых одеждах на фоне глинистой стены. Она ведь была ослепительно прекрасной...

— Ну, в этом, по крайней мере, вы находите сходство с Ларисой Морозовой? — неожиданно перебил меня капитан.

Я не вытерпел:

— Что вы хотите от меня? Что вы ищете?

—Я определенно ищу, и скажу вам об этом, но всему свой черед. А над вашей трактовкой боярыни надо подумать. Это крайне любопытно. И это не случайно. Убежден, что не случайно.

— Нет ничего случайного в этом мире, — это сверху мой сожитель мне снова подмигнул. — Ты слушай, болван, как надо искусство применять к сегодняшним обстоятельствам. Слушай капитана, покорись ему. Он главный хозяин на земле. Ему принадлежат горы и реки, озера и поляны, искусство и заводы, старики и женщины. Слушай и впитывай. Думай, к чему он клонит.

Это-то я как раз и хотел выяснить.

— Я хотел бы еще раз спросить относительно этой самой социальной контрастности. Вы считаете, что эти юродивые у Сурикова и дебильные шуты у Веласкеса как-то повязаны между собой? И что эти шуты могут?..

— Вот именно. Могут, — утвердительно закивал головой капитан. — Всегда могли. Неизвестно еще, кто сильнее — карлик, пигмей и этот полудурок из Вальекаса или Родриго Борджиа и Иннокентий Десятый...

— Вы так прогрессивны! — вырвалось у меня.

— А вот на такой вывод становиться не следовало бы. Типичное заблуждение: стоит кому-либо сказать радикальную глупость, как сразу в ранг прогрессивности заносят любую посредственность. Шутовство — это радикалы. Настоящее искусство учит Любви, Целомудрию, Святости, а стало быть, Лояльности. Шуты никогда не были лояльными. Они всегда зеркально отражали крамолу. Инакомыслие, скрытое под маской дегенерата, опаснее инакомыслия открытого. Шутам нужны дебильные рожи, чтобы скрыть свой ум. А правителям, чтобы скрыть свою глупость.

— Это если по большому счету..

— Только по большому счету надо подходить и к искусству, и к социальным противоречиям.

— Вы так разбираетесь в искусстве, — снова вставил я. — Как же вам я смогу лекцию читать?..

— Не мне читать. Коллективу. Мне одному не в силах осуществить замыслы, которые намечаются в этом доме. Как видите, я откровенен с вами. До позвоночника откровенен. Я, как и вы, здесь человек новый. Мне труднее в чем-то, чем вам. Приходится бороться с устоявшимися методами...

— Я не смогу прочесть лекцию, — решительно сказал я. — У меня не так мышление поставлено.

— Хорошо, прочтите так, как вы читали в прошлый вторник во Дворце культуры.

— Вы и это знаете?

— Племянница моя без ума от ваших чтений.

— Племянница?

— Шафранова Света, ваша ученица...

Это было совсем неожиданным для меня. И капитан это понял.

— Сказать вам правду? — вдруг спросил он, как бы погасив свое воодушевление.

Я пожал плечами, однако подался вперед, весь в слух обратился.

— Самое главное ваше достоинство — это поразительное умение связывать все в один узел: эпохи, манеры, соусы и анчоусы, разные искусства и политические направления. Я поражаюсь, с каким искренним правдоподобием вы нарушаете любые законы. Ваш опыт чтения синтетических лекций, такое соединение истории, экономики, географии, литературы, русского языка в один единый творческий процесс да плюс удачная драматизация — это любопытно.

— Вы считаете, что это интересно?

— Это не то слово. Это необыкновенно. Школу надо растормошить. И вы это пытаетесь делать великолепно. Но мне непонятно, как же при этом вы не увидели связи между обеими Морозовыми: суриковской боярыней и девицей, покончившей с собой в номере на вокзале.

— Но какая связь? — снова удивился я. — Разве?

— Не торопитесь. Связь есть. И Веласкес тоже многое может объяснить. Подумайте, ми-л-лый, — снова употребил он неуместное в этих стенах словцо. Употребил, впрочем, как-то вскользь, без того прежнего нажима, к которому прибегали и он, и мой сожитель. — Подумайте. Желаю вам всего хорошего. У меня на два тридцать назначена встреча. Осталось три минуты. Всего наилучшего.

8

До конца я, наверное, и объяснить не мог, почему от меня отвернулись Рубинский, Бреттеры и Вольнова.

Догадывался. И боялся своих догадок. Скользкая, сырая глубина падения — вот на что наталкивалось

постоянно мое собственное осязание. Ноздри, мозг, сердце улавливали враждебный дух застоявшейся мокроты. Единственно, чего хотелось, так это чем-то заслониться, куда-то спрятаться, рассеять тревожность, которая охватила меня.

Я понимал, что источник таится где-то рядом: спрятан в происшедших событиях, которые сплелись в один узел, и этот узел перехватил мне горло, отчего душнота появилась, одним словом, невмоготу было. В моем воспалившемся сознании было все перекручено: и Морозовы, и капитан, и недавние мои виражи на конференции, и Новиков, и мама, и появившийся лихорадочно ищущий спасительный блик в моих глазах, особенно в правом, который всегда чуть косил, — все это крепко перемешалось. И не думать об этом я не мог. Теперь я был один. Совсем один. Новиков или капитан отрезали у меня все пути к общению с другими. Я понимал, что мне нельзя проговариваться. Да и капитан дал понять: поменьше болтать надо. И я подтвердил: никому. Моя личная тайна стала государственной. И эту тайну капитан крепко наматывал на свою руку, отчего узел затягивался больше.

Я понимал, с одной стороны, всю бредовость высказываний капитана относительно сходства Сурикова и Веласкеса, а с другой стороны, неопровержимая связь все же была. Ведь стоял же, черт возьми, Суриков напротив портрета Иннокентия X. Быть в Риме и выделить только один портрет — что за ерунда. Но факт остается фактом.

И Морозова Лариса так похожа на суриковские портреты, на боярыню Морозову. Этого тоже не сбросишь со счета. А его точные наблюдения относительно шутов и королей. Кто он такой? Почему он так со мной говорил? Чего я ему лишнего наляпал? А может быть, и впрямь он мой единомышленник? У них тоже что-то произошло, раз стали к стенке своих ставить. Может быть, и этот капитан ставил. Кто-то же должен приговоры вершить. А ну, закройте глаза, я курочек нажму, чтобы полнее потом осуществляться. Живопись живописью, а стенка стенкой. В живописи попробуй себя реализуй, сто тысяч стилей, от мазни да от вони одной одуреешь, а тут бац — и готово. И чего он от меня хочет? Выпытывает, выслеживает, выковыривает. Думает, что обманет. А вот бы взять да и обмануть его, обвести вокруг пальца.

Так думалось. А в другом конце башки кто-то, может быть и некто третий, лихорадочно вел поиск: как защититься, чтобы надежность была. И решительности прибавилось мне, когда подсказалось мне из самого-самого дальнего, наверное, угла мозга, что не следует носа вешать, что даже на Рубинского, Вольнову и Бреттеров плевать. У них свои игры, свои дела. А у меня все свое. Мне бы достичь того, что задумалось и екнуло у самого сердца, а там уж как бог пошлет. Придут ко мне Вольновы, и Бреттеры, и Рубинские. Придут, как только снова увидят меня на вершине, где чистый озон. Где живительная влага. Где спасение духа.

И к поиску я кинулся в тот же день. И этот поиск пошел через книжечки, где и про Морозову, и про Веласкеса было написано. Не мог избавиться от навязчивой идеи. Как сел за стол да раскрыл книжечки, так и проковырялся в них часов двенадцать подряд. И мысли поразительные пришли. И такие мысли, что аж страшно делалось в голове. И оправдывалось все, потому как мой поиск не только для себя, то есть личных целей шел, но и с моей школьной работой соединялся. То есть как только стал я читать про Морозову да про Веласкеса, так в моей голове выстроилась цепь оригинальных сцен, которые мы с детьми непременно поставить должны. Зацепились имена и события разные: Разин, Болотников, Робеспьер, Нечаев, Спешнев, Достоевский.

Особенность моей души состоит в том, что она вроде бы и делима на разные части, и каждая сама по себе может жить, и некто третий в ней может противостоять другим «я», а вот все же все в ней (в этом и состоит особенность) намертво прихвачено. Не могу делать десять разных дел, точнее, делая десять разных дел, я их все же все до единого подчинял одной идее. И все подчинялось главному, все к нему подключалось, и уже от главного фокусирующего начала рассеивалось по всему, что охватывалось моим деятельным существом.

Моя новая суть, моя тревожная настроенность мигом материализовалась в общении с детьми. Они немедленно включились в поиск. Зажили моими тревогами, потому что это было действительно интересно. Занимаясь театром, литературой, живописью, этикой одновременно, мы подошли к Сурикову, так, впрочем, и по плану было, и ребят вместе со мной понесло по всем тем местам, где был русский художник. Понесло от Красноярска до Милана, от Милана до Флоренции, от Флоренции до Санкт-Петербурга и так далее.

Связь времен, пространств, душ человеческих.

Связь всего живого на этой земле, расцвета и упадка, низкого и высокого, прекрасного и уродливого, женского и мужского, человеческого и панчеловеческого, — все эти связи вдруг стали ареной моих открытий.

— Нет, вы посмотрите! Посмотрите! — это Света Шафранова вбежала однажды с двумя альбомами Сурикова. — Сравните эти два портрета. Это же одно и то же лицо.

Несколько портретов Екатерины Александровны Рачковской, женщины из Красноярска, удивительно как схожи с портретом прекрасной итальянки, бросающей цветы на римском карнавале. Такой же тонкий нос, несколько удлиненное лицо. Едва заметные ямочки-впадинки на щеках. И точь-в-точь — губы, и верхняя губа едва заметно приподнята вверх.

— А вы знаете, я недавно где-то видел именно это лицо, — сказал Саша Надбавцев.

— В Риме, разумеется, — подсказывает Света.

— Нет-нет, в Красноярске, отсюда рукой подать, каких-нибудь три тыщи километров. Смотался и прискакал, — это Оля.

— Да видел, видел же я. Клянусь вам чем угодно — видел. Даже могу сказать, где я видел...

— Где же ты видел? — улыбнулся я.

— Вспомнил. На вокзале видел. Еще у нее розовый платок был. Такой шерстяной. Вокруг шубы...

— Уже и шуба была, а может быть, еще что-то было, скажем, олени или носороги рядом, — это снова Света.

Саша между тем вдруг переключился на Светку. Он даже, как мне показалось, чуть-чуть побелел.

— Ты чего вылупился? — вдруг перепугалась Света.

— Да она же на тебя похожа, эта итальянка! — Саша был восхищен своим открытием.

— На итальянку еще куда ни шло, лишь бы не на боярыню Морозову. Эта, если приснится, заикой станешь.

— Дура. Раз на итальянку, значит, и на Морозову...

— Что же, и там сходство? — спросил я.

— Конечно, сходство. Боярыня была первой русской красавицей, а здесь она в цепях, измучена вся, а лицо то же.

— Не болтай глупости, — вмешался я.

А сам думал, что ведь верно, есть сходство во всем этом. И испугался этой уличенности, будто все это ко мне сегодняшнему имело прямое отношение: не просто итальянка с боярыней, не просто картина, а живая жизнь. Моя жизнь со всеми тревогами.

* * *

Я просмотрел сценарии, написанные моими девятиклассниками. Ребятишки побывали во многих домах, где имелись хорошие библиотеки. Им помогали Тарабрин и Бреттер. Сценарии были наполнены живыми кусками из сочинений историков, писателей различных мемуаров и научных отчетов. Но самое главное их достоинство состояло в попытке примериться к временам прошлого, соединить различные времена, чтобы приблизиться к пониманию исторической правды, сегодняшних проблем человеческого бытия.

Я решил устроить неделю конкурса сценариев. Точнее, мы пришли к выводу, что это будет не конкурс в собственном смысле этого слова, а, скорее, прочтение и обсуждение тех событий, которые изложены в сценариях. Эта затея давала моему синтетическому замыслу что-то новое, поскольку к сочинительскому и театральному делу прибавлялся исследовательский момент. Во время обсуждения сценариев можно было проговорить те важные идеи, на которых останавливались юные авторы.

Первыми стали читать свой сценарий Саша Надбавцев и Валерий Чернов, написавшие сценарий под названием «Апрель 1682 года».

— **Акт первый** — «Казнь», — читал Саша. — **Сцена первая.**

Действие происходит в зимнюю ночь в избе на берегу Печоры. За столом стрелецкий капитан Иван Лешуков, приехавший казнить «без пролития крови» Аввакума и его товарищей, и воевода Андриан Хоненев.

Лешуков *(шепотом)*. В письмах своих покойного Алексея Михайловича называл безумным царишком. Срамные слова глаголил. Будоражил и подстрекал мятежников, которых по Москве на крещение было видимо-невидимо. Метали в народ листки при самом патриархе и царе. В кремлевские соборные церкви прокрались, ризы и гробы дегтем измазали. Это все Аввакум и сотоварищи смуту и соблазны сеют на Руси!

Хоненев. Стрельцов у нас мало. Народ на казнь прибывает уже из Малой и Большой тундры. Чуда все ждут.

Лешуков. А что узники? Шумят?

Хоненев. Где уж там? Троим языки выковыривали дважды. Немощные. Вели сотника позвать. Он расскажет. *(Входит сотник.)* Сруб готов?

Сотник. Еще вцерась. Цетыре на цетыре аршина. На болоте. Не подступиться всем. Увязнут.

Лешуков. Сам-то не увязнешь?

Сотник. Тропу проложили.

Лешуков. А народ что?

Сотник. Цюда ждут. Аввакум крицит: «Не сгорю. Плоть, может, и сгорит, а душа к небу уйдет. Судьба божия разрешится».

Лешуков. Не разрешится. Вот указ царский: «Казнить без пролития крови». За великие на царский дом хулы казним. Поделом вору и мука. Скажи там на посаде, чтобы языки прикусили, иначе худо будет. Плетьми запорем каждого, кто смуту чинить станет. Иди, и чтобы роженье сухое было, вмиг чтоб сгорели.

Сцена вторая

Из тьмы земляных ям на поверхность вытащили протопопа Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания.

Лешуков. Прощайтесь.

Аввакум. Прости меня, Федор. Свет мой, батюшко, прости меня. Обижал я тебя. За пятнадцать лет в тундре душой зачерствел. Настал черед очиститься в огне. Иссохла душа моя. Нет в ней ни воды, ни источника слез. Прощай, батюшко.

Федор. И ты прости меня, свет наш! Чудо должно свершиться. Ужаснится небо и подвижатся основания земли.

Чтение прервала Соня:

— А как же Федор разговаривает, коль у него дважды язык вырывали?

— Они обрубками языков научились говорить. А потом, в театре условность допустима. Допустима? — это ко мне вопрос.

— Допустима, — отвечаю я. — Меня сейчас другое интересует: насколько бережно вы отнеслись к самим историческим фактам.

— Все выверено по книгам и документам. — ответил Валерий. — Не придерешься.

— А лексика?

— Тут сложнее. Мы слегка обновили лексику.

Саша продолжил чтение:

Аввакум *(Лазарю)*. Боишься? Огонь не страшен. Повидать бы родненьких моих детишек да Настасьюшку. Страшно уйти, не попрощавшись. А огонь — раз плюнуть. Войдешь — и светлый покой наступит. Огонь только плоть съест, а души не коснется. Огонь — это наш дар божий. Благословен бу-

ди, господи, во веки веков! Аминь! *(Епифанию.)* Благослови, отче.

Епифаний. В чистоте пребывай. Всегда будешь ты для верующих духовным отцом. На славу Христу, богу нашему. Аминь! Прощай, Аввакумушко. Бог дал нам все: твердое сердце и добрую волю, избранниками своими нас сделал. Поспешим и сделаем последний земной шаг.

Аввакум. Нет, отче, дозволь мне первому в сруб войти.

— **Сцена третья,** — читал Саша. — В срубе в четырех углах привязывают стрельцы приговоренных к сожжению.

Лешуков. Покрепче прихватывай.

Стрелец первый. Да куда уж крепче. Вишь, рука хрустнула.

Аввакум. Руки-то можно было и не привязывать. Сожжению предать велено, а не распятию. Руки-то оставь, батенька.

Лешуков. Оставь руки. Велено сжечь, а не распинать.

Лазарь. Глоточек бы, батюшко, белого вина...

Лешуков. Чего он просит?

Второй стрелец. Вина просит.

Лешуков. В последний час согрешить хочешь? А что Аввакум?

Аввакум. Дайте вина. И в Писании написано, что глоток вина не грешно. А в стужу...

Лешуков. Дать вина белого!

Третий стрелец. Вот хворост, а вот и огонь. Как приказано будет?

Лешуков. Слово покаянное даю тебе, вор и разбойник, Аввакум Петров.

Аввакум *(людям)*. Держитесь! Не отступайте! Не доверяйтесь царям-иродам! За отеческое предание умирайте. За истину на костер идите! За добрые дела погибнуть не бойтесь. А ежели оступитесь, конец всему.

Ветер подхватил и разнес пламя.

В классе стояла тишина.

— Часть вторая, — продолжал Саша. — Пусть Валерка прочтет дальше, он больше над второй частью корпел.

— Погоди, — попросил я. Что-то подсказывало повременить. Поразмыслить.

В классе стояла тишина. Никто не решался повернуть выключатель. Будто рядом витала святая тень протопопа и его мятежных союзников. Приобщение к великому их духу состоялось.

Кто-то должен был нарушить эту трепетную напряженность.

— Это необыкновенно по чистоте своей, — сказал я. — Но вот этот эпизод с белым вином...

— Вы думаете, кощунство? — вскипел вдруг Саша. — Нет и нет.

— Но какая мысль?

— А это характерно. И дело не в том, что распоп Лазарь любил выпить. К нему даже жена приехала в Пустозерск. На последние гроши она покупала спиртное и через подкупленных стражников переправляла вино в острог. И Аввакум прощал Лазарю, потому что тут тоже великая мысль. Человек — не господь бог. Он грешен. Но силен раскаянием своим, жаждой очиститься. И Лазарю прощал суровый протопоп его слабости. Научился прощать — и в этом его величие.

— Нет, ты о другом, о самом главном скажи, — перебил товарища Чернов.

— А самое главное тут вот что, — продолжал Саша. — Цари и военачальники боялись праведников. Лешуков ведет себя точь-в-точь, как вел себя Алексей Михайлович. Царь любил Аввакума. Он и сам бы не прочь стать таким справедливцем. Но у него другое назначение. Он должен казнить. Он глава полицейского государства. И будь он семи пядей во лбу, а все равно он должен сжигать, распинать, вешать всех, кто правдой воду мутит в его государстве. Был такой эпизод однажды. Дементий Башмачкин, полупалач, полудьяк страшного Приказа тайных дел, после долгих пыток и истязаний подошел к Аввакуму и ни с того ни с сего сказал:

— Протопоп, велел тебе государь наш Алексей Михайлович передать: «Не бойся никого, надейся на меня».

Изумили эти слова протопопа, который уже и сана-то священного был лишен. Только недавно в Успенском соборе срезали протопопу бороду, оборвали, как собаке, волосы на голове, отлучили от церкви, и он проклял отлучивших. Духовная казнь сопровождалась муками физическими. Накинулись на Аввакума церковники, сторонники Никона, избили непокорного протопопа. Трижды терял сознание Аввакум, трижды его холодной водой обливали, на ноги ставили и снова били и таскали по полу... И вдруг тайный палач говорит такое Аввакуму. Глазам и ушам своим не верит Аввакум. Переспрашивает он Башмачкина:

— Что же, так и сказал державный свет наш царь-государь и великий князь?

— Приказано тебе памятовать, что царь-государь всегда к тебе на помощь придет.

Поклонился Аввакум Башмачкину.

— Передай, говорит, батюшке, прославленному царю нашему, что достоин я, окаянный, грехов ради своих темницы суровой, казней лютых. Только просьба одна: пусть позаботится он, святая душа, о чадах моих, о жене моей, о страдающих всея Великия и Малыя и Белыя Руси.

— Передам, передам, — отвечал Дементий шепотом, спускаясь тайным ходом к Москве-реке.

— И вот здесь-то интересно, — продолжал Саша. — Аввакум в «Житии» все время подчеркивает к себе доброе отношение царя. Он говорит, например: «Братию казня, а меня не казня сослали». И такую страшную казнь чинят на глазах у Аввакума. «Лазарю, рассказывает Аввакум, взяли да выковыряли весь язык из горла. Мало крови пошло, а потом и совсем перестало. Он же и стал говорить без языка. Потом велели ему положить правую руку на плаху, по запястье отсекли, и рука, отсеченная, на зем-

ле лежа, сложила сама персты по преданию и долго лежала перед всеми: исповедала, бедная, и по смерти знамение спасителево неизменно... Я на третий день сам рукой во рту у Лазаря, рассказывает Аввакум, щупал и гладил — нет языка, а не болит...»

В знак протеста объявил Аввакум голодовку, десять дней не ел, да товарищи велели принимать пищу. А однажды к его темнице подъехал сам царь. Расспрашивал у стражников, как ведет себя протопоп. Посочувствовал, а не зашел к Аввакуму. И протопоп по этому поводу скажет в своем «Житии»: «Жаль ему меня было».

— Как же это понять? — спрашиваю я.

— Невероятно, — шепчет Оля.

— А разве у Пушкина с царем не так было? — сказал Саша.

— Сравнил!

— Разницы никакой. Поэт только тогда поэт, когда он пророк. А протопоп и есть настоящий ПРОРОК!

— Это мысль! — поддержал я и прочел строки из Пушкина:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык...

И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

— А что? Сходится.

— Дело не во внешнем, — сказал я. — Аввакум был человеком необыкновенной души... Привыкли считать, что главная особенность Аввакума — неистовость, несгибаемость, а вот Света увидела в нем большую любящую душу. Душу нежную. И в этой нежности великая его сила. Мы прервем чтение сценария. И предоставим слово Светлане.

— Я еще не написала свой сценарий и могу только зачитать материалы, которые удалось собрать. «Боярыня Морозова, девичья фамилия Соковнина, родилась в тысяча шестьсот тридцать втором году. В тысяча шестьсот сорок девятом году семнадцатилетняя Феодосья Соковнина была отдана замуж за боярина Глеба Морозова. В тридцать лет боярына овдовела, то есть в тысяча шестьсот шестьдесят втором году. В тысяча шестьсот семьдесят первом году Морозова была арестована, заметьте, в этом же году был казнен Степан Разин».

— А при чем здесь Разин? — спросил Надбавцев Саша. — Какая связь?

— Поясню, — спокойно ответила Света. — Я прочла тут несколько книжек, Мордовцева в том числе, был такой писатель-историк, и нашла интересные факты.

— Какие?

— А такие, что есть прямая связь Морозовой, Разина и даже Никона...

— Например?

— Слушайте. Боярыню знала вся Москва. Когда выезжала ее золоченая карета, запряженная двенадцатью белыми аргамаками, в сопровождении двухсот-трехсот разряженных холопов, вся Москва высыпала, сам царь дивился ее выезду, низко кланялся, а уж бояре да князья, так те на месте застывали, почтение свое великой боярыне выказывали. Всякий нищий мог подойти к окну боярской кареты, и белая ручка боярыни опускала нищим либо алтын, либо денежку, а из другого окна страшная, жилистая грязная рука какого-нибудь юродивого раздавала медяки, и шествие продолжалось часами, останавливалось, юродивые представление давали — мог боярыню видеть и Разин, должен был видеть ее, великую красавицу, чье имя тогда у всех на устах было... То, что нити шли от Аввакума и Никона (да, да, именно так!) к Разину, — это сущая правда! Никогда еще Россия так не горела огнем духовных исканий, как в этом семнадцатом бунташном веке. Россия пылала от костров, на которых сгорали жаждущие духовного обновления. Сжигали себя семьями, деревнями. Петр появился не случайно. Он был необходим, чтобы прекратился этот зловещий апофеоз смерти. История не знала такого массового отречения от жизни. Такой жажды истинности. Я нисколечко не удивилась, когда узнала о тайном духовном единении Разина и Морозовой. У меня никакого нет сомнения в том, что Аввакум причастен к казаческим бунтам. Вот здесь написано, — и она прочитала из толстой книги: — «Вслед за собором тысяча шестьсот шестьдесят седьмого года Досифей, игумен Никольского Беседного монастыря близ Тихвина, бежал вместе с иноком Корнелием на Дон и пробыл там три года».

— Ну и что? — спросила тихо Соня. — Что это доказывает?

— Подождите. И Аввакум и Морозова были связаны с вольными людьми на Дону. Этот Досифей был духовным отцом многих раскольников, это он постриг боярыню Морозову и причастил ее сына Ивана Глебовича. Я думаю, что писатель Мордовцев близок к истине, когда утверждает, что Разин бывал в Москве, встречался и с Никоном, и с Морозовой. Вот некоторые мои зарисовки:

Никон. Я рад тебя видеть, Степан. Что у вас на Дону слышно?

Разин. О московском настроении ходят слухи. На тебя-де, великого патриарха, гонение неправое от бояр.

Никон. И то правда. Боярам я поперек горла стал — не давал им воли, так они на меня наплели великому государю многие сплетни, и оттого у меня с Алексеем Михайловичем на многие годы остуда учинилась. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распаляли сердце государево. Теперь меня хотят судить попы, да чернецы, да епископы! Дети собираются судить отца! А у меня один судья — Бог! Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издевки творят, мое имя ни во что не ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого патриарха, выгоняют, как оглашенного, ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная под собой страха, играют святостью, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что чинит: научил сво-

его пса сидеть на задних лапах, а передними — благословлять!

Разин. Собаку? Благословлять?

Никон. И называет эту собаку Никоном-патриархом. Когда соберутся у него гости, он зовет пса и кричит: «Никонко, пойди благослови бояр...»

Разин. Тряхнуть надо Москву за такое надругательство! Бояре хуже басурман. Мы с них сдерем шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки, давно обносились.

Никон. Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов. Я суда не отметаюсь! Токмо за что судить меня? Я сам по доброй воле сошел с престола, боясь гнева царева да боярских козней. Садись, Степан, что ты встал?

Разин. Пойду в Соловки ныне же, чтобы к весне на Дон воротиться. А твое благословение на Дон будет?

Никон. Я Дон благословляю иконою.

Разин. А что мы казацкою думою надумаем — и то благословишь?

Никон. Благословлю. По тебе сужу, что донские казаки не сути рабы ленивые. У тебя, Степан, я вижу, на душе горе есть. Кто виною печали твоей?

Разин. Те же, что и твоей, владыко святой.

Светлана замолчала. В классе было тихо. Чернов не выдержал тишины, сказал:

— Дальше что?

— А дальше у меня наброски, — сказала Света.

— Пусть прочтет, — предложил Валерий.

— Однажды в июльскую ночь тысяча шестьсот семьдесят первого года Морозова с сестрой Акинфией тайно принесли Степану Разину крест и чистую сорочку.

— Не могу пустить к нему, — сказал им охранник. — Знаю, что по заповеди блаженного протопопа Аввакума надо бы узничку утешение духовное преподать, по слову Христа Спасителя: «заключенных посетите». Утром передам ему все, что ты принесла, боярыня, а пустить к нему — ни боже мой!

В это время из нижнего окна приказа, из-за железной с острыми зубьями решетки послышалось пение:

Не шуми ты, мати зелена дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

— Всесильный, спаси его, — тихо проговорила Морозова.

Песня мгновенно оборвалась. В окно выглянуло бледное лицо Разина.

И вот казнь.

Стенька смотрел в толпу, точно искал кого-то. На нем была чистая рубаха — подарок Морозовой.

Палач обхватил топорище обеими руками, занес топор над головой и ударил — левая рука Стеньки стукнулась об пол. Палач зашел с другой стороны, нацелился.

— Руби! — и правая нога отлетела.

И вдруг глаза Степана Разина вспыхнули, и лицо его преобразилось счастьем. В толпе он увидел ее — то светлое видение, которое крестило его из окна, а ночью приходило к тюрьме с крестом и с белою сорочкою. Она глядела на него, осеняя крестом, и плакала. Сам он уже не мог перекреститься — нечем.

— Прощайте, православные! Прощай, святая душа, — крикнул он.

— О боже, всесильный и вечный! Сподоби мя таковых же мучений ради тебя, — прошептала Морозова, стоя в толпе рядом с сестрою Акинфеею в одежде чернички. А палач рубил тело Степана на куски, как рубят воловью тушу, и сподручники его втыкали эти кровавые куски на колья.

В день казни Стеньки, ночью, пришли и к Морозовой, пришли по ее душу по велению царя; власть теряла под собой почву; люди из боярских и купеческих семей, из мужичьих изб и из монастырских келий добровольно и с радостью шли умирать. Смерти во спасение жаждали женщины!

— Сподоби мя таковых же мучений!

...Вместо ножных желез сестер приковали за шеи к стульям-колодкам. Это была самая позорящая заковка — собачья. Морозова радовалась этой заковке и с благоговением поцеловала холодное железное огорлие цепи, когда стрелец Онисимко, трепеща, надевал ошейник, а ножные кандалы, сняв с ее махоньких «робячьих ножек», положил к себе за пазуху, чтобы потом повесить под образа и молиться на них. Непокорных сестер решили позорно, «с великим бесчестием» прокатить по Москве. Впереди колесницы-дровней провезли богатую карету Морозовой, в которой она езжала ко двору прежде, в сопровождении двухсот слуг, в карету, запряженную двенадцатью аргамаками в золоченой сбруе, с верховыми на каждой, посадили ее сына Иванушку: «Мамочка, мамочка, за что они тебя так?» А потом пытки.

...На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфею, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Урусову подняли на дыбу.

— Потерпи, Дуняша, потерпи, милая, — говорила Морозова.

— Тряхай хомут! — скомандовал Воротынский. И у Урусовой выскочили руки из суставов.

Два палача подступили к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила обоих:

— Делайте доброе дело, делайте, миленькие.

Палачи растерянно глядели на нее и не трогались.

— Делайте же доброе дело, миленькие, — повторила Морозова.

— Доброе... эх! Какое слово ты сказала? Доброе?

— Ну! — прорычал Воротынский.

— Воля твоя, боярин, вели голову рубить нам! Не можем!

— Вот я вас! — задыхался весь багровый Воротынский. — Вяжите ее! — крикнул он стрельцам.

И стрельцы ни с места. Воротынский бросился на стрельцов — те отступили. Он к палачам с поднятыми кулаками — и те попятились. Тогда Воротынский

сам потащил Морозову к хомуту, и ему помог Ларион Иванов. Подняли на дыбу и Морозову. Вывихнутые руки торчали врозь...

...Дважды посылал гонцов к Морозовой русский царь Алексей Михайлович: «Хочу аз тя в первую честь возвести, богатство вернуть, откажись от Аввакума, не крестись двумя перстами, и пришлю за тобой аргамаков моих и бояре на руках понесут тебя!»

В Боровск был отправлен архимандрит Иоаким.

— Дочь моя, — начал было он.

— Али тем ты мне отец, что меня на дыбу подымал?

— Не я подымал.

— Так ты от него?

— От него.

— Не он тебя послал ко мне, а вы, отняв у него зрение и разум, прислали ко мне послом его безумие и слепоту.

— Послушай, боярыня, великий государь, помня честь и заслуги дядьки твоего, Бориса Морозова, и мужа твоего, Глеба, службу, хощет возвести тебя на таковую степень чести, какой у тебя и в уме не бывало.

— Не велика его честь, коли я променяла ее на сей вертеп. Скажи царю, — продолжала Морозова,— у меня здесь в темнице есть такое великое сокровище, какого царю не купить за все богатство. — И она указала на маленький земляной холмик, высившийся в одном углу подземелья: то была могилка ее сестры, Дуняши.

— Я хочу лечь рядом с нею, — сказала Морозова.

— Это твои последние слова?

— Нет. Еще скажи царю: пускай он готовится перед господом отвечать за сонмы казненных, утопленных, и удавленных, и сожженных. Пускай и мне готовит свой ответ за моего сына и за мою сестру.

— Ну и баба! — бормотал Кузьмищев, выходя с архимандритом из подземелья. — Сущий Стенька Разин.

— А помнишь ту ночь, когда мы с тобой ходили к Степану Разину, помнишь, как он пел: «Не шуми ты, мати зелена дубравушка?» — спрашивала Морозова у сестры Акинфеюшки в свою последнюю ночь.

— Помню.

— А на лобном месте его помнишь?

— Помню.

— А я думаю, свечечка... я много о нем думала... Не привел мне бог дождаться, чего я искала.

— А чего?

— Такой же смерти на глазах у всей Москвы.

— Что ты, милая, зачем?

— Как мы тут гнием? Никому не в поучение. А то, глядя на нас, и другие бы учились умирать.

9

Черная тень неожиданно вышла из-за угла. Я едва не отпрянул в сторону. Навстречу мне шел капитан.

— Идите за мной на расстоянии десяти шагов, — сказал он и зашагал вдоль забора.

«Это еще что за чушь?» — подумал я. И вдруг мне снова стало смешно. Игра. Как в детстве, как в кино про оккупацию. И все-таки я ковылял за ним. Хотелось догнать и спросить: «Зачем все это?» Но он шел, ускоряя шаг, и снег хрустел под его ногами все резче и резче.

Наконец он остановился перед домом. Рукой пошарил за калиткой. Открыл щеколду и вошел во двор, успев кивнуть мне головой. Я последовал за ним.

Вместе мы поднялись на крыльцо. Он открыл дверь ключом. Когда мы входили в какую-то боковую комнату, из дверей напротив выглянула женская физиономия в платке. Глаза у женщины были неприятны.

Комната, в которой я оказался, была необжитой.

— Здесь можно и поговорить спокойно, — сказал капитан.

— Как же вы меня не боитесь вводить в ваше хозяйство?

— В ваших интересах не афишировать наше общение...

Я прикусил язык.

Комнатка была не то чтобы гостиничная и не то чтобы жилая. Она была подделкой под жилую комнату. А запахи и все нутро этой комнатки как будто воспроизводили кабинет капитана в двухэтажном доме. Стулья, стол. На столе допотопный приемничек. Приемник сразу был включен, чтобы разговор наш приглушался шумом и треском.

— Вы знаете Тарабрина?

— Знаю, — ответил я.

— Какие у вас с ним отношения?

— Книги у него покупаю.

— Коммерческие, значит.

— Почему коммерческие? — спросил я. Это слово дико резануло мой слух.

— Вы собираетесь к нему?

— Собирался. Я как-то встретил его на днях.

— Знаю. У столовой.

— У столовой, — подтвердил я. — Спросил, нет ли у него чего-нибудь насчет Морозовой и Веласкеса.

— Прекрасно, — сказал капитан с еще большей заинтересованностью. — Ну и он что?

— Приходите, — говорит. — Есть у меня и про Морозову, и про Веласкеса.

— Так и сказал «про».

— Что значит «про»? — спросил я.

— Ну «про» Веласкеса, — так и сказал «про»?

— Да, так и сказал «про». Я тоже удивился. Выражается как ребенок.

— Так вот, меня интересует мнение Тарабрина о Веласкесе и Морозовой.

— Ну и спросите у него! — возмутился я. — Чего проще-то сделать...

— Я не могу. Мне он не ответит. Да и нельзя мне выходить на связь.

— А с какой стати я должен это делать?

Я не сказал, что это в чем-то некрасиво: идти к человеку, разговаривать с ним, а потом идти докладывать в специальное учреждение, когда, сколько и так далее, и тому подобное. Жуть одна! Всего этого я не говорю капитану, потому что в игру с ним играем такую. Он вроде бы меня куда-то втягивает, а я вроде бы как не хочу, да и не отказываю ему. Потом я только понял, что мне так в лоб и надо сказать было ему: «Не гожусь я для этой роли. Не гожусь, и все. Нервный я. Не высыпаюсь. Страхи мучают. Кричу по ночам. Пот льется со всего тела. Увольте». А вот так не сказал. Да еще капитан в душу влез. Да там расположился. Да еще и подписочку взял у меня, что ежели чего непристойное случится, так не утаю я, все расскажу. Зачем подписочка? А теперь к Тарабрину. Тарабрин тоже гусь. Сволочь, говорят.

Я прихожу к нему. А он рад мне. Обнимает, усаживает за стол.

— Отдам по номиналу, — говорит. — И про Морозову, и про Веласкеса. Книжечки малоценные. Примитивчики. Но первичная информация содержится. Я ведь, знаете, уезжаю. В Москву. Полная реабилитация пришла. Вы не хотели бы познакомиться с некоторыми подробностями из жизни протопопа, духовного отца Морозовой?

— Очень интересно.

— Сейчас. Держите — это «Житие», а это о нем.

Тарабрин подал мне две затрепанные книги, впрочем, листы в обеих были неразрезанные. Старые-престарые книги, а листочки как вышли из типографии блоками, страниц по шестнадцать в каждом, так лет пятьдесят никто и не разрезал листочки, не отделял друг от друга.

Тарабрин вытащил нож и стал разрезать в книжке листы.

— Вы, наверное, хотели бы знать мое мнение об этой Морозовой? — сказал Тарабрин как ни в чем не бывало.

«Дудки, — подумал я. — Гори ты хоть синим, хоть белым пламенем, а мне твое мнение просто ни к чему. Это капитан пусть сам приходит и узнает твое мнение».

А Тарабрин все же заговорил: не затыкать же мне ему рот.

— И, наверное, времена Веласкеса вас интересуют? Я смотрел ваши пьесы. Весьма любопытные экзерсисы. Эта история боярского бунта не так уж проста. И есть здесь одно «но», о котором не принято говорить. «Тишайший» Алексей Михайлович, государь русский, предшествовал Петру и тем самым подготовил реформы. Петр пошел дальше своего батеньки в жестокости. Батенька в ямы саживал, когда уже крамола достигала вершины, а Петр головы отрубливал без всяких разбирательств, за одно словцо отрубливал...

— Неужто за одно словцо? — не выдержал я.

— Обязательно за одно словцо. Вы думаете, просто все было?

— А откуда же это словцо взять царю? Откуда же знать царю, кто какое словцо сказал?

— Понимаю, понимаю. Вот об этом есть у меня книжечка. История царских доносчиков. Знаете, что такое филер?

— Что такое филер?

— О, вы не знаете настоящей истории? Дам вам почитать. И историю царской тюрьмы вам покажу. В прошлый раз мы в другую крайность с вами ушли — в кавалергардский полк да в институт камер-юнкеров заглянули, а теперь уж в самый низ спустимся.

— Вас тоже контрасты интересуют?

— А кого еще интересуют контрасты? — повернул ко мне острое лицо с рыжими растопыренными бровищами.

— Да я уж так...

— Нет-нет, вы уж скажите, кого интересуют?

— Да я так... Был у меня университетский товарищ...

— И что же, он донес на вас или заложил кого?

— Откуда вы это взяли? Просто был товарищ, который интересовался системой слежения.

— Такого слова в юриспруденции нет, — сказал Тарабрин.

— Ну не все ли равно, на каком языке сказать. Система слежки друг за другом. Как у Фуше, помните наполеоновские времена? Жульен следит за Маре, Маре за Клодом, Клод за Марианной, Марианна за Анри, Анри за Антуаном...

— Ну и что?

— Меня интересует один вопрос — замыкается ли круг или нет? То есть, следит ли первый человек, то есть Антуан за Жульеном?

— И если следит, то что?

— Тогда вся система держится на перекрещивающихся кругах.

— Ну и что?

— А то, что можно, если хорошо подрассчитать, оказаться в изолированных ромбиках, которые не охватываются кругами...

— Бред сивой кобылы! — сказал Тарабрин. — Есть еще поле. Инфекционное поле, которое всегда в радиусе слежения, как вы удачно выразились. И ромбики в поле зрения всех пересекающихся кругов. К тому же круги не стоят на месте. Они вращаются. Клод не просто следит за Марианной, он кружится вокруг ее ног, головы, нижнего и верхнего бюста, и Марианна кружится вокруг себя, вокруг своих тайн, вокруг Клода и прочее, и прочее. Таким образом, сцепления здесь основаны на особых законах притяжения, как Солнечная система, как мироздание. Я бы вам предложил познакомиться вот с этой книжкой. Вы владеете французским?

— Мог бы прочесть.

— Тема этой книжки — психология страха и предательства. Плюсы и минусы страха и предательства.

— Вы считаете, что у этих двух начал есть свои плюсы и минусы?

— Не я так считаю. Человечество так считает.

Страх нужен всем: ребенку, старику, женщине, государству, предприятию. Страх излечивает от многих вещей: от самомнения, жестокости, правонарушения, вседозволенности. Страх — это бальзам жизни. Одна капля — и мгновенно меняется структура личности. Страх — это то нормализующее и тонизирующее средство, которым должно опыляться все живое.

— А предательство?

— Предательство — это почва, на которой взращивается страх.

— А не наоборот?

— Очень часто бывает и наоборот. Здесь все способно поменяться местами. А почему вас это интересует?

— Как вы знаете, я педагог...

— Ага, кого и как воспитывать?

— Это понятно, кого. А вот как быть с этими самыми свойствами, как излечить человечество от этих мерзопакостных качеств?

— Очередное заблуждение...

— Почему?

— Потому что вредно излечивать. Страх и предательство — стимуляторы человеческого здоровья.

— Но это же безнравственно.

— А нравственность тоже продукт страха и предательства. Страх — это та глубина нравственных чувств, где навсегда оседает самое светлое человеческое побуждение.

— Вы меня разыгрываете?

— Конечно, разыгрываю, — сказал Тарабрин.

— По собственной инициативе или же?..

— По инициативе Клода и Марианны?

— Нет, нет, я не это хотел сказать.

— Я знаю, что вас мучит, — сказал Тарабрин, вставая. — Вы предали впервые. Не так ли?

Я смутился от неожиданного поворота разговора.

— Ну, конечно же, предали, — смягчился Тарабрин. — Ну-ка, вываливайте все начистоту...

— Сере-жа, — прокричали из соседней комнаты.— К тебе пришли.

Сыр-Бор поправил свой домашний пиджак и направился к выходу. Я последовал за ним.

— Я в следующий раз за книгами. Я пойду. Мне надо...

— Хорошо, хорошо, — согласился Тарабрин.

Я скатился с гулкой лестницы, выбежал в морозную темь и направился к освещенному магазину, вспомнив, что приглашен в гости.

10

На вечеринке у Толи Гера снова зацепил меня:

— В самом деле, чего ты лезешь всюду с этими пьесами? Зачем тебе понадобилась Морозова? Говорят, она кое на кого смахивает.

Гера посмотрел на меня так, будто знал о моем разговоре с капитаном. Некто четвертый зашевелился в моей башке.

— А действительно, странный выбор: шуты, Морозова, кардиналы, карлики... — Это Алина.

— Поясни! — настаивал Толя. — Действительно, поясни!

— Поясню, — сказал я. — Я ставлю то, что способно детей задеть за живое, чтобы приоткрылся их собственный мир...

— Ну, ерунда! Боярыня Морозова способна приоткрыть чей-то мир, — это Гера. — Может быть, есть что-то другое?

Я смекнул: идет дознание — Клод следит за Марианной, Марианна за Анри, Анри за Жульеном — и круг замкнулся. Надо путать карты. Петлять — прыг в левый куст. Потом в правый! Потом назад. Потом снова в сторону.

— Я поясню, — повторил я. — Это, возможно, неинтересно. Но я поясню. В каждом из нас тысячи непрожитых жизней. Непрожитая жизнь шутов и кардиналов, герцогинь и потаскух, королей и лакеев, убийц и убиенных. В каждом из нас мечется, возможно, Гамлет и Полоний, мечется и страдает красавица Морозова... — я умышленно сказал «красавица», а не «боярыня», сказал и посмотрел на Геру, и он понял, какую Морозову я имел в виду, а я зажегся горячей злобностью к Гере и сказал: — Морозова убита, замучена, растоптана, но ее страдание, ее мука, пусть фанатичная, пусть гордая в своей безысходности, но должна заставить хоть как-то, хоть в чем-то повиниться перед самим собой. Если нет в человеке тоски по чужому бытию, по состраданию, — значит, нет и человека.

Они глядели на меня совсем непонятно: то ли враждебность, то ли недоумение было в их глазах. А я хотел своим иносказанием снять недоумение, чтобы одна враждебность осталась на их лицах. И я говорил о ней, о самой истинной *идее*, в которой сошлось все самое лучшее, что было на этой земле, сошлось, а затем уже воплотилось в образ, и этот образ постоянно пугал мещанина, постоянно тревожил его нутро, и этот мещанин делал все возможное, чтобы уничтожить и сам образ, и его идею.

Я говорил, и им совершенно понятно было, что я расписываю им вовсе не образ боярыни, а воссоздаю лик той Морозовой, которую они терзали на оцинкованной плоскости. Я говорил и о детях, о том, что их самопознание, их приближение к высотам культуры идет через собственное очищение, когда они через свой труд бок о бок с трудовым людом приближаются к пониманию великих человеческих ценностей. Я говорил, и откуда только слова прекрасные брались, и они молчали, тупо и косо молчали, будто их слова загипнотизировали.

— Ну, ладно, кончайте эту бодягу, — первым очнулся Толя. — Давайте по черепочке хлобыстнем.

Алина была в центре внимания, она выделялась всем: и строгостью одежды (такое коричневое изящное одеяние — не то костюм, не то платье, а у подбородка кремовые кружева и такие же кружева из-под разреза рукава, отчего кисти рук в особой утонченности плывут над столом), и раскатистым свободным смехом, и каким-то особым блеском. Блестела кожа,

искрились глаза, алели глянцевито губы, щеки переливались всеми оттенками весенней розовости, ее зубы сверкали и рассыпали ажурную белизну — и от всего этого комната наполнялась особым струящимся ароматом, какой исходит только от необыкновенных, очень красивых женщин.

От ее огня будто все зажглись. Зажглись и пропитались ее струящимся светом. И я зажегся, и захмелел, и растворился в ее лучах. И я понимал, что здесь произошло что-то обманное, поддельное, дьявольское. И этот струящийся аромат лишь приблизительно напоминал мне запах таинственной османии, но захмелевшая душа не желала этого признать и рвалась к ней, сознавая где-то в самой глубине, что совершает предательство.

Власть ее аромата вдруг стала сильнее всех моих ценностей. И этого аромата столько наструилось, что комната наводнилась этим божественным раствором, в эту чудодейственную смесь уже без разбору сиганули и Гера, кряжистый и сухой, и Толя, несколько располневший и мокрый от пота, и я, не чувствующий ни жара, ни усталости, ни тоски.

Гера ринулся вплавь, как ловкий ватерполист, отбивая всех спиной и отгораживая Алину от других и цепкими стальными ударами рук, и сильной спиной, и отпугивающей остротой глаз. Он кружился вокруг Алины в танце, лихо выделывая такие фигуры, при которых у меня все екало и щемило внутри, в особенности когда Гера выбрасывал ногу с полусогнутым коленом и ее тело с опрокинутой головой падало, однако успев согнуться и опуститься на Герину ногу, и в одно мгновение ее ножки складывались так ровненько и так гибко, точно были одно целое, и вмиг Гера тут же подымал партнершу и снова ее кружил, а потом бросал на другое колено, и она снова дарила ему свой свет и обдавала каскадами смеха, и искры от этих каскадов достигали стола.

По их смеющимся лицам можно было сказать, что нет более счастливой пары на этой земле.

Я посмотрел на Нину. Она сидела и что-то вилкой рисовала на столе. Она подняла глаза, и в них была беспомощная жалобность, и улыбка застыла, и ожидание скомкалось, точно она говорила: «Ну и что ж, меня никто не приглашает танцевать, ну и не надо, а я очень хочу...» И во мне вспыхнула злобная жалость к Нине. Гнусная, непристойная сила подняла меня с места, я громко и неестественно расхохотался, схватил Нину и стал с ней кружиться, и ей было очень тяжело кружиться, поскольку она была вдвое толще меня и втрое толще Алины. Но я ее все равно кружил, норовя каким-либо боком зацепить или Геру, или Толю, который танцевал с девицей из управления.

— Опять? — сузил на меня острые свои прорези Гера, очевидно, желая сказать: «Опять заводишься?»

— Опять, — ответил я.

Нас разнял Толя. Снова сели за стол, и снова искрилось веселье, и аромат женственности расточался по комнате.

Мне было стыдно и оттого, что я танцевал с Ниной, и оттого, что я сидел рядом с нею, и оттого, что все мое нутро сопротивлялось тому, что Гера полностью завладел Алиной, и оттого, что я в конце концов остался вдвоем с Ниной в одной комнате, а Толя с девицей из управления кинулся в дверь напротив (комната Кашкадамова). Гера с Алиной оказались прямо-таки за нашей стенкой, а я с Ниной сидел на кровати, и свет был погашен Толей, и я не стал возражать.

Нина тихонько обняла меня за плечи. И мне не было противно. Напротив, я даже опустил голову на ее грудь. Ровная, теплая робость шла от Нины. И захотелось достать самой глубины, откуда шла эта робость. И я расстегнул две верхних пуговицы, а потом еще что-то отстегнул, а потом еще и Нина что-то расправила, и как только моя щека коснулась обнаженной груди, так все совсем по-другому стало вокруг, так сразу звуки из соседней комнаты приглушились.

Я лежал рядом с Ниной, и что-то общее образовалось у нас с нею, и я потихоньку переставал стыдиться этой теплой и волнующей общности, у которой был все же и свой аромат, и своя весенняя полноводность. Все стало действительно плыть и дышать светлым, волнующим покоем, точно передо мной, окаймленное теплой волной, лежало бархатно-черное море, в котором мирно светилась вечерняя звезда. И было покойно-сладко до тех пор, пока что-то не грохнулось в нашу стенку, а потом это что-то заколотилось в нашу стенку с такой силой, что коврик, висевший над нашей кроваткой, слетел с одной петельки, а с той стороны долбали и долбали в стенку, точно норовя пробить ее.

— Что они, с ума посходили? — сказал я недоумевая, а Нина тихо засмеялась.

— Ты что, тоже рехнулась? — сказал я. — Надо им сказать, чтобы они потише там.

— Лежи-и-и, — протяжно прошептала Нина.

— Как лежи! Ты не видишь, что там делается! Ну что можно так колотить? — недоумевал я, а стук становился все ритмичнее и все настойчивее.

— Лежи-и-и-и, дурачок, — сказала Нина, притягивая меня к себе.

Я лег на спину, и мне почудилось, что и здесь какой-то необычный заговор идет против меня. Все знают о чем-то таком, чего я не знаю. И Нина сверкает глазами и смеется, хотя и не слышно ее смеха, а там за стенкой прямо-таки совсем очумели. «Ну что можно так делать в темноте, точно в каждой руке у них по молотку, и они норовят по нашим черепам пройтись ими...»

И вдруг мне стало понятно, когда раздался за стенкой дикий стон.

— Дура! Да он ее душит там! — я вскинулся с кровати, а Нина схватила меня что есть мочи и притянула к себе.

Я упал на нее и тут же вывернулся, увидев, какая огромно безобразная у нее грудь. А за стеной стон перешел в такой вывернутый наизнанку крик, в такой дикий, непонятный, неутоленный вопль, будто журавлиная стая, навсегда прощаясь с землей, в

смертельной тоске взмыла наконец-то к счастливому поднебесью.

И сердце мое, должно быть, ревностно и благородно, дважды облилось кровью и подсказало незамедлительную реакцию — броситься к дверям, чтобы спасать, спасать, спасать. Нина с прежней прытью, совершенно не придерживая свои огромные груди (они двумя плотными сумками тяжело перекидывались в разные стороны), вцепилась в меня обеими руками.

Я снова обратил внимание, что лицо у Нины будто смеялось, и ее тайная радость в гнев меня привела и решительности прибавила. А там за дверью вдруг все затихло.

— Убил он ее! — решил я и так сильно вырвался, что Нина от неожиданности отлетела на кровать, а я, освобожденный, побежал к дверям комнаты, где были Алина с Герой.

То, что открылось моим глазам, было настолько ошеломительным, что я едва не лишился чувств. Я лишь на одну долю секунды зафиксировал картину: никаких следов насилия, напротив — счастьем и покоем дышало ее умиротворенное лицо. Все это я приметил лишь в одно мгновение, потому что в другое мгновение этой картины уже не было: Гера, лежавший на животе, я видел его раскрытый искривленный рот с красной губой, огромный глаз его, прикрытый ресницами, так вот Гера, как только закричала что есть мочи Алина и, обнаженная, скомкалась вдруг, подобрав под себя коленки, так вот Гера, трудно себе представить ту быстроту, с какой он спрыгнул с кровати, успев, однако, одной рукой набросить на Алину простыню, а другой рукой, это меня совершенно и буквально с ног сбило, ухватился за мою физиономию, так что все мое обличье в его охапке оказалось, и он всю эту охапку с моей головой ткнул в дверь с такой вредной и распроклятой силой, что я вылетел из комнаты, — и это тоже произошло в какие-то доли секунды.

Меня подхватил Кашкадамов, вернувшийся с дежурства, а Гера крепко хлопнул дверью. Кашкадамов спросил:

— Что это у вас?

Я пожал плечами.

В коридоре стояла Нина. В ее глазах застыла жалостная камертонная чистота. И я, как и в прошлый раз, ринулся вон из этого дома. В голове вертелась есенинская строка: «И покатились глаза собачьи золотыми искрами в снег».

11

Во что бы то ни стало избавиться от гадостной липкости, которую я ощущал физически. Лес, только лес. Там я мог очиститься. Там я мог напиться живой влагой чистоты. Навьючив на себя лодку, рюкзак, ружье, я кинулся к Печоре. Она разлилась. Ей не было ни конца ни краю.

Когда я добрался к тем местам, где обычно располагались охотники, стало смеркаться. Пока я накачивал надувную лодку, стало совсем темно. Я оттолкнулся от берега. Понесло по течению. Впереди были не то кусты, не то верхушки потопленных деревьев. На них я и пошел. Пристроился у кустов. Попытался достать дно. Не тут-то было. Выбросив подсадных, я стал ждать. Утки пошли как-то неожиданно, разом. И пальба открылась со всех сторон.

Оттого что пальба была кругом, становилось еще темнее. Слепило в глазах. Палили и вверх, и вниз. Грохот был такой сильный и путаный, что совсем непонятно было, откуда и куда стреляют. Настоящий фронт.

Что-то черное, бешено-стремительное проносилось то и дело над головой, шлепалось в воду, и тотчас на месте черных всплесков обозначалась дробовая россыпь. Утки кувыркались, точно и не замечая этой смертельной россыпи, а дробовики со всех сторон палили, пока стайка вновь не взмывала вверх и не плюхалась где-то совсем рядом, откуда снова шли огненные снопы, раздавались крики, посвистывание и покрякивание, не поймешь: то ли живые утки-чирки свистят, то ли опытные и неопытные охотники зазывают к себе любвеобильных самочек.

Около часа я наблюдал за этой пальбой в надежде, что и к моим подсадным плюхнется стайка. Ожидание было столь томительным и ознобно-горячим, что не думалось ни о чем, кроме как о самом неожиданном и самом счастливом исходе: стая снизойдет до моих подсадных. Так оно и получилось. Вдруг утки выпрямили свои свистящии линии и ринулись в мою сторону. И вдогонку им пошла пальба. Кто-то бешено орал мне. О чем кричал этот сумасшедший, я не знал. Мое дело перезаряжать и палить, потому что настал мой долгожданный черед. И утки, точно сговорившись, продолжали лететь в мою сторону, и выстрелы тоже повернулись в мою сторону, и весь фронт теперь стрелял в меня, норовя попасть в моих уток. Я чувствовал всю несправедливость происходящего, но замедлять действие никак нельзя было. Надо опережать выстрелы других, и я вытаскивал и вытаскивал из патронташа, совал в стволы и палил, и что-то, это уж точно, я знаю, падало и барахталось, должно быть, подранки, рядом в черной воде.

Изредка сознание испуганно шевелилось, оттого что чужие дробинки совсем рядом булькались и глухо ударяли в мою резиновую лодку. Сознание лихорадочно просчитывало расстояние от моей резиновой лодочки до берега — метров сто. А пальба становилась все яростнее и противостоящий противник становился все злее и злее, дробь не только долетала до моей лодчонки, но и перелетала.

И вдруг я услышал ровное шипение моей лодочки. Я руками стал прощупывать резиновый, пока что тугой рулон борта.

Мне как-то сразу ни к чему стали летающие черные точки над головой, и ружье мое ни к чему. Только бы найти дырку, чтобы чем-то ее залепить. А чем? И какая она, эта дырка? Наконец я нашел пробоины. Их было три. Там, где были пробоины, борт оказался мягким и податливым. Я схватил весла, и стал что есть силы грести. Соображение подсказало, что

надо держать курс не к берегу, туда мне не доплыть, а к ближней деревянной лодке.

— Куда прешь! — заорали мне вдруг. — Не видишь, подсадные.

— Тону, — ответил я срывающимся голосом.

Я ухватился за кустарник, а ветки, точно живые, вытягивались, точно у них не было основания.

Я уже барахтался в ледяной воде.

— Держись! — кричал мне кто-то.

Обжигающая вода хлестала по лицу. Голос того, кто кричал, показался мне знакомым.

— Бесподобно, — сказал капитан, ибо голос принадлежал именно ему. — Вот так встреча. А ну, Сергей, помоги.

Утки меня уже не интересовали. Вообще ничего не интересовало.

На берегу разожгли костер, и мне велено было раздеться догола, что я и сделал. На спину мне накинули жаркую фуфайку, от костра шел такой крутой жар, что я быстро согрелся и окончательно пришел в себя.

На кольях была развешана моя одежда. Меня поразила та быстрота, с которой высохла моя одежда.

Сергей, должно быть, подчиненный капитана, отпросился поохотиться. Мы сидели у костра, и очень скоро наш разговор принял совершенно неожиданный оборот.

— У меня есть кое-какие новости для вас, — проговорил капитан, подбрасывая в огонь сосновые ветки. — Оказывается, вы Веласкесом давно интересуетесь.

— Я? Веласкесом?

— Вы, разумеется. Это уж неоспоримо. Помните: «девятнадцатого февраля, девяносто лет спустя после отмены крепостного права, я с моим товарищем...»

— Господи, вы и это знаете. Ну и что? Действительно, так, шутки ради, я начал свою объяснительную записку. Кстати, тогда я был нетрезв, и мало ли что я там наплел.

— А я не о том. Напротив, это крайне интересно. Кто еще способен на шутки, когда дело пахло керосином.

— Не так уж керосином.

— И все же могло последовать наказание.

— И почему не последовало?

— Я думаю, что вам это известно.

— Никак неизвестно.

— Ну положим, что неизвестно. Ну, а Веласкес тоже не припоминается?

— Абсолютно никак не могу увязать.

— И Венера с зеркалом не припоминается?

— Блодов?

— Ну-ну. Припомните-ка.

— Был у меня приятель. Он дружил с одним художником. И тот написал свою подругу...

— В образе Венеры с зеркалом?

— Будто так.

— Вы видели эту картину?

— Никогда в жизни.

— И ваш приятель увлекался Веласкесом?

— Да, он работал над Веласкесом. Может быть, курсовая у него была по испанской живописи.

— И с ним вы не знакомы?

— С Вершиным?

— Но я никак не думал, что этот умерший Вершин тот самый Вершин. Выходит, что Морозова и есть?..

— Выходит, так. Но вы все же оденьтесь. Оденьтесь как положено. И вам надо спешить домой. Горячий чай с медом. Не помешает еще грамм сто спирту добавить. А какие отношения были у Вершина с Блодовым?

— Знаю, что они крепко поссорились...

— И вскоре Вершина посадили?

— Вот этого я не знал, — солгал почему-то я.

— Ну зачем же так? Это вам было известно. И очень даже известно, поскольку вы общались с вашими друзьями, которые об этой истории не могли не рассказать вам.

— Ну, положим, — согласился я.

— А теперь скажите. Это в ваших интересах. И это совершенно установлено. Вы провели ночь в комнате Морозовой 19 февраля этого года. В ночь ее смерти.

— Вы что, капитан? С ума сошли?

— Это установлено, — спокойно проговорил капитан. — Есть вещественные доказательства...

— Чепуха! Ложь!

— Вы не суетитесь. Я и сам чувствую, что здесь что-то неладное, нам еще придется с вами на эту тему поговорить.

Мне было совсем не по себе. Была какая-то сплошная неясность, но в этой сплошной неясности билась вроде бы свежая и острая догадка.

— А при чем здесь Блодов? Я, кстати, телеграмму от него получил. Собирается ко мне приехать.

— Прекрасно. Его что-то интересует? — Он ваш близкий друг?

— Я его считаю близким другом. А он меня, наверное, никогда не считал другом.

— Вы это чувствовали, или он вам об этом сам говорил?

— Ну кто об этом говорит? Ему нужна была в свое время преданная душа. Вот я и был такой душой.

— Вы это очень хорошо сказали. Преданная душа. Это бесподобно и искренне сказано, — снова употребил эти свои любимые выражения капитан.

— Так какие вещественные доказательства оставлены мною в номере Морозовой? В номере, в котором я никогда не был.

Капитан пропустил мой вопрос. Как ни в чем не бывало он пошевелил дровишки в костре. Я наблюдал за ним и лихорадочно соображал: что ему от меня надо? Куда он клонит?

Капитан между тем обратился ко мне с вопросом:

— А вы не чувствуете, что у нас с вами много общего?

— В чем же это общее?

— А в том хотя бы, что оба мы нацелены были на работу в области искусства, а работаем в одинаковых сферах.

— Как это в одинаковых?

— А разве нет? Оба занимаемся вопросами воспитания.

— Ах, в этом отношении? У меня учительствование, наверное, все же временное занятие.

— И я надеюсь заняться искусством, — сказал капитан.

— А что заставило вас пойти...

— В ЖЗЛ? — подсказал капитан. — Я вам уже говорил. Лучше — вы мне ответьте. Вы меня заинтересовали своей бесподобной искренностью. И мне не ясно, зачем вам понадобилось лезть в эту историю.

— Какую историю?

— Историю с мокрым делом, — неожиданно сказал капитан. И довольно грубо добавил: — Хватит дурака валять!

— Послушайте, Валерий Кононович, — впервые я назвал капитана по имени и отчеству, — что за оскорбления?! — Чтобы придать больше убедительности своим словам, я схватил кол с обгоревшим концом и потряс им в воздухе. — Попробуйте еще раз повторить эти ваши гнусные обвинения, и я вам проломлю череп!

Капитан расхохотался:

— Нет, вы-таки впрямь преискренний человек. Недаром детвора в вас по уши влюблена.

— Влюблена? Ребята могли бы ко мне относиться очень хорошо, но я убиваю их чувства строгим отношением.

— Им как раз и нравится ваша строгость. Всем нравится справедливая строгость.

— Теоретически.

— Опять лукавите? Кстати, давно вы знаете Абрикосова и Россомаху?

— Где-то около года. А что?

— Постоянно поддерживаете контакт?

— Изредка.

— И что у вас общего? Веласкес, Суриков?

— Нет. Здесь совсем другое.

— А что именно?

— Сам не знаю, как объяснить. Просто иной раз деться некуда.

— Давайте с вами договоримся, — сказал вдруг капитан. — Хотите верьте мне, а хотите нет, а я в ваших интересах действую. Интуитивно я чувствую, что вы непричастны к тому преступлению, которым я занимаюсь. Но пока что все против вас. Меня интересует совсем другое...

— Я понял, что вас интересует, — неожиданно сказал я. — Вас интересует вопрос, где я был девятнадцатого февраля этого года. Могу сказать. Вспомнил окончательно. Я действительно был на вокзале поздно ночью и покупал курево в буфете. Я еле выпросил пачку «Казбека» и ушел тут же. Никакой Морозовой в тот вечер я не видел. Но, как мне показалось, приметил я тогда фигуру Абрикосова.

— Как он был одет?

— В полушубке и в пыжиковой шапке. Это я точно видел. А в руках у него был саквояж.

— А он вас видел?

— Скорее всего нет. Так мне кажется. Абрикосов непременно бы меня окликнул, если бы увидел.

К костру подошел Сергей.

— Кончился лёт? — спросил капитан.

— Все расстрелял. Нет больше патронов.

— Возьми у меня, — предложил капитан.

Сергей отсчитал дюжину патронов и собрался уходить.

— А как с подготовкой к лекции? — обратился ко мне капитан.

— Вы знаете, я сейчас работаю над историей папства. Странное дело. Великий Борджиа, когда умер, несколько дней лежал и разлагался, к нему никто не подходил, потому что он всем был ненавистен: детям, родственникам, близким, женщинам, которых он так любил. Он был всеми проклят разом. Монахи отказались его отпевать. И вот что интересно: после него ставят на трон слабохарактерного, малодушного Франческо Тодескини, которому было тогда шестьдесят четыре года и который был инвалидом. Франческо, можно сказать, был подставлен — его мог уничтожить Чезаре Борджиа. И только когда всем стало ясно, что карьера Чезаре закончена, только после этого на папский трон сел Юлий Второй, человек железной закалки, не уступавший в коварстве Борджиа.

— В каком году это было?

— Начало шестнадцатого столетия. Примерно за сто лет до Иннокентия Десятого...

Мы проговорили с капитаном еще часа два, пока я снова не продрог. Дома я снова думал о капитане, о Блодове, о Морозовой. И о чем бы я ни думал, в памяти возникал портрет Иннокентия X работы Веласкеса. Почему-то и Борджиа, и Никон, и Юлий II мне показались похожими на Иннокентия X.

Не выходило из памяти и жесткое лицо капитана. Точь-в-точь взгляд Иннокентия. Ничего себе, меня решил обвинить в убийстве. Так и уснул я с горькими мыслями о будущих подозрениях.

12

...Я подошел к бараку, где жили Нина и Алина. Постучал в дверь, обитую дерматином, из-под которого торчали комки старой ваты.

— Дверь быстрее закрывай, — сказал мне Иннокентий Десятый, заматываясь в алую мантию и поправляя багровую шапочку на голове. — Закрывай, а то надует.

Я юркнул в комнату в надежде встретиться со знакомой обстановкой. Ничего знакомого в комнате не было.

— Обожди, — сказал римский папа, усаживаясь в красное кресло и поправляя пунцовый занавес. — Дай-ка мне расположиться в соответствии с исторической правдой. Итак, начнем. Инквизиция!

В комнату вбежали два человека в черных халатах с капюшонами, держа на привязи псов. В собаках я узнал Франца и Копегу. Монахи привязали

меня к шкафу. Веревки были новые и жестко врезались в тело.

— Я, папа Иннокентий Десятый, объявляю вас арестованным. Вы обвиняетесь в убийстве боярыни Морозовой, ее однофамилицы, девицы Морозовой, ее жениха Вершина и двух учеников, сожженных в срубе на болоте вместе с еретиком протопопом Аввакумом.

Багровое лицо папы было точно искусано комарами: в пятнах и подтеках. Голубые глаза глядели подозрительно и зло.

— Вы признаете себя виновным?

Я молчал: что-то перехватило в горле. Даже если бы я пожелал что-либо сказать, все равно звука не получилось. Обе мои руки были задраны кверху, а в спину врезался ключ от шкафа.

— Ключ, — едва слышно прошептал я.

— О чем он? — спросил Иннокентий. Он сидел, сохраняя сходство с портретом Веласкеса, даже руки небрежно свисали с подлокотников кресла. — Так о чем он шепчет?

— Не по делу, — ответили инквизиторы.

— Значит, не признаете себя виновным? — повторил папа, пряча ехидную улыбку в растянутых широких губах, точно наклеенных на огромный плоский подбородок.

— Нет, — ответил я, стыдясь того, что крупные слезы скатывались из глаз, и не было сил стряхнуть их.

— Позвать свидетелей, — приказал Иннокентий X.

В комнату вошли Алина с Ниной.

— Вот уж с кем не хотелось бы мне встречаться, так с этим идиотом, — сказала Алина, точно в комнате и не было ни инквизиторов, ни папы Иннокентия X.

— Алина, — с укоризною проговорила Нина, снимая пальто и оставаясь в нижней рубашке.

— Сколько вам платят за вашу службу? — спросила Алина.

— Какую службу? — оскорбился я.

— Вы еще и пытаетесь что-то скрыть? А это что? Прочитайте.

Один из инквизиторов поднес к моему носу бумагу.

«Может быть, протопоп Аввакум был одним из первых русских интеллигентов, — читал я весьма знакомый мне текст. — Это был настоящий писатель и гражданин. Красавица Морозова полюбила его, когда увидела сноп света, идущий с неба и сливающийся с его аурой. Однажды Аввакум сказал псарям царя Алексея Михайловича, травившим собаками человека: «За что вы его травите?» «В его глазах мелькнул свет», — ответили псари».

Я прервал чтение. Я хотел сказать, что это мои записки к сценарию. Но мне приказали:

— Читай дальше.

— «Было бы неверно рассматривать Аввакума как фанатика. Его деятельность или даже то, что называют фанатизмом, есть вид бескомпромиссной духовной самостоятельности. И вот загадка: почему же церковь не причислила ни Аввакума, ни его ученицу Морозову к лику святых?»

— Разве это не донос? — спросила Алина. — Это же донос! И не притворяйтесь! Вы сгубили Аввакума.

Нина подошла к шкафу, чтобы открыть дверь и убрать ключ, впившийся в мое тело.

— Не положено, — сказал инквизитор.

— Мне нужно в шкафу взять свои вещи.

— Не положено, — повторил инквизитор.

— Пригласите местком, — сказал римский папа.

Вбежал, будто запыхавшись, Чаркин.

— Клеветник, — сказал Чаркин. — Мы обсуждали этот вопрос на производственном совещании. Склонен к наговорам. Клевета сама из него выливается. Пресвитер Новиков до сих пор не может отмыться, ходит с той лоханью, в которую погрузил его клеветник.

— Ясно, — прошамкал Иннокентий X. — В отличие от всех моих предшествующих девяти Иннокентиев я обладаю обстоятельностью и не терплю спешки. И время, конечно, нынче не то, чтобы торопиться. После гибели «Непобедимой Армады» все пошло под закат. Нельзя без разбирательств швырнуть человека в костер. Нынче не то чтобы торопиться, а, напротив, нужно в промедленности усладу находить. Посмотри на этих инквизиторов. Спят. Ну, что там еще у нас? Эй! Проснитесь! Кто на очереди?

— Интеллигенция, — ответили инквизиторы.

— Ах филеры, — сказал Иннокентий X. — Ну давай их сюда!

Вошел в коричневой безрукавке Бреттер, с ним рядом в бальном платье с вырезом и с алой розой Екатерина Ивановна, а уж после Рубинский с Вольновой.

— Ну, что скажете, господа? — вопросил Иннокентий X. — От меня скрываться незачем. И хитрить ни к чему. Вы с ним уж больше не встретитесь. Можно все начистоту.

— Вы ведете себя несколько странно, — сказал Бреттер, обращаясь к папе. — Не в соответствии с теми манерами, какие были свойственны столь тонкому человеку, каким был настоящий папа римский времен Веласкеса.

— Я веду себя в соответствии с обстановкой, — ответил Иннокентий X. — Впрочем, преклоняюсь перед зоркостью профессионального организатора массовых предательств.

— Зачем же так во всеуслышание?

— А он уже не жилец, — махнул папа в мою сторону.

— Все равно не принято говорить вслух. Растут дети.

— Послушайте, Бреттер, — прервал собеседника Иннокентий X, — вы западник или язычник?

— Если говорить начистоту, то я никто: ни западник, ни язычник. Я против процессов, вредящих достоинству трона. Всегда презирал чернь, выступающую против августейших имен.

— Вот уж не думал, что вы тоже из этой ком-

пании, — проронил Рубинский, обращаясь к Бреттеру.

Бреттер не удостоил своего единомышленника вниманием.

— Что с вами? — бледнея, спросил Бреттер у Иннокентия X.

— Жмут! Ох как жмут, сволочи!

— Кто жмет? — вскинулись инквизиторы. — Янсенисты? Быть этого не может. Прикончили вчера главную партию. Две новых партии сегодня ночью взяли: сидят, ждут приговоров...

— Сапоги жмут! — проскрипел Иннокентий X. — Ну-ка, помоги снять!

Бреттер кинулся к ногам папы.

— Да не ты, иуда, — сказал папа. — Отроку дай припасть к ногам моим. Ну что стоишь, как Кальвин?

Рубинский ухватился за сапог, но тут же был отброшен папой.

— Сырость, — сказал папа. — Сыростью несет от твоих мокрых фаланг. Вишь, следы оставил на голенище. Позвать лжесвидетелей.

— Они перед вами, ваше преосвященство, — сказал инквизитор, показывая на Бреттера и Рубинского.

— Это тайные свидетели, — проговорил папа. — Сколько раз я просил не путать тайное с явным. Я говорю позвать лжесвидетелей настоящих.

— А как с книжником быть? Он стоит под дверью. Всю стенку плечом обтер. Так и зияет пятно на стене. Он и за лжесвидетеля может сойти. Любые показания дает.

— Зови книжника, — сказал папа.

Вошел в золотых очках Тарабрин. Вошел, озираясь, держа под мышкой скоросшиватель.

— Ну, что у тебя? — спросил папа.

— Вот, — протянул Тарабрин бумагу.

— Читай, — приказал Иннокентий X.

— «Объект номер триста пять, поименованный ранее учителем с малой буквы, стал активно устанавливать связи с местной интеллигенцией» — начал читать бумагу Тарабрин.

— Непорядок, с представления надо начинать!

— Я, Тарабрин Сергей Борисович, праправнук Кузьмы Лашеза...

— Короче, — перебил его Иннокентий X.

— Я, источник достоверных сведений номер двадцать три тысячи пятьсот восемь, был запрограммирован на проверку связей между двумя источниками номер тридцать шесть тысяч дробь семнадцать и номером сорок восемь тысяч дробь шесть. Оба источника вышли на связь с объектом номер триста пять. И вели себя в соответствии с инструкциями. Объект триста пять явно интересуется космогоническими перемычками, соединяющими известное с малоизвестным. Вслух осуждал папу, включая трактовку «ошибок Мадрида», доказывал при этом необходимость окончания Тридцатилетней войны, утверждал, что человек должен сам определять свою судьбу.

— Эк куда его понесло! — произнес папа голосом Ивана Варфоломеевича. — Дальше.

— Дальше неразборчиво, — ответил Тарабрин. — «Объект триста пять против ренессансной самореализации личности, он за счастье, которое других делает счастливыми».

— Савонаролизм?!

— Никак нет, ваше преосвященство. Запад в нравственном тупике, утверждает обвиняемый. Выход в развитии идеи самопожертвования, к которой особенно чуток русский народ.

— Готов ли обвиняемый положить свой живот за свои идеи? — эти слова были ко мне обращены.

— Путаница, — прохрипел я. — Нельзя раздувать этническую специфику. Единение общечеловеческое поможет каждому народу осуществить себя. Если каждый народ не верует, что в нем одном истина, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиною, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал. Пока между народами не будет соревнования в истинно нравственных поступках, пока высшей доблестью народа не станет оказание помощи всем своим гражданам и всем другим народам, не ждать счастья на земле. То же можно сказать и о главных идеях, которые исповедует учитель или пророк.

— Какие идеи?

— Социализм — система мирная. Рассчитана на воспитание. Переход «моего» в «наше» — процесс медленный. Надо каждому пройти через муки и радости труда, каким бы этот труд ни был: физическим или умственным. Пройти через труд саморазвития, труд, творящий красоту, физическое возрождение. Труд, помноженный на нравственный закон, соединенный с развитым общением, способен создать все!

— Бесовщина! Слепота! Еретизм! — сказал Иннокентий X. — Что там еще? — спросил он у Тарабрина.

— Объект номер триста пять много времени уделяет сбору клеветнического материала на выдающегося служителя церкви, каким был Родриго Борджиа, папа Александр Шестой.

— Чего он там накопал?

— «Двенадцатого июня тысяча четыреста девяносто третьего года папа праздновал свадьбу тринадцатилетней своей дочери Лукреции, которая вскоре стала его любовницей.

Двадцатого августа этого же года воспитательница Лукреции Адриана привела в покои папы Лукрецию, при этом присутствовала любовница папы, Джулия Фарнези. Лукреция отдалась своему отцу в присутствии Джулии. Старший сын папы Джиованни, впоследствии герцог Гандийский, стал любовником своей сестры. Чезаре, узнав об этом, убил на глазах Лукреции двух слуг Джиованни, предупредив Лукрецию, если он застанет ее с братом, то умертвит и ее и брата. Сестра поклялась не изменять с братом, и быть верной только ему, Чезаре, и... изредка своему мужу. Однако она не сдержала слова. Чезаре застал брата в покоях Лукреции, нанес ему два смертельных удара ножом, затем на глазах у своей воз-

любленной сестры связал Джиованни и велел труп выбросить в Тибр.

Вечером пятнадцатого июня 1500 года муж Лукреции, герцог Бишелье, подвергся на ступенях Св. Петра неожиданному нападению подосланных убийц. Преступники ранили его и скрылись. Герцог побежал в Ватикан, чтобы рассказать папе, кем и как он был ранен. В это время папа ласкал Лукрецию. Увидев мужа окровавленным, Лукреция едва не лишилась чувств. Папа гневно посмотрел на зятя и сделал ему выговор: «Нельзя же в таком виде показываться на глаза чувствительной даме». В гнев пришел и Чезаре, недовольный тем, что убийство не состоялось. Чезаре ждал, когда отец оставит в покое Лукрецию. Он сказал: «Что не сделано за обедом, будет сделано за ужином». Лукреция в это время повела мужа в одну из комнат Ватикана, чтобы сделать перевязку. Ей вызвался помочь Чезаре. Он вошел в комнату, где находился герцог с доном Микилетто. Этому Микилетто было поручено задушить мужа Лукреции, что он и исполнил».

— Лажа! — закричал Иннокентий X.

— Что? — переспросил Тарабрин.

— Для чего он эту пену гонит, спрашиваю?

— О, это далеко не простой вопрос, — ответил Тарабрин, вытаскивая из портфеля две толстых тетради. — Объект верит в свою исключительность и в свое право обвинять других. Он приписывает сильным мира полное разложение, когда даже ужас перед открытой ложностью окружающей жизни доставляет наслаждение. Казалось бы, следствием этого неверия должна быть душевная пустота. Ничего подобного. Сильные мира стремятся к этой пустоте, чтобы заполнить ее развратом. Отсюда и их страстное «да» (вопреки отрицанию!), в котором «разряжается» столь же страстное влечение к роскоши, к сладострастию. Так утверждается не только вседозволенность и социальный произвол, пишет объект триста пять, но и садистский цинизм, сознающий, что ценность всех вещей покоится на том, что они являются ложными.

— А любовь? — спросил Иннокентий X.

— И любовь, доказывает объект на историческом материале, оборачивается извращением, потому что юридически-правовые отношения переносятся в самую сердцевину великого чувства. Смысл любви становится в том, чтобы приковать свободного человека к себе, превратить в раба, заставить наслаждаться развратом.

— Какую же любовь исповедует сам объект?

— Ту, которая делает человека свободным, делает его способным больше отдавать, а не брать, и от этого получать радость. В любви, пишет объект, утверждая себя, любящий утверждает другого, любимого. Там, где этого нет, там любовь превращается в отношения «партнерства», где каждый стремится побольше урвать и поменьше отдать. Маленькая Лукреция, на глазах которой совершались убийства и предательства, была такой же изысканно-кровожадно-безнравственной, как и ее любовник — папа. Она «искренне» оплакивала своих мужей и любовников, находясь в объятиях убийц, — образец европейской любви и аморализма.

— Ему что, больше нечем заняться?! — раздраженно сказал Иннокентий X, вставая с кресла. — Куда смотрят кондотьеры?

— Упустил Новиков. Дал волю объекту. А чему детей стал учить? Послушайте, как пишут его ученики о сильных мира сего: «Личное достоинство превращено в разменную монету, а свобода человека в бессовестную свободу торговли...»

— Достаточно, — сказал Иннокентий X. — Сейчас необходимо укреплять авторитет государства, а подобные факты могут нанести ему серьезный урон. Что там еще?

— Дальше идет материал о сожжении двух еретиков: Савонаролы и Аввакума.

— Ну и что тут?

— Полностью оправдываются оба еретика.

— Значит, еще один янсенист, — сказал Иннокентий X.

— Не совсем так, — поправил папу Тарабрин.

— А ты что скажешь? — спросил Иннокентий Бреттера.

— Здесь несоответствие некоторое, — сказал Бреттер, но тут же был сшиблен инквизитором.

— С представления начинай.

— Я, Бреттер Михаил Семенович, перед лицом товарищей...

— Не то представление, — прошипел инквизитор.

— Я, Бреттер Михаил Семенович, потомственный филер в шести поколениях, работающий в высших сферах всевозможных цивилизаций, свидетельствую, что протопоп Аввакум и его ученица Морозова, как и янсенисты, утверждали, что самое великое счастье человека — в мученичестве и в самоотречении. У объекта триста пять явная ориентация на бескомпромиссность этических норм. Никаких казней и пыток. Портреты королей и пап не должны размером превышать почтовую марку.

— А какие сведения имеются у начинающего филера? — обратился папа к Рубинскому.

— Я, Рубинский Альберт Михайлович, начинающий филер по кличке Мокрые Руки, свидетельствую, что объект триста пять осуждает репрессии. Вместе с тем он отрицательно относится и к актам реабилитаций, подчеркивая, правда, иносказательно, что реабилитируют-то в основном тех, кто сам в свое время других предавал. Что этих-то лживых мучеников следовало бы судить судом праведным. Эту идею праведности объект триста пять развертывает в своей деятельности с детьми.

— Как его классифицировать с точки зрения светской философии?

— Типичный аутсайдер. Культура представляется ему мертвой и чуждой, а потому лживой и ханжеской, потому ему и импонируют аутсайдеры типа Савонаролы, Аввакума, Янсения. Ералаш и полное смешение позиций, точек зрения — бездумно берутся нужные ему ценности, а отсюда и невежество. Конечно же, объект триста пять — фигура обреченная, разорванная, неуверенная, раздваиваемая и растраи-

ваемая самим собой, но он не лишен эстетической привлекательности, самородной талантливости и некоторой искренности. Это «человек из ниоткуда». Переходная фигура, существующая в *особом междумирии.*

— Это интересно. В чем переходность?

— Во всем, — ответил Рубинский, доставая записи, сделанные на французском, санскрите, и древнекитайском языках. — Живет за счет разрушаемого. Фактически заражен полным неверием, страдает оттого, что постоянно «забрасывает себя» в чуждый ему мир культуры, страдает оттого, что всячески предает эту культуру.

— Без словоблудия прошу, — прервал Рубинского Иннокентий X.

Я рад был тому, что Рубинского оборвали. Как всегда, я протестовал против того, что говорил Рубинский. И как всегда, мое нутро пасовало перед его абсолютным всезнанием. Мне хотелось крикнуть: «Все переврал! Никакой я не аутсайдер. Я, напротив, верую и созидаю. Я укрепляю веру в других. Смягчаю нравы и обстоятельства. Пытаюсь сделать их более человечными. Рубинский во мне приметил лишь внешнее. Конечно же, это моя беда, что я в любом клане чувствую себя необходимым. Стремлюсь жить в любой среде. Но вовсе не для того, чтобы паразитировать. Нет. Во мне живет и мною движет *страстная сила единения с другими.* Она и является главной пружиной моего бытия. Эта сила противостоит многому: и истинному аутсайдерству, и суперисключительности, и нигилизму, и произволу. Я живу, потому что пьян жизнью, потому что все удивительно и все хочется узнать. Если мои желания и моя воля к жизни — обман, тогда нет истины, тогда нет красоты, нет жизни. Я чувствую себя здоровым, эйфорически полноценным, потому что противостою неврозам, злокачественным образованиям аморализма, всему чудовищному и безобразному. Моя надежда в самоосуществлении моих великих замыслов, которые реально, не только в понятийном смысле, приблизят меня к гармонии человеческого бытия».

— Ложь! — прервал мои мысли Рубинский.

Я забыл, что здесь все прозрачно, все читаемо. И потому не стал рассуждать про себя. Я ответил:

— Здесь есть крайне сложный чисто гносеологический нюанс, который покоится, или, точнее, исходит из великого закона относительности, к сожалению, не перенесенного в область гуманитарии. Дело тут вот в чем. Любую прекрасную идею можно скомпрометировать, оседлав такую лошадку, как Эрудиция. Любое элементарное движение к новизне можно обвинить в переходности. Скажу вам: переходность — достоинство, а не порок. Рубинский не способен к творческому видению переходности, и потому всякого, кто тяготеет к преобразованиям, обвиняет в исключительности, потому что именно себя и себе подобных причисляет к лицам, которым принадлежит это право. Если копнуть поглубже, то подлинное неверие, трусливое, ограниченное, мелкое, принадлежит ему. Он убежден, что истинный мир давно соскочил с петель, и чтобы выжить в нем, нужны иллюзии, рассказывающие о прочности мира. Он верит: чтобы побудить людей к действию, нужна красивая ложь — аполлоновское искусство, знающее о своей радикальной лживости, не желающее иметь дело ни с чем, кроме своих иллюзорных образов и доктрин.

— Откуда эта ересь?

— Ницше, — прошептал Рубинский.

— Совершенно верно, — решительно сказал я. — С той лишь разницей, что апокалипсическому философу были доступны ловкие игры с этико-эстетическими феноменами, а рассуждения типа Рубинский — Бреттер способны лишь к поверхностной констатации компилятивного плана: они не доросли до аполлоновских хитросплетений.

— Ближе к делу! — раздался голос папы.

— Лгу ли я детям, когда зову их к счастью, когда пробуждаю их волю, когда учу их любить друг друга, когда помогаю им творить самих себя?

— Человек способен что-либо изменить в своей жизни?!

— Многое, — ответил я. — Человек — хозяин своей судьбы.

Папа расхохотался.

— Идея кузнечика. Каждый кузнец своего счастья. Ну-ка, Бреттер, расскажи про кузнечиков! Как они на твоих глазах готовы были творить и самих себя, и всемогущие обстоятельства.

— Я был посажен в трюм миноносца «Аммулат Бек» вместе с шестьюдесятью искусствоведами, философами, авторами опер, либретто, романов, пьес, цирковых программ. Всех их ожидала мученическая смерть. В квадрате шесть ноль пять люк камеры предполагалось открыть — и все, кроме меня, должны были выпасть в открытое море. Ключ от люка был у меня. И вот по сигналу сверху, когда миноносец достиг названного квадрата, я сказал искусствоведам, философам и драматургам: «Прежде чем открыть люк, я хотел бы у вас спросить: «Кто желает стать филером?» Этот мой вопрос означал: кто желает спастись? Пятьдесят девять человек подняли руки, все, за исключением одного либреттиста. Этот последний не имел рук.

— Значит, все они пожелали быть хозяевами своей судьбы?

— Именно так, ваше преосвященство, — ответил Бреттер.

— И как же они распорядились своей судьбой?

— Они отправились кормить рыбок. Я видел их искаженные лица. Они молили о пощаде. А я смеялся им в лицо.

— А почему вы их не пощадили?

— Во-первых, это было не в моих силах, а во-вторых, это было бы несправедливо. Они в своих книжках утверждали, что мученическая смерть за правду — высший героизм.

— А вы разве не так считаете? — обратился снова ко мне Иннокентий X.

— Не так, — ответил я раздраженно.

— Позвать лжесвидетелей, — приказал Иннокентий X.

Вошли Россомаха и Абрикосов.

— Я, сын кузнеца и внук гончара, Герник Абрикосов, свидетельствую, что в ночь на девятнадцатое февраля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года объект номер триста пять прошел к вокзалу, у буфетчицы купил пачку «Казбека» и затем направился в шестнадцатый номер гостиницы, где проживала Лариса Морозова. Дверь все три часа пребывания в номере объекта номер триста пять была заперта на ключ. Установить подробности беседы объекта номер триста пять с Морозовой не удалось. К тому же оба подозреваемые имитировали конфликт с целью конспирации. «Кто вы такой?» — в ужасе сказала Морозова. «Я ваш друг. Я пришел вам помочь. Я от него!» — «У вас есть доказательство?» — «Есть». — «Покажите». — «Подойдите ко мне». После этих слов из комнаты послышался сильный запах хлороформа...

— И что дальше? — спросил папа.

— А дальше ничего, — сказал, облизывая губы, Абрикосов. — Дальше полная тишина.

— И никаких шумов, потрескиваний?

— Шумы были, но весьма незначительные.

— Когда вы вошли в комнату?

— Когда объект номер триста пять ушел из комнаты, мы вошли в номер. Морозова лежала обнаженная на полу.

— Следы насилия были?

— Нам не удалось установить.

— Почему вы сразу не задержали объект триста пять?

— Потому что в инструкциях он значился как потенциальный особо ценный материал.

— Слышите, — обратился ко мне Иннокентий X. — Особо ценный! Милый, мил-л-лый! — прокричал Иннокентий X, вытягивая губы в трубочку. — Ты поможешь мне победить Паскаля, я дам тебе за это одно из курфюрств моих врагов. Ты согласен?

Я покачал головой.

— Второй лжесвидетель! — приказал Иннокентий X.

На середину вышел Россомаха.

— Я, Россомаха Владимир Ионович, сын бедняка и пьяницы, впоследствии одного из вожаков новой жизни, как источник достоверной информации даю следующие показания: Морозова находилась в близости с объектом номер триста пять...

Папа, потирая руки, радостно причмокивал:

— И что же, она недурна была, эта Морозова?

— Не то слово, — пояснил Россомаха. — Сложена, как Венера.

— С зеркальцем? Работы моего приятеля Веласкеса?

— Совершенно верно. И зеркальце валялось рядом с Морозовой.

— Зеркальце в деревянной оправе?

— Да, из черного дерева оправа.

— С золотым ободком?

— С очень потемневшим золотым ободком. Я еще приметил, что стекло было очень толстым, по краям граненым.

— Так-так. Подробности — это хорошо. Так что Морозова? Особые приметы? Грудь, таз, плечи? — Иннокентий X подался вперед, весь обратился в слух.

— Грудь девичья. Правая чуть больше левой. Соски ярко-розовые, удлиненной формы.

— Виноградинками? — подсказал Иннокентий X.

— Похоже, что так. Таз узкий. Плечи островатые.

— Превосходно, миряне. Вам, Бреттер, это ни к чему. Узкий таз и островатые плечи — это прелестно. Все это мне напомнило историю с синьорой Даметти. Когда боги благословили ее на радость в моих покоях, а она того не пожелала, кончилось вот так же. Я пришел к ней наутро, а она лежала на полу, и зеркальце валялось рядом. Зеркальце с золотым ободком. Ее даже не хоронили. Моя шхуна увезла ее далеко в море. Так-так, дальше рассказывайте...

— А дальше мы исследовали реакцию объекта триста пять на Морозову в обнаженном состоянии. Объект триста пять, как и предполагалось, вздрогнул дважды, когда увидел Морозову на столе и когда были впервые упомянуты придатки.

— Вздрогнули? — спросил Иннокентий X.

— Вздрогнул, — подтвердил я.

— Ну вот и все?

— Что, в мешок его зашивать, или же здесь прикончим? — спросили инквизиторы.

— Нельзя, — ответил папа. — Суд будет недействительным: нет защитников.

— Защитники здесь, — раздался голос справа. И на середину выступил капитан.

— Простите, капитан, еще один вопрос к лжесвидетелю. А какая кожа была у Морозовой?

— Женская, — ответил Россомаха, и все присутствующие, за исключением Алины, рассмеялись.

— Какого цвета была кожа? Какой она была на ощупь? — переспросил Иннокентий X.

— Цвета розоватого, — ответил Россомаха, — а две полоски от загара были совсем белыми. А на ощупь кожа была шелковистой.

— Голубые прожилки на груди и на руках? — подсказал папа.

— Едва заметные, — подтвердил Россомаха.

— Точь-в-точь синьора Даметти. Все в этом мире повторяется. Повторяются женщины, филеры, инквизиторы, буллы, камеры, философские течения. Впрочем, продолжим. Что там у нас? Ах, защитники? Слушаем вас, капитан!

— Я, капитан Брыскалов Валерий Кононович, сын известного пограничника Брыскалова, погибшего при выполнении тайного задания, по профессии живописец-искусствовед, отказался от профессиональной деятельности по мотивам идеологическим. Я решил: социальная справедливость достигается не воспроизведением жизни на холсте, а воссозданием таких образцов нравственных деяний, какие могли бы устроить и отдельного индивида, и все государство с его надстройками.

— Я прошу не употреблять слова иностранного происхождения, — попросил Иннокентий X. — Слово «надстройка» в данном случае можно было заме-

нить общеизвестным словом «бельэтаж», или «антресоли». Продолжайте, господин капитан.

— Судьба любого государства со всеми его антресолями зависит, так мне кажется, от всей системы тайных служб. Причем все службы должны впрыскивать идеологию в жидком виде. Впрыскивание — тонкая работа, как вышивание бисером. Первое требование — ажурность. Второе — процесс труда и результат должны радовать глаз. И третье требование звучит несколько необычно — жидкость ни в коем разе не должна выходить обратно. Пульсирующая кровь должна самообновляться. Я изучил все антиправительственные группировки за последние двадцать шесть веков и установил нечто общее. Первое, группировки возникают не тогда, когда правительство чувствует свою силу, а напротив — когда оно ощутило свою слабость. И второе, когда в государстве наступает упадок, идет процесс разложения самой крови, то есть тайных служб государства. Начинается настоящее гниение. В жилах государства появляются тромбы. От кровоизлияний корежится все: искусство, военный порядок, антресоли и интерьеры отдельных помещений. Меня волнует формула Возрождения.

— Именно поэтому вы заинтересовались Ренессансом?

— Именно поэтому меня привлек подсудимый Попов. Он также ищет всюду следы человеческого возрождения. Я установил: его три вида распада и три типа возрождения. Первый тип — социальный. Второй — групповой. И третий — индивидуальный. Общности и даже государства складываются из отдельных элементов. Этими отдельными элементами являются человеческие особи. От их способности возрождаться зависит возрождение или распад нации, государства и социальной общности. Сам Попов ищет пути к своему возрождению. Он мучается, точно одну часть его тела прищемило огромным камнем, как выразился в свое время русский классик Достоевский, а другая часть корчится в муках. Попов не случайно в одном историческом периоде проследил путь семьи Борджиа. В его вооображении отец Борджиа превращается в фигуру редкостную. Это злодей особого склада. Весельчак. Сладкоежка. Тонкий ценитель женской изящности. Человек, в котором сила родственности доведена до крайности. Заметьте, подсудимый считает, что родственность — наиважнейшее условие социального и индивидуального возрождения. Лукреция, по его мнению, воплощает в себе все земные и неземные прелести. Она добра. Готова любить и брата, и мужа, и отца. Готова всем отдать свое бесконечное, почти космогоническое чувство, родственно-сексуальное чувство, на каком держится истинно материнская любовь. Она спит с отцом как с маленьким ребенком. Она до безумия жалостлива. Ее родной брат Чезаре едва ли не своими руками удавил ее мужа, и она стенает и рвет на себе волосы, обнимает любимого мужа (уже мертвого, разумеется), и когда это приводит в гнев любимого ею брата Чезаре, она обнимает и брата, а когда отец узнает о том, что она любит Чезаре, и намеревается едва ли не убить Чезаре, горячо любимого Чезаре, она молит отца о том, что он не должен этого делать, ибо она умрет, если у нее отнимут любимого брата. Она всегда искренна. И тогда, когда спит с отцом, и тогда, когда спит со старшим братом Джиованни, и тогда, когда спит с любимым и вспыльчивым Чезаре, и тогда, когда к ней приходят и бросаются в объятья слуги и герцоги, купцы и военачальники. Она щедра в своей любви. Щедра до бесконечности. Она готова умереть, лишь бы доставить всем радость. Она не понимает и сожалеет, почему же так гнусно устроен мир, почему надо непременно кого-то убивать. Но, решает все же она, в этом есть особая необходимость. Просто все должны потихоньку умирать, многих ждут виселицы, тюрьмы, костры — иначе для чего все это придумано? Она бесподобно искренна. Как и ее отец — веселый папа римский, великий жизнелюб Александр Шестой.

Попов нащупал в развитии рода Борджиа некоторые пружины, которые не грех примерить к другим социальным образованиям. Заметьте здесь, наш подсудимый не случайно вышел на Макиавелли. Фигура крайне любопытная с точки зрения некоторой интеллигентной развращенности.

— Почему развращенности? Это вы любопытно заметили, господин капитан.

— Макиавелли мелок. Как теоретик литературного плана он представляет несомненный интерес. А что касается политики, то он в ней профан. Ни Борджиа, ни последующие правители его не воспринимали всерьез.

— Это не совсем так, — сказал Иннокентий X.

— Знаю, что для некоторых правителей Макиавелли был поводырем. Флорентиец зафиксировал, принципы управления государством. И он это сделал, согласитесь, добросовестно. Мы отклонились.

— Не думаю, — тихо сказал Иннокентий X. — А вы как считаете? — это уже ко мне обратился римский папа.

— Макиавелли — творческий человек. Он сделан из того же теста, что и Савонарола, только Савонарола гибнет, потому что ему был чужд макиавеллизм, а Макиавелли был отвергнут, потому что ему была присуща искренняя горячность Савонаролы. Он — теоретик и несостоявшийся макиавеллист-практик. В отличие от Савонаролы он делал ставку на государственное переустройство, минуя личностные преобразования.

— Ералаш у вас в башке, — недовольно сказал Иннокентий X. — Все не так. Все обеднено. Капитан коснулся в своем бреве интересной темы — личной жизни человека, его индивидуального сознания. И по притязаниям, и по способу наслаждения жизнью Макиавелли был схож с Борджиа. Он был неразборчив в выборе объектов любви: сегодня прачка, завтра трактирщица, послезавтра потаскушка. Он просыпался и не помнил, в чьей постели. И поражался, заметьте, поражался тому, как его могло занести к столь отвратительной женщине. Он хохотал до упаду, вспоминая, как прачка с перекошенным

лицом, избитым оспой, лицом, где от носа почти ничего не осталось, как эта дама казалась ему мадонной, совершенством. Вот где надо искать ключ к разгадке Макиавелли. Он был приуготовлен всем своим развитием к искреннему заблуждению. Он создавал в своем разуме, как теперь говорят, модель нового общества, из грязи и из дерьма лепил будущую коммуну, ему казалось, что во Флоренции тех времен существует настоящая демократия, а растленный, вероломный Чезаре Борджиа является образцом демократического правителя. Если хотите, в чем-то Макиавелли и есть политический Дон-Кихот. Дон-Кихот по способу мышления. По способу фантастического воображения. И отличается он от идальго только одним: он защищает злодеяния, на что никогда и ни за что не пошел бы герой знаменитого Сервантеса.

Макиавелли — гениальный иллюзионист. Он создал преоригинальнейший жанр — историко-литературной фальсификации. Но не в этом его сила. Не в этом, господа.

— В чем же? — спросил капитан.

— Говорят, в Китае на большие государственные должности ставили поэтов. Так вот, сам факт назначения на пост государственного секретаря литератора, просвещенного человека, историка — это крайне интересно. Макиавелли обозначил эпоху просвещенной монархии. Он сделал попытку соединить авторитарность с демократией. Причем с демократией без крика и истерических воплей, на какую и был только способен Савонарола.

Вспомните, как Макиавелли впервые был поражен, слушая проповеди уже отлученного Савонаролы в храме Святого Марка. Заметьте, Макиавелли знал, что Флоренция обязана доминиканскому монаху своим демократическим устройством. Ему не нравился сам дух проповедей монаха. Его призывы к самоотречению, к бедности. Услышав нутряной вопль, Макиавелли, весельчак и балагур Макиавелли, так тянувшийся к роскоши, к нормальным человеческим слабостям, вдруг увидел, что Савонарола в своем ригоризме фактически зовет к другой, непонятной ему, Макиавелли, жизни, зовет к такой жизни, какую он сам, Савонарола, намерен вести, к жизни, полной страданий и лишений. Представьте себе, в храме стояли два человека — один, уже потеряв почву под ногами, кричал о том, что снизойдет кара господня на злодеев Борджиа, на всех, кто отступает от идеи самоотречения, а другой слушал праведника-лжепророка и, улыбаясь, произносил: «Нет, мы пойдем другим путем. Савонарола — это эмоции. А в политике должен быть чистый расчет. Надо делать ставку не на добро и прочие эфемерные слюнтяйские вещи, а на силу, власть, оружие. Безопасность страны, прочную и надежную защиту от внешних и внутренних врагов нельзя создать одними добрыми проповедями о нравственном обновлении. Государство — это оружие. Государство — это сильная власть. И каждый, кто посягает на справедливое государство, достоин смерти. Смерти. И никаких аппеляций, как этого добивался Савонарола. Казнить всех, кто станет на пути. Казнить и выбрасывать разрезанные пополам тела на площади и мосты, на проселочные дороги и ступеньки храмов. Пусть страх входит в душу каждого гражданина республики вместе с растлевающим зловонием гниющих трупов. Да здравствует республика! Республика, которая уничтожит даже ее создателей, если они, подобно Савонароле, будут уводить законность в сторону своих личных притязаний. И пусть все знают, насколько жестоким и бескомпромиссным может быть государство». И вот тут-то, уважаемые, Макиавелли допускал великую ошибку. Он сделал ставку на сына Борджиа, а надо бы сделать ему ставку на отца Борджиа. Герцог Валентино был неглупым человеком, но если уж говорить начистоту, то главой всех городов и государств Италии был все же римский папа — Александр Шестой. Заметьте, о роли церкви он ни слова не сказал в своем «Государе». Ошибаются те исследователи, которые говорят, что Макиавелли трезв и расчетлив. Ни черта. Он не учитывает реальной обстановки. Он не учел реальной власти Церкви. Церкви, у которой было войско и огромные силы влияния, духовного влияния на правителей.

Истинным политиком был все же не Макиавелли и не Чезаре, а Александр Шестой. Он сумел уничтожить всех своих врагов. Он ни разу не проигрывал в своей борьбе. Причем он не вкладывал в эту борьбу душу. Его мозг работал как машина. Он делал свое дело как бы походя, легко решал важнейшие политические задачи. Решал не суетясь, не мельтеша. У него не было проблем — убивать или не убивать. Если он чуть-чуть заподозрил кого-то не то чтобы в измене, а в некотором надломе преданности, мгновенно решение — убрать. И ему не надо было раздумывать, как это делать. Те, кто способны привести замысел в исполнение, всегда под рукой. Стоит им дать сигнал — и они сделают все необходимое: зарежут, бросят в темницу, сожгут на костре, распнут.

— Что же может дать такая политика человеку? — спросил я.

— Все, — ответил папа. — Спокойную жизнь. Вы думаете, что Савонарола или ваш Аввакум хотели спокойной жизни? Они, возомнив себя посланниками бога на земле, хотели всем навязать мученическую жизнь. А это, согласитесь, безнравственно. Мученичество — это удел отдельных богов. Удел особых людей, именуемых пророками. Скажите, капитан, когда в народе усиливается жажда мученичества?

Капитан повернулся лицом к Иннокентию X.

— Жажда мученичества объясняется только одним: когда государство утопает в роскоши, когда коррупция, казнокрадство, разврат и изнеженность достигают своего предела. В шестнадцатом веке, когда еретиков жгли сотнями, не было жажды мученичества. В те страшные времена была жажда отдать жизнь за государство, за короля, а не за свободу.

Свобода — всегда бунт. Человек склонен к бунтам. К свободе. Но когда бунт делал человека счастливым? Когда бунт приносил хлеб и мясо, дарил сладости и покой? Когда бунт уничтожал страх? Бунт несовместим ни с колыбельной, ни с любовью, ни с мирной старостью. Бунт — всегда огонь, всегда

ожидание смерти, возмездия. Всегда — разрушение. Мы избавим человечество от бунта. И поэтому сделаем его счастливым!

— Значит, и от свободы? — не выдержал я.

— А вот здесь-то и основной водораздел нашего спора, — пояснил капитан. — Что считать свободой? Кто в настоящую минуту более свободен: я с развязанными руками или мой подзащитный с завязанными руками? Подзащитный убежден, что он более свободен.

— Я так не считаю, — сказал я.

— А я так считаю. Именно так. Я менее свободен. Потому что мой подзащитный не печется о моей судьбе. Ему наплевать, что станется с капитаном Брыскаловым. А я в ответе за его жизнь. И моя дальнейшая судьба зависит от его судьбы. В этом я вижу не только приватную, но и государственную задачу. В этом основа свободы...

— Так-так-так, — зацокал Иннокентий X. — Это совсем интересно сказано. Совсем забавно. Ну-ка, еще разочек это же самое!

— С подзащитным я вот уже две недели полемизирую по основным трем вопросам: что есть истина? что есть добро? что есть любовь? Ответить на любой из трех вопросов — значит решить главные проблемы человеческого устройства. Еще никому этого не удавалось: ни инквизиции, ни ее противникам. (В эту минуту капитан Брыскалов был прекрасен.) Изучая судьбы мучеников, я поверил в великую истину: приблизиться к святости, такой святости, какая может и должна быть святее сидящего здесь папы, — это значит всегда быть готовым к самосожжению. К тому великому шагу, который только и может нас приобщить к познанию трех названных вопросов. Эту истину я впитал, когда прощался со своим отцом, который мне сказал: «Я иду отдавать жизнь за новый порядок на земле, за то, чтобы нашему народу всегда светило солнце». Когда отец это говорил, я плакал, потому что тоже хотел, чтобы только нашему народу светило солнце.

— Ну вот что, господа, — резко оборвал капитанскую речь Иннокентий X. Таким резким и взволнованным его никто не видел раньше. Папа встал. Поправил мантию. И посмотрел на собак — Франца и Копегу. Посмотрел так, будто увидел их впервые. Затем позвал собак прищелкиванием большого и среднего пальцев. Раздался мягкий, приятно стреляющий звук. Собаки тихо сдвинулись с места и побрели к ногам папы. — Так вот, господа, я не хотел с вами всерьез касаться вопросов веры, я думал обойтись обычным формальным расследованием, но здесь нечто другое. Здесь мы имеем дело с некоторым заблуждением. Капитан Брыскалов умолчал в своем представлении о некоторых деталях своей личной жизни, которая и породила его столь смутные настроения.

— Я готов дать пояснения, — ответил капитан Брыскалов. — Я, ваше преосвященство, ничего не намерен утаивать. Братцы, — неожиданно сказал это слово капитан, — его преосвященство вот что имеют в виду. Дело в том, что нынешний здешний начальник управления лагерей женат на известной по прошлому веку дочери политического эмигранта Павла Морозова. Ада Морозова, дворянка по происхождению, родом из Вологды по матери и по отцу из Чикаго, вернулась на родину вместе с отцом и тут же была с отцом посажена в тюрьму, а затем направлена в эти края. Полковник Шафранов влюбился в Аду Морозову во время одного из допросов и затем добился для нее вольного поселения. А после рождения второго ребенка ему было разрешено оформить с Адой Морозовой законный брак. Как видите, я, Брыскалов Валерий Кононович, имею некоторое отношение к Аде Морозовой, поскольку мой отец был двоюродным братом Елены Брыскаловой, матери Ады Шафрановой, которая по матери была Брыскалова, а по отцу Морозова. Его преосвященство меня обвиняет в том, что я, находясь на настоящей службе в чине капитана, веду как бы двойной образ жизни. Первый мой образ связан борьбой с религиозными настроениями. А второй — с их защитой. Могу признаться. Я глубоко религиозный человек. Как и всякий порядочный человек, я верю в три ценности, в три божественные силы: истину, добро и красоту. И готов эти высшие ценности защищать мечом и словом до последней капли крови и последнего дыхания.

Меня его преосвященство обвинил, пожалуй, в том, что я имею родство не с Адой Морозовой, а с самим Николаем Романовичем Шафрановым, грозой местных лагерей, человеком жестоким и вместе с тем необыкновенно широким и дальновидным. Да, я состою в некотором родстве с Шафрановым. Больше того, на эту должность я и попал благодаря своему родственнику. Он мне сказал однажды: «Приходи ко мне работать. Будешь специализироваться по интеллигенции». Меня, откровенно говоря, увлекла историческая перспектива. Суриков, Веласкес, Рембрандт видели мир извне. А мне представлялась исключительная возможность увидеть самый разный мир изнутри. И то, что я увидел благодаря Шафранову, никому из живописцев не удавалось увидеть. Скажем, в судьбе Попова я не только исследователь. Но и творец, творец не столько его будущей судьбы, сколько будущей истории. Я изучил его прошлое, вышел на прогноз его развития.

— И что с прогнозом?

— Ничего утешительного. Попов готов изучать чужое прошлое и упрямо не желает знать о своем. Он торопится жить, будто у него в запасе сто тысяч лет. Он не только не желает знать своих близких родственников, он, как и многие, ему подобные, скрывает все, что касается его родного отца.

— Неужели вы не желаете увидеть своего отца? — спросил удивленный Иннокентий X.

— Я не желаю говорить на эту тему, — ответил я нервно.

— И все-таки мы устроим вам эту встречу. Инквизиторы, ввести поэтапника Попова.

Я приготовился к самому тяжкому испытанию в моей жизни. Висок так заломило, что исчезла боль от ключа, врезавшегося в спину! Поразительно, я не

хотел этой встречи. Я знал, всегда знал и верил в то, что я для отца был самым дорогим существом. Был. Я его любил странной, безымянной, бесчувственной, может быть, даже безнравственной любовью. Мне казалось, что я иной раз и злюсь на него, ни в чем не повинного — как же это так именно с ним приключилось: не всех же пересажали, кто-то и остался с детьми. Я никогда не формулировал этих мыслей. Ни днем, ни вечером, ни после обеда, ни в темноте, ни на свету, ни во сне, ни наяву, ни в поле, ни в лесу, ни в туалете, нигде — и ни одной фотографии. Были, но во время бомбежки все разлетелось, ничего не осталось; можно, конечно, у родственников было выпросить, но на это ни у меня, ни у мамы не было решимости. У меня мелькала мысль: а может быть, он для мамы моей был чужим человеком, были ведь у нее и другие потом, когда отца забрали, мужчины, были мужья, один был настоящий, а остальные трое — не поймешь чего: один сам ушел, другого мама выгнала, а третьего не то забрали, не то выселили, только он исчез ночью, и мама о нем не хотела говорить. У мамы, конечно, я это понимаю, с отцом свои счеты, а у меня свои. Он у меня — единственный. Говорят, он был очень веселым человеком. Это его и подвело. Шутил. Над всем посмеивался.

Я прислушался к шагам. Кто-то шел тихо, точно был в шерстяных носках. Первое, что бросилось в глаза, — ноги отца. Страшнее я ничего в жизни не видел. Черные, в струпьях и волдырях.

— Не смотри, сыночек.

— Что у тебя с ногами? — Я подловил себя на том, что не могу, не в состоянии назвать его так, как положено называть сыну. Я понимал разумом, что уже сами по себе мои раздумья безнравственны. Безнравственно и то, что боюсь к нему прикоснуться. Я даже обрадовался тому, что привязан к шкафу. И все же я сказал: — Отец, что у тебя с ногами?

— Волдыри на ступне лопаются. Заживают, а потом лопаются, — он улыбнулся и приблизился ко мне, чтобы погладить меня.

— Отец, я боюсь. Не трогай меня, я боюсь!

— Сыночек, береги маму. Себя береги.

— Отец, ты можешь гордиться своим сыном.

— Сыночек, я не хочу гордиться тобой, я хочу, чтобы ты остался живой. Чтобы у тебя были нормальные ноги.

— За что они тебя так?

— Это само у меня. Никто меня никогда не трогал. Больше всего в жизни, сыночек, надо любить власть. Никогда не ослушивайся, сыночек.

— Отец, есть высшие ценности на земле.

— Сыночек, береги себя. Самая высшая ценность на земле — это жизнь.

— Свидание окончено, — объявил инквизитор, и я тут же услышал голос Иннокентия X:

— Сукин ты сын, Попов. Сердца у тебя нет!

Я видел, как исказилось лицо отца. Он торопился сказать:

— Когда меня забирали, ты все кричал: «Папочка, и я с тобой! Возьми и меня с собой!» У тебя были такие чистенькие розовенькие ножки. Я поцеловал твои ножки. Я этого никогда не забуду...

Я не знаю, что со мной произошло, я смотрел на окровавленные ноги отца, а перед глазами стояла картина: он, пышущий здоровьем, целует ребенку ноги. Теперь его уводили.

— Папочка! Папочка! — что есть силы завопил я, но отца уже не было в бараке.

Говорят, что я потерял сознание. Когда пришел в себя, у меня спросили:

— Готов ты к мученичеству за идею?

— Готов, — тихо вырвалось у меня.

— И ноги у тебя будут как у отца. И на это ты согласен?

— Согласен, — ответил я со слезами на глазах.

— Ложь, все ложь! — заорал что есть мочи капитан и опрокинул стол. — Не нужны заблуждения! Не нужны самоотречения! Пора избавить людей от пыток и страданий. У нас нет оснований для враждебности. У нас единая классовая структура! — И капитан прыгнул в огонь, а потом в воду.

— Вот как все обернулось в вашем доме, ваше преосвященство, — тихо сказал я.

— Филигранная работа, сеньор Брыскалов, — похвалил капитана Иннокентий X. — Прекрасная игра.

— Нет-нет. Вы меня не так поняли. Я сейчас бесподобно искренен, — перебил папу капитан. — И эта искренность нужна нам для спасения веры. Для спасения государств. Для избавления народов от войн и репрессий.

Багровая мантия Иннокентия X вдруг затрепетала.

— На этом прервем сегодняшнее заседание суда, — сказал Иннокентий X. — Уведите военнопленного. — Это относилось ко мне.

Два инквизитора, как мне показалось, Гера и Кашкадамов, подхватили меня за выкрученные назад руки и швырнули в снег.

13

Валерия Петровна вбежала в учительскую и, увидев меня, присела рядом, откинув хвост шубы.

— Вы мне нужны, — сказал она шепотом. — Только я вас могу спасти. Что вы делаете?

— Рисую пятое явление третьего акта, — ответил я. — Иннокентий Десятый перед судом истории. Очень забавно.

— Я думаю, вам с этим придется расстаться.

— То есть как это расстаться?

— У меня для вас такое есть, что вы себе и представить не можете.

— Ну, выкладывайте.

— Я не знаю, чем все это кончится. Вас обвиняют в разврате. Вы должны мне довериться. Я одна способна вам помочь. Только все-все по порядку вы должны мне рассказать.

— Где, когда, сколько, — подсказал я, как бы поддерживая могучий дамский энтузиазм.

— Не смейтесь. Дело оборачивается скверно. Из тех мест еще никто не выходил. Я сама видела целый том, исписанный по вашему делу. Все эти Иннокентии Шестые и Филиппы Десятые...

— Наоборот.

— Что наоборот?

— Филлиппа Десятого не было в натуре. Понимаете, не было. Поэтому тома недействительны.

— У них все действительно. В пятницу уже результат был известен. Предварительное заседание суда, правда, отложили. Но уже первое совещание и первые показания свидетелей проверены. Факты все подтвердились. Есть только один вариант. Надо пойти по уголовному делу. Я так мужа своего спасла. Он музыкантом был. Сволочь порядочная, но музыкант прекрасный. Пришла я к нему в тюрьму — страшно смотреть — в черной робе, а все-таки интеллигент. Ложку, знаете, держит алюминиевую, как скрипку, красиво. И как посмотрел на меня — брови домиком, слезы на глазах, благодарности слезы, разумеется, за то, что от политической статьи его спасла, а то, знаете, он все больше зарубежную классику наяривал, космополитизм собирались ему пришить, тоже у него свои Иннокентии были и эти Себастьяны и Гайдны, я их всех бы в помойку, а он всех в программу совал, мало ему наших Рубинштейнов было, так нет же, выпендриваться стал, а потом, в робе когда сидел, благодарил: «И коллектив здесь хороший, и начальники хорошие», он всю им блатную музыку на оркестр переложил, так вот, я ему статью организовала, тоже непросто было, специальную компанию сбила: две проститутки, два хулигана, один мясник, такой порядочный был мясник, мне любые куски рубил, так вот, они драку затеяли, проститутке глаз подбили, она же и подала в суд на моего мужа. Сработало. Такой спектакль отшмаляли. А то бы как пить дать червонец схватил по пятьдесят восьмой. Вам тоже помогу. Мелкое хищение устроим. Скажем, в частном доме можно стащить что-нибудь. Есть у меня тут одна бабеночка. У нее можно слямзить какой-нибудь примус или ковровую дорожку, а можно и то и другое, а еще лучше — белье с веревки. Все в мешочек вечерком, чтобы в голову никому не пришло раньше времени ловить. А потом поймать с поличным должны. Это обдумаем. Можно Федьку Лупатого попросить. Это ухажер этой бабенки, ее Фенькой звать. Он, Лупатый, всегда говорит: «А мне Фенька до феньки». Смешной такой. Попросим, чтобы в морду вам не сильно давал. А можно и без Лупатого обойтись. С понятыми домой прийти. С обыском. И тряхануть как следует. Нет, пожалуй, с обыском ни к чему. Лучше, чтобы Федька Лупатый с поличным поймал. А там суд. Каких-нибудь две недели — и в местный лагерь года на два, а может быть, и на вольные поселения на лесоповал устроим. Для своих все можно сделать. Ой, как Шафранов-то обрадуется!

— Шафранов?

— Ну а кто же?

— А он при чем?

— Ну, вы мне не темните. Мне-то можно все начистоту. До чего у вас дело дошло? Если уж сильно, тоже помогу. Есть у меня знакомые — и акушерка, и врач.

— Вы, когда шли сюда, Иннокентия не встретили?

— Опять шутите? На вас дело завели. Понимаете?

— Меняю. Меняю! — сказал я, обращаясь к Валерии Петровне. — Меняю ваше предложение на мое.

— Что вы? О чем? — всполошилась завучиха.

— Вы в тюрьму. Я вам устрою кражу мужского белья. Двое подштанников, трое носков — и в каталажку, а я на ваше место — вторым завучем, — вы давно уже этого побаиваетесь. Смотрю на вас, и сердце у меня колотится. Знал я одну стерву, тоже, как у вас, брови домиком, ей семнадцать лет дали за кражу в американском посольстве электрического стула.

Валерия от моей энергической тирады стала краснее пунцовой мантии Иннокентия X на портрете работы Веласкеса.

— Нахал! Как вы смеете так разговаривать! Вы а-а-па-а-зорили школу, апазорили коллектив! — Она нажимала на буквы «а», точно так полнее могла выплеснуть свои обиды.

— Почему же я нахал? — сказал я вежливенько, так вежливенько, что даже во рту у меня стало сладко от приторности. — Вы такая воспитанная женщина, а предлагаете мне с вами вдариться в воровство женского белья — это несолидно при вашем положении, Валерия Петровна!

Валерия расхохоталась.

— С вами и пошутить нельзя. Ну зачем вы такой неуемный? Вот и первый мой муж был...

— Брови домиком! Алюминевой ложечкой на нарах...

— Да-да, совершенно верно. Вы-то откуда знаете?

— Так мы в одном скрипичном квартете с ним пиликали.

— Опять смеетесь! А я хотела вам помочь.

— Срок небольшой выбить?

— Глупый вы. Ох, какой глупый. Жизни вы этой не хлебнули еще сполна. Хотела вам помочь, а теперь даже если вы попросите, не помогу. Погибайте!

Я поднялся, чтобы уйти.

— Да, вот еще что. Самое главное. Шафранова Ада Борисовна к вам придет. Помните, я вам ни о чем не говорила.

В коридоре меня ждала Шафранова.

— Вы ко мне? Я примерно знаю, с чем вы. Это несусветная ложь!

— Со Светочкой плохо. Помогите. Вы нашего родственника Брыскалова Валерия Кононовича знаете?

— Познакомился.

— Он что-то наболтал у нас. Светка схватилась вам помогать. Вы в ее глазах самый чистый человек на этой земле.

— Вы меня в этом вините?

— Бог с вами. Я никого ни в чем не виню.

Только, знаете, страшно мне за мою девочку. Первая любовь у нее.

— Любовь? К кому?

— К вам!

— ?!

— Да, вот так получилось. Отец взбешен. Я боюсь, что он ее замучит подозрениями. Замучит допросами. Он вас сживет со света.

Мы вошли в класс. Ада Борисовна села за парту. Тяжело вздохнула и умоляюще посмотрела на меня:

— Вы меня извините. Я просто не знаю, что мне делать. Самое лучшее нам бы уехать отсюда.

«Уехать? — подумал я. И ничего не сказал. — Жаль. Зачем же уезжать? А кто же будет играть красавицу Морозову? Кто сыграет Анжелику из моего спектакля «Иннокентий X, Веласкес и другие»? Кто даст моему синтетическому курсу, моему театру накал чистоты, поэзии, возвышенной утонченности?»

— Нет-нет, — сказал я. — Вы напрасно волнуетесь. Я пойду к вашему мужу. Я поговорю со Светой. Все будет хорошо. Вы убедитесь сами — все будет хорошо!

Ада Борисовна улыбнулась. И тут же напряглась, точно учуяла новую беду. Она сказала:

— Теперь я поняла вас. Я поняла, почему Светочка так привязалась к вам. Вы чистый человек. Но здесь есть опасности. Вам пытается помочь мой племянник. Но вы не очень-то на него рассчитывайте. Он может подвести.

— Я ни на кого не рассчитываю. И вообще я ничего дурного не сделал. Мне нечего бояться. Понимаете, нечего.

Шафрановна улыбнулась.

— Вы мне разрешите закурить? — Она вытащила портсигарчик и предложила мне сигарету. — Поверьте, я хорошо знаю жизнь и немало натерпелась на своем веку. Не хотелось, чтобы вы хлебнули хотя бы десятую часть того, что мне пришлось испытать. Вы должны понять меня. Она моя дочь. Единственная. И когда она не спит ночью — меня это сводит с ума. У нее здоровье под угрозой. А она помимо уроков пишет эти сцены из бог знает какой жизни. Ну кому нужен Иннокентий Десятый? Я сорок лет прожила и не знала о его существовании. А тут все наши знакомые разыскивают материал для Светочки: Иннокентий, Янсений, Аввакум, Морозова — жуть!

Я тяжело вздохнул и горько усмехнулся: сразу эта дама стала мне противной...

— Вы меня извините. Я знаю: не то говорю. Я скверная женщина. Я растерялась из-за моей девочки. Вы знаете, у нее сегодня подскочило давление. В такие годы.

— Что вы предлагаете? — резко спросил я.

— Вы на меня не сердитесь. Есть только один выход из этой ситуации. Или нам, или вам уехать отсюда. Уехать немедленно. Мы вам поможем. Квартиру на новом месте. Хотите, в Сивую Маску или в Воркуту? На любую должность.

— Вы так решили?

— Так будет лучше. Мы бы уехали, но нам это сложнее... К тому же здесь дела оборачиваются прескверно. Может так случиться, что мы окажемся не в состоянии вам помочь.

— Запугиваете?

— Я говорю правду. Я беседовала с вашей матерью...

Как только были произнесены эти слова, так кровь хлынула к моему лицу и я едва не потерял сознание.

— Вы мерзкая женщина! — вырвалось у меня.

Шафрановна молчала.

— Вон! Убирайтесь вон, — проговорил я шепотом. — Я никуда не уеду, и делайте с вашим мужем, что хотите.

— Простите меня. Хотите, я стану перед вами на колени? — Шафранова смотрела на меня, и в ее глазах заблестели слезы.

И как только слезы одна за другой покатились по ее щекам, так и мой гнев точно остыл, и мне до боли стало жалко и мать, и дочь ее, и даже в одну секунду я готов был куда угодно уехать, лишь бы им, Шафрановым, было хорошо и покойно.

— Я все сделаю, как вы скажете, — сказал я. — Простите меня, Ада Борисовна. Я со своей стороны никаких поводов не давал для чувств вашей дочери...

— Я это знаю. Вы святой человек!

Ада Борисовна зарыдала, и плечи ее задергались над партой.

— Все будет хорошо. Все будет хорошо, — бормотал я.

Ада Борисовна через две минуты уже глядела на меня смеющимися глазами:

— И вам будет хорошо. Вам здесь ни в коем разе нельзя оставаться, поверьте мне...

14

— И вы ей поверили? Она вас разжалобила? Помните, я вам говорила, что самый близкий человек может стать врагом на всю жизнь? Так вот, моя мама стала моим врагом. И, наверное, теперь уже никогда я не смогу ей простить. — Света была возбуждена. Времени было мало. И она торопилась. — Мама хитрая, она может к кому угодно приспособиться. Я раньше думала, что она добрая и щедрая. Она подлая, моя мамочка. Она ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. Вы думаете, она мне добра желает? Она не знает, что такое добро. Я сыта по горло ее представлениями о жизни. Отец при всей своей прямолинейности и жестокости куда справедливее и человечнее.

— Ты не имеешь права так говорить о родителях, — сказал я строго. — Твоя мать прекрасная женщина. Она любит тебя. Ты должна любить маму.

— Опять обязанности. Я всегда буду любить своих родителей. Но надо хоть один раз, как вы говорили, соотнести все с высшими ценностями.

— Суд над родителями?

— Я никого не собираюсь осуждать. Я хочу понять жизнь моего отца, моей матери. Для чего, собственно, мы изучаем всех этих Аввакумов, Морозо-

вых, мадонн, Пушкиных, Достоевских? Разве не для того, чтобы понять самих себя?

— Это очень опасные параллели. Нельзя напрямую соединять исторические судьбы с реальными событиями сегодняшнего дня.

— Я и не соединяю. Меня интересуют поступки моего отца и моей мамы. Я люблю папу, но он был поставлен в такие условия, когда надо было, по-моему, поступать против совести. Он добивал и мучил — вот что я поняла.

И Света заплакала. Я сидел растерянный, не зная, что делать.

— Папа — человек долга, вот как я объясняю его жизнь. Он верил, что так надо поступать. Он всегда выполнял долг.

— Что же тебя мучит? — говорю я.

— Мучит? Нет, уже не мучит! Тут другое. Иннокентий сам ведь тоже никого не сжигал. Его подводили к тому, чтобы он давал согласие на казнь. А есть еще другая категория людей — это та, с чьего ведома творится зло.

— Ты о ком?

— О моей маме. Я ведь долго молчала, когда заговаривали о той женщине в розовой шали, которая покончила с собой...

— Морозова?

— Да, Морозова. Она двоюродная сестра моей мамы.

— Уму непостижимо.

— И тем не менеее это так. Утром пятнадцатого февраля Лариса была у нас в доме. Я спала, а проснулась от крика: «Моей ноги у тебя больше не будет». «Кто это был?» — спросила я у мамы. «Не твое дело!» — ответила она. Я стала настаивать. И мама мне все рассказала.

— Чего же хотела Лариса?

— Она просила помощи, чтобы расследовать убийство.

— Так это было убийство?

— Она так считает. Ей кто-то сказал, что его убили. Затравили собаками...

— А папа знал, что этот человек — жених Ларисы?

— Знал. У них давняя вражда. Он пытался ему помочь вначале, и от этого тоже были неприятности. На отца написали донос, и он едва уцелел в сорок девятом году.

— И ты больше не видела родственницу?

— Нет, я на следующий день была на вокзале, но она не стала со мной разговаривать.

— А потом?

— А потом, девятнадцатого февраля, ее не стало. Света посмотрела на меня и замолчала.

— Что же дальше? — спросил я.

— А дальше мама предупредила: «Если хочешь убить отца, можешь рассказать ему о Морозовой». Я спросила: «Как это убить?» Она сказала: «Обыкновенно. Из пистолета. Возьмет и застрелится. Он на грани». Я спросила: «Как это на грани?» А мама сказала: «Отстань!» Я поняла: она имеет в виду последнюю комиссию по реабилитации, куда и Брыскалов вошел. И теперь убийство Морозовой стали связывать с вами...

— Со мной?!

— Я сама листала огромное дело, где было множество показаний о том, что видели вас в номере Морозовой в ночь на девятнадцатое февраля. Я еще обратила внимание, что почему-то при этом упоминалась отмена крепостного права...

— Чепуха какая-то! — сказал я.

— Я тоже думала, что чепуха, но меня эта отмена крепостного права очень поразила. И еще поразило то, что в бумагах перечисляются все наши герои — и Иннокентий Десятый, Веласкес, боярыня Морозова, Макиавелли, Лукреция Борджиа. И еще я обратила внимание на то, что некоторые бумаги были написаны вашей рукой. Я ваш почерк ни с чьим не спутаю. Неужели вы унизились до того, что сами стали писать доносы?

Света смотрела на меня в упор.

— Молчите? Значит, писали?!

— Значит, писал, — ответил я.

— Зачем же вы? Выходит, говорить и восхищаться протопопом Аввакумом — это одно, а жить по законам честности — это совсем другое!!! Но сейчас совсем о другом я хочу узнать. Вы действительно были в ночь на девятнадцатое февраля в номере Морозовой?

Света смотрела со злостью. В ее глазах сверкало нетерпение, и скажи я, что я был в номере, я тут же получил бы такую жестокую и, впрочем, весьма желанную и справедливую пощечину.

— А ты как считаешь? — спросил я и так беззащитно посмотрел в ее бархатные глаза, что она вмиг смягчилась.

— Я вам верю.

— На вокзале я был, — ответил я, и Света вздрогнула, — а в номере не был. Меня поразило ее лицо...

— Вам нельзя отсюда уезжать. Если вы уедете, значит, всем будет ясно: вы виноваты во всем.

— А как же мама?

— Мама решает другие задачи. И еще один вопрос, который мне хотелось бы с вами обговорить, — сказала Света, и я был поражен, с какой твердостью она это сказала. — Мне пришла в голову одна фантазия. Я, как вы знаете, увлеклась театром и всем говорила, какой вы хороший учитель и какую пользу приносите школе.

Сказав это, Света замолчала.

— Продолжай, — попросил я.

— Мама стала доказывать, что ваши эксперименты только время отнимают у ребят, что если кому и надо, так тот сам займется и историей, и искусством, и театром.

— Ты так считаешь? — спросил я.

— Я так не считаю. Если бы я так считала, то не стала бы помогать вам.

Мне снова стало досадно и обидно, что она так запросто дает понять мне, что я в сравнении с нею беспомощный, слабый, которого можно как угодно оскорбить, опекать или даже выселить из Печоры.

Что-то подсказало мне, что надо взять верх над ученицей. Взять немедленно, чтобы не оставалось привкуса этой отвратительной возможной моей зависимости.

— А мама в общем-то права, — сказал я. — Тебе, может быть, и мало что дадут наши занятия. Самое ценное образование — это то, какое сам человек добывает без подсказки извне. Конечно, в наших занятиях есть свои достоинства. Мы же не только пополняем багаж знаний. Мы учимся понимать себя, учимся помогать другим. Все это мама называет чепухой. Может быть, она и права. Потому что человеколюбием не добудешь ни денег, ни благополучия.

— Это не так. — Глаза у Светы снова заблестели тем чудесным блеском молодости, какой всегда привлекал меня и зажигал до такой степени, что хотелось и жить, и удвоенно работать, чтобы еще лучше любили и понимали друг друга мои дети. — Я спросила однажды у мамы: «Ты счастлива? У тебя же все есть». Мама заплакала и обняла меня. Я поняла тогда, что мама моя несчастна. И вот теперь, когда мама снова стала говорить мне, что мне это не нужно и то не нужно, я вдруг у нее спросила: «Мама, а ты счастлива?» Мама закричала: «Не юродствуй!» Вот тогда-то я и объявила дома, что влюблена в вас и что если хоть один волосок упадет с вашей головы, я поступлю так, как поступила Лариса. Как только я напомнила про Ларису, мама упала в обморок.

— А потом что?

— А потом мама обняла меня. Она у меня добрая! — И глаза у Светы снова заблестели ликующим блеском. — И мы долго плакали. Плакали до тех пор, пока не пришел папа.

Я смотрел на Свету, должно быть, грустными глазами. Не было у меня теперь желания показывать свое превосходство. Слабость подступила. Может быть, это состояние мое стало понятным Свете, она что-то уловила из этого моего состояния слабости, потому, возможно, и сказала прямо противоположное тому, что говорила до сих пор;

— Я обманула маму. Я сказала, что влюблена в вас, потому что у меня действительно не было никакого выхода.

— Значит, ты сказала маме неправду?! — спросил я жестко.

— Нет, я сказала правду, правду, что влюблена, только не в вас, вы здесь ни при чем. Я люблю другого человека.

То, что потом сказала вдруг Света, совершенно сшибло меня, я ушам своим не верил, дыхание у меня сбилось, я готов был разорвать ее на части, и если бы она не была всего лишь моей ученицей, я бы не знаю что ей наговорил. А впрочем, как знать: ее глаза смотрели теперь так доверчиво и так участливо, точно она признавалась мне в новых своих достоинствах: «А вы знаете, я вот такая наивная и ничего не смогу с собой поделать, мне так хочется всех любить и всем помогать. Что в этом дурного?» Она сказала, играя своими прекрасными бархатными глазами:

— Вы мне понадобились как прикрытие. — Света, увидев замешательство на моем лице, пустилась в оправдания. — А что? Вам ничего дурного от моего признания не будет, а мне польза.

Я смотрел на Свету. Я всегда считал ее умной девочкой, но чтобы вот так она плела сети и вот так бойко расставляла в игре человеческие фишки, этого я предположить не мог. С одной стороны, меня обрадовало то, что я непричастен к ее любви, а с другой — меня задело то, что она так смело меня вышвырнула из своей души. Отреклась. Ведь был же нимб. Было сияние. Был морозный вечер, когда мы спасались от бандитов. Я, должно быть, растерялся, и она смягчилась и по-доброму улыбнулась. Наверное, ей чуточку стало жалко меня.

— Не вздумайте звонить моей маме и сообщать ей приятную новость о том, что вы не имеет к моим чувствам никакого отношения. Это будет глупо, потому что папа заподозрит вас в обмане, а во-вторых, мне пока невыгодно что-либо менять в этой истории.

Света посмотрела на меня уже спокойно. Вытащила из-под парты свой кожаный блестящий портфель и достала оттуда тетрадь:

— Вот что у меня получилось для сценария. Сегодня будет репетиция?

— Будет, — машинально ответил я. Мимо нас, наверное, в десятый раз прошел Чернов. В его взгляде была не то злобность, не то растерянность. Я понял: не меня поджидал Валерий.

Двадцать лет спустя Чернов — он станет начальником отряда в исправительно-трудовой колонии — признается мне:

— Помните, тогда на Печоре вы чуть не утонули. Так это я выстрелил в вашу лодку...

15

Заседание вел Чаркин.

— Я не специалист в этих делах, — сказал он. — Но товарищи подскажут, если я ошибусь. Кое-какие пьески я смотрел и могу как педагог сказать: поражен! Поражен, товарищи! Как можно с такими вещами выходить на сцену? Это же открытая пропаганда религии. Попы и монахини превращены в положительных персонажей. Мы, значит, в одну дуду, а Попов в другую. Нет, товарищи, мы должны сейчас осудить такую пропаганду, потому что здесь все ведет к разрушению школы, нашего порядка, нашей морали. В спектакле были такие слова, что мне, мужчине, их стыдно произносить. Мне хотелось бы, чтобы товарищ Попов ответил, из каких соображений он нецензурщину вводит в норму. Почему мы боремся с нецензурщиной, а он ее насаждает? Объясните!

— Я знаю, о чем вы говорите, — сказал я. — Я не сторонник был этого текста. Но ребята настояли, чтобы сохранить все же историческую достоверность...

— Не убедительно. Согласитесь, не убедительно.

— Согласен, — сказал я. — Ну, предположим, это большой недостаток, а дальше? А все остальное?

— И все остальное никуда не годится! Откровенная проповедь поповщины.

— А вот здесь я категорически не согласен, — сказал я решительно. — Детям удалось добыть такие факты, которые раскрывают порочность церкви, как православной, так и католической. Надо различать поповщину и высокую нравственную религиозность как соответствие нравственной культуре, как праведность и борьбу за нее... Разобраться в истоках становления русской культуры, западничества, почвенности исканий русских — значит многое понять из того, о чем писали Пушкин и Достоевский, Белинский и Гоголь, Некрасов и Чернышевский, Аксаковы и Григорович, Достоевский и Толстой... Сейчас ребята работают над духовными истоками восстания Степана Разина. Речи Аввакума были духовным огнем повстанцев...

Мне не дали закончить. Поднялась Мария Леонтьевна:

— Я нашла в работе Владимира Петровича серьезные идеологические ошибки. Подумайте только, на что он ориентирует детей? На страдания. Так он и сказал ученикам: «Хорошее чувство надо выстрадать. Каждый человек должен пройти через свою собственную боль». Что это? Мы воспитываем оптимистов, у нас макаренковский метод — мажор, а тут страдания! А где истоки? В религии, товарищи. Культ страданий, теперь мы знаем, необходим был правящим кругам. Я недавно рассказывала школьникам о страстных и пасхальных мистериях, которые были распространены по всему католическому Западу, а также на юге России. Причем как в России, так и на Западе в роли «реального Христа» всегда выступал бедняк.

Я смотрела постановки Владимира Петровича и все время думала: почему делается такой напор на пытки, издевательства и страдания? Я не случайно так подробно коснулась вопроса страданий. Товарищ Попов намерен воспитывать у детей чувство сострадания. Но это ведь вредно. Сострадание — буржуазная категория. Давайте с вами заглянем в самую суть христианского культа страданий. Я снова хочу продолжить свой рассказ. Обратите внимание, никто не приходит на помощь Христу. Ни его ученики, ни мать, ни родственники, ни бог, ни ангелы. Христос брошен всеми. Предан всеми. И это возведение в абсолют культа страдания и предательства, культа насилия и одиночества становилось примером для неимущих.

А вот теперь я хочу провести некоторую аналогию между тем, что мы видели в пьесах, поставленных нашим учителем, и той идейной направленностью христианства, о чем я вам только что рассказала. Перед нами Аввакум и Савонарола — два фанатика, два мученика, сожженных церковниками. Автор постановок как бы любуется этими людьми, как бы ставит в пример их мужество, в то время как мы знаем, что в их лицах мы имеем оголтелых проповедников религии, опиума для народа. Товарищи, мы за то, чтобы показывать на сцене смерть, но смерть такую, которая звала бы на подвиг за освобождение простых людей. Я хочу сказать, что мы за революционную смерть, а не за реакционность в искусстве, да еще в самодеятельном. Вот почему я категорически призываю осудить возникшее в нашей школе вредное направление.

Я ушам своим не верил. Я следил за лицами. Я почти не видел этих лиц. Мое сознание схватывало растерянность в синих глазах Нины, огонь в глазах Алины, сосредоточенность в глазах Новикова, настороженность в острых зрачках Чаркина.

Я снова попросил слова и допустил промах: стал обвинять Марию Леонтьевну:

— Вы не любите свой народ. Вы не знаете его истории. Вы не хотите признать прошлой культуры народа. Мученическая жизнь протопопа Аввакума — это, может быть, первое гражданское выступление русской интеллигенции и против самодержавия, и против темных сил реакции. В этом бунте, если хотите, впервые, возможно, так ярко обнаружилось национальное сознание. Не было бы Аввакума — не было бы и Пушкина, Белинского и Гоголя, Щедрина и Достоевского. Не было бы Морозовой — не было бы и Татьяны Лариной, и тургеневских женщин не было бы, не было бы русских декабристок, не было бы Софьи Перовской, Веры Засулич и многих других.

Вы хотите сказать, что Аввакум темен. Так это не его беда. Все бунты и многие выступления против власти пробуждали темные силы, жестокость, озлобленность. Народный гнев не знает границ. Мы осуждаем неоправданную жестокость, когда в этом же спектакле подвергли критике нечаевскую «Народную расправу». Надо четко определить, от какого наследства мы должны отказаться и какое должны беречь, изучать. От Аввакума и от Морозовой отказались и самодержавие, и духовенство. Мы не смеем быть в одном стане с самодержавием.

По мере того как я говорил, аудитория как бы сближалась со мной. Я чувствовал, как все, в том числе и Марья Александровна, становились на мою сторону. Я видел лица моих коллег, ощущал горячее напряжение зала, меня обжигала накаленная атмосфера, и от этого я говорил еще ярче, и еще ярче становились лица присутствующих.

Я чувствовал, как совсем на моей стороне была Алина. Она будто угадывала мои слова, ждала новых слов, и эти слова вылетали из моих уст, и оттого, что это были именно те слова, каких она ждала, ее лицо все больше и больше светлело.

И Новиков вынужден был подытожить:

— Хорошо, что в нашем коллективе идут здоровые споры.

И Алина как-то особенно тепло посмотрела на меня. Посмотрела с такой хорошей робостью, что в один миг вся неприязнь моя к ней исчезла. Она не решалась совсем приблизиться, и я чувствовал, что ей хотелось бы подойти ко мне. И я сам направился в ее сторону.

— Вы были прекрасны, — сказала она.

— Почему вы? — спросил я. — Ты сегодня выглядишь как никогда.

Я посмотрел в ее глаза. В них было столько нежности, столько тепла, что я почему-то сказал:

— Ты меня прости.

— Я думала, ты не станешь со мной разговаривать.

— Я избегаю тебя совсем по другой причине.

— По какой?

— Это долго. Мне бы хотелось тебе рассказать.

— Приходи.

Я не успел ответить ей: подошел капитан.

— Вы теперь постоянно будете работать в нашей школе? — насмешливо спросил я.

— Я за эти два часа прочел все ваши сценарии. Любопытно. Очень удачные ссылки на ленинскую работу «От какого наследства мы отказываемся». Я вас мог бы поздравить с победой, если бы...

— Что если бы?

— Не думаю, чтобы вы были правы, — ответил капитан. — Ответьте мне на один вопрос: если бы протопоп Аввакум вместе с Морозовой пришли к власти, что бы они сделали?

— Во всяком случае, не было бы казнокрадства, насилия, лжи.

Капитан расхохотался:

— Вы мистик. Иллюзионист. Вы — фальсификатор. Вспомните, как в своем «Житии» Аввакум грозится: вот если придет к власти, он всех, как собак, перевешает. Нет в Аввакуме ни теплоты, ни мягкости, ни снисхождения к людям. Потому-то от него отказались и имущие и неимущие. Аввакум — это бешенство человеческого сознания. Это слепота. А вы его в интеллигенты, в революционные демократы...

16

Меня, как правило, не обманывали предчувствия. Я шел в тот вечер к Алине как на казнь. На сладкую, пленительную казнь.

Я настраивался на юмор, а в глазах, ощущал это, мельтешил страх. Страх перед женщиной. Перед ее красотой. Перед предательством. Я чувствовал, идя к ней: что-то предаю. Уничтожаю высокую ноту в себе.

Я уже увидел дерматином обитую дверь. Мгновенная мысль рассказать ей про сон чуть рассмешила меня, и страх исчез. Она откроет дверь, а я скажу: «А Иннокентий где?» «Какой Иннокентий?» — улыбнется она. «Десятый, — скажу я. — Мне такой сон приснился...»

Всего этого разговора не получилось.

Как только я открыл дверь и ступил в темноту и едва успел захлопнуть за собой дверь, как оказался в объятиях Алины.

— Хорошо, что ты пришел. Нет-нет, не зажигай свет, — говорила она. — Собачий холод. Нина уехала. Я только растопила. Скоро будет жарко.

— Я тебе расскажу про сон, — забормотал было я.

— Не надо никаких снов. Хватит снов. Подожди немножко. Рука затекла.

Я воспользовался минутой и сбросил с себя одежду. Ощутил Алину совсем по-другому. Она казалась маленькой, тоненькой. Я попытался еще что-то спросить, но она закрыла мне рот своей ладонью.

То, что произошло дальше, было столь неожиданным для меня, столь постыдным, что я долгое время не мог прийти в себя. Как только я ощутил щекой сначала жесткую кружевную узорность Алининой рубашки, а потом тело, так в одно мгновение вся моя нежность слилась с ее нежностью; закружилось все во мне, и в этом кружении я несся неведомо куда, и моя неопытность радовалась и страдала, подсознание догадывалось, что вершится что-то неположенное, оскорбительное, должно быть, для нее, такой бесконечно сильной и бесконечно уверенной в себе. Я не мог пошевельнуться, не мог оторвать щеку от ее груди, а кружение будто заклинило, и сознание охлаждалось, и пошевельнуться было страшно, и я вздрогнул почти испуганно, когда ее тонкая кисть руки коснулась моей головы, и когда она коснулась уха, какая-то изморозь пошла по телу, и она тихо сказала: «Иди ко мне» — и чуть-чуть попыталась будто подтянуть меня к себе, а мне нельзя было шевелиться, нельзя было голову приподнять (так подсказывало сознание), потому что, я это уже понял, теплый поток принадлежал только мне, я был одиноким в этом моем мире тепла, все мои долгие ожидания, все мои страдания, все мое болезненное воображение — все снялось в одно мгновение, снялось ею, но без ее ведома, ее тело было щедрее и добрее ее сердца и ее головы, и я был заодно даже не с ее телом, а с ее кожей, а еще точнее, с ее образом, который долго складывался во мне и сегодня открылся вдруг пряным теплым ароматом ее покоя, ее свежести, ее ожидания радости. Для меня уже не существовала она как таковая. Она соединилась с моей единственной абстракцией красоты, с моим единственным идеалом женщины. С тем идеалом, который жил во мне своей жизнью, идеалом, который я боготворил. И теперь я вот так просто и счастливо обрел этот живой образ красоты, бездумно прикоснулся к нежной груди, чтобы так неожиданно разрядиться сладостной болью.

Я тогда не знал, сколь разнятся идеальный образ женской красоты и реальный, с запахами, блеском глаз, где столько всего: лукавства, страдания, ликующего колдовства, смирения, жалости, победного зова и раскаяния. Я знал, что значит боготворить женщину — идею, что значит возвышать и возвышаться до полного перехода в мир забвений и грез. И я не знал, что значит ощущать последнюю границу чистоты женского нравственного начала, женственности и будущей еще большей женственности, потому что эта женственность в материнство вся уходит, счастливой полнотой обнаруживает себя в будущем, и я чувствовал, что мне в те секунды необходимо только одно — боготворение и еще раз боготворение, и в этом явившемся желании я едва-едва пошевелился, едва-едва коснулся ее груди, впадинкой ладони вобрал плотную округлость, отчего она снова вздрогнула и теперь совсем резко, нетерпеливо притянула меня к себе. Я чувствовал, что она протестует и против моего боготворения, и против моей инертности. В ней будто наметилась злость против меня (я это ощутил каким-то десятым чувством), и хоть она еще прикасалась своим теплом ко мне, но в этом прикосновении уже бы-

ло и некоторое отторжение, было сомнение, точно ее женственность остановилась на перепутье, вот куда ее поведет, она не знает — может быть, злобностью обернется ласка, а может быть, в жалость выльется, и остро захотел ее жалости ко мне, к моему телу, которое обмануло ее ожидания, которое встрадалось в ее тело, в ее образ. Я чувствовал, что она все еще не понимает, что со мной произошло, скорее она знала, догадывалась о совсем ином: ей казалось, что я мщу ей за те дни, когда она терзала меня, когда на моих глазах отдалась Гере, я это понял, когда вдруг она неожиданно спросила:

— Ты не можешь мне простить тот вечер?

Я молчал, а мое сознание ухватилось будто за соломинку, и оттого я весь в неискренность ушел, и неискренний, совсем лживый выход наметился было у меня, и я почувствовал, что она сейчас готова одной рукой отшвырнуть одеяло и под предлогом (печку надо посмотреть или еще что-то) выскочить из моего тепла, из моей ошеломительной и нежной боли, и я вдруг увидел воочию эту отчаянность моего положения, и на помощь мне пришло мое отвратительное малодушие, готовое на любые компромиссы, на любые падения, и потому мое боготворение смешалось со своей противоположностью — завуалированной, примятой неискренним покровом, отвратительной лживостью:

— Нет, ты была прекрасна в тот вечер! Ты была восхитительна! До сих пор я не могу успокоиться, настолько ты была прекрасна в тот вечер, я никогда тебя так не любил и, возможно, не буду любить, как в тот вечер!

— Я была тогда совсем без ума!

Я заглянул в ее широко расставленные глаза: желтые, чуть зеленоватые, точно подернутые хризолитовой примутненностью, ее глаза соединились с тем ее отрешенным взглядом, когда я неожиданно раскрыл дверь, и теперь она отнеслась своим сознанием, своей женственностью к тому отвратительному и жестокому вечеру, когда она принадлежала только ему и когда она была счастлива с ним, как женщина, и эта счастливость не имеет никакой альтернативы, и эта счастливость способна на любые пределы безумства и верности, на любые предательства и отступления. И я шел на этот подлый путь, я отдавал ее во власть ее радостного воспоминания, я своими руками относил ее к нему, относил, чтобы сейчас удержать ее рядом с собой, рядом, живую, теплую. И я понимал, что она благодарна мне за то, что я принял ее чувство, принял ее тогдашнюю ослепленность, и за это она снова будто в нерешительности приняла меня, она коснулась ладонью моей щеки, так гладят собак, когда думают о чем-то своем, гладят потому, что нежность к собаке никак не помеха доброму и счастливому воспоминанию, но я все равно был благодарен ей за это нежное, отрешенное, совсем не принадлежащее мне прикосновение. Я снова и снова краешком глаза заглядывал в ее примутненные глаза и видел, как эта примутненность начинает исчезать, как лучом освещенное око стало поигрывать жестковатым светом, точно грани той хризолитности перевернули отшлифованной стороной, повернули ко мне своей прозрачностью, и примутненность совсем исчезла.

— Странно, ты совсем не ревнуешь...

— Я люблю тебя, — снова солгал я, цепляясь за единственную спасительную соломинку.

— Не говори таких слов, — сказала она, будто отстраняясь.

— Я люблю тебя. Безумно люблю тебя, — повторил я, совсем не зная, во что это все выльется.

— А у него не хватило смелости сказать эти слова. Он только пытал: люблю ли я его.

— Гера?

— Кто ж еще...

И она снова была с ним. И теперь я боялся пошевельнуться. Я лихорадочно думал, как же ее увести от Геры, как переключить ее сознание.

— Какое у тебя прекрасное имя, — сделал я пробный ход, и она чуть-чуть зажглась, точно ожидая, куда же повернется ход с ее прекрасным именем, а я уже перехватил ее настороженность, и мой мозг нащупывал ту единственную тропинку, которая вела к ее сердцу. — Твое имя как твоя ароматная кожа, как необыкновенные глаза, такие глаза могут быть только у одаренной женщины. Как ты сегодня смотрела на собрании, как сверкали твои глаза, каким умом они светились, ты поняла, конечно, что я говорил тогда для тебя одной, ты поняла это?

— Ты был прекрасен... — тихо сказала Алина.

— Ластовица моя! Друг мой сердечный, я медом твоих уст насыщаюсь. Звезда утренняя, надежда моя, упование мое...

— Напрокат берешь у Аввакума?

— Именно в такую холодную ночь, когда в печке потрескивали вот так же березовые дрова, Аввакум говорил эти слова прекрасной боярыне. А ты так ничего и не сказала мне про мои постановки.

Я понял, что допустил какую-то ошибку. В одну секунду нежность схлынула с ее лица.

— Мне плевать на твои постановки, на твоих Аввакумов и Морозовых! Я жить хочу! Сейчас жить хочу! И ты мне нужен совсем не потому, что занимаешься этими постановками, мне нужен ты, живой человек. Мне нужны твои глаза, руки, нежность, твоя беспомощность, наконец...

— Почему беспомощность?

— Хватит! — будто отрезала Алина. — Надоело! Я больше всего в жизни ненавижу выяснять отношения. Ненавижу! Я и к Гере пошла, потому что мне до смерти осточертели психоаналитики! Господи, неужели нет на свете простых здоровых людей!?

И Алина вдруг разрыдалась. Я лежал рядом. Догорали дрова. Я встал и подбросил в печь несколько поленьев. Алина смотрела в огонь заплаканными глазами. И стихла, и сжалась в комочек, и вдруг сказала:

— Согрей меня. Обними меня. Я душой замерзла.

Я придвинулся к ней, и новая неожиданность меня ошеломила: появилось вдруг озорное ощущение свободы; и это новое ощущение будто коснулось ее, отчего она рассмеялась.

От алых всполохов в печке подушка, одеяло казались розовыми, и ее лицо, тоже в розовых бликах, вдруг отчетливо напомнило мне, я даже этого испугался, лицо моей мамы, какое было запечатлено на ее девичьих фотографиях: такой же тонкий нос, чуть насмешливые губы и задумчивые глаза. Я силился вызвать совсем другой образ, образ той, о которой я постоянно думал, но тот образ упорно сопротивлялся, будто обвинял меня в предательстве, и лицо мамы, нежное и доброе, становилось все отчетливее и отчетливее. И от этого, может быть, появилось во мне ощущение жалости к ней, возникла острая потребность не обидеть ее, возвысить. Мне хотелось сказать: «Я буду жалеть тебя. Я хочу жалеть тебя». Я даже сказал ей об этом, и она почувствовала, как я хорошо отношусь к ней, и не сказала мне о том, что жалость оскорбляет, хотя я и ждал этих слов. Она задумалась, точно взвешивала решение, и острый блеск мелькнул в ее зрачках. И то, что она мне сказала, совсем разрушило во мне и образ мамы, и образ той, которая жила во мне.

Она сказала тихо, будто по секрету, совсем доверительно:

— Отнесись ко мне как к уличной девке... Очень прошу тебя, отнесись...

Ее глаза нежно закрылись, и тело наполнилось ожиданием, и оттого, что я так явственно видел эту готовность отдаться мне и только мне, и оттого, что теперь она была прекрасна совершенно нечеловеческой красотой, такой красотой, которая вобрала в себя все гармонические начала, всю небесную синь, всю ясность и лучезарность солнечного тепла, от этого, а может быть, и от ее призыва, от ее понукания: «Ну иди же!» — снова я оказался в водовороте, снова нахлынула преждевременная волна, и остатки этой волны коснулись ее тайных ожиданий, и она вскрикнула от этих прикосновений, и я понял — к ней так же быстро пришла радость, и она не отпускала меня, но и не держала, она томилась в покое, в умиротворенности, и ее губы шептали благодарные слова: «Как на свет народилась», и я догадывался, что это неправда, а может, и ошибался, может, она просто мне в чемто помогает: эти слова нужны про запас, это ее игра, ее избавленность от тех сомнений, будто я мщу ей за тот вечер, а может быть, и все не так, и я бы снова и снова вышел бы на свои постыдные покаяния, если бы не ее счастливые глаза, счастливые губы, счастливые щеки, и она придвинулась ко мне и сказала:

— Хочешь, на ушко скажу?

Я подвинулся.

Она долго и приятно сопела в ухо мне. А потом я услышал:

— Ты мне нравишься. Очень нравишься.

— Я люблю тебя, — сказал я с большей уверенностью.

И мне захотелось, чтобы это было правдой. Чтобы она была той единственной женщиной, к которой я так стремился.

— Это была ты, — говорил я. — Я тебя видел тогда. К тебе шел. Тебя не сумел спасти. Ты умерла, не дождавшись меня. А теперь пришла.

— Не говори глупостей. Скажи, я лучше Нины?

Эти слова сбили меня с толку. Я ответил:

— Я не знаю, какая Нина.

— А какая я?

— В тебе всегда два разных человека. И я поражаюсь, откуда при твоей красоте такая грусть в глазах! Я подсматриваю за тобой иногда, и когда ты знаешь, что за тобой никто не наблюдает, ты до убийственности грустна, так грустна, что плакать хочется, твои кончики губ чуть-чуть вздрагивают, твои огромные глаза заволакиваются хризолитовой примутненностью....

— Хризолитовой?

— Именно хризолитовой. Может быть, я ошибаюсь, но у моей мамы был камень, она говорила, что это хризолит. А примутненность такая, будто переспелый виноград ты рассматриваешь на солнце — знаешь и уверен, что чисто внутри, а все равно такая теплая и такая прекрасно-нежная примутненность есть...

— Это ты прекрасно сказал. Так неожиданно. Значит, ты увидел грусть? Странно, я же не сумасбродка!

— Ты сумасбродка. Как моя боярыня Морозова.

Что произошло, когда я снова сказал про Морозову!

— Никогда не говори мне про Морозову! Я слышать о ней не хочу! Ненавижу Морозову! И не юродствуй при мне!

«Что с тобой?» — хотел было сказать я. Но сдержался. А потом все же спросил:

— Что тебе не нравится в ней?

— Кликушество! Муки по доброй воле! Я в этом ничего не понимаю, но и у тебя к этому склонность! Ты, я это знаю, хотел бы приобщиться к лику, если бы гарантия была! Только гарантий никаких нет! И я ненавижу ложь! Какую угодно! Пусть эта ложь будет самой распреподобной. Я не стыжусь никакого безобразия, если оно искренне. Я не стыжусь того, что отдалась этому скоту...

— Ты Геру так?!

— А как иначе! Ты думаешь, я не понимаю ничего! Это ты ничего не понимаешь! Ты задурманен своими протопопами и детей дурачишь! Я развращена, думаешь, чем?! Только одним: ранним чтением непозволительной литературы.

— Мопассан, Золя?

Алина рассмеялась:

— Знаток душ человеческих. Мопассан и Золя — это самая невинная литература. Мне с детства подсовывали другие книжки: Достоевский и Метерлинк, Цветаева и Мережковский, Скиталец и Арцыбашев — вот где раннее растление...

— Ты сумасшедшая...

— Ничего я не сумасшедшая. В моей душе, когда еще она не окрепла, все было перевернуто, все вверх дном, представь себе, вырыли колодец, и все в нем перевернули, и родники законопатили — сочится кое-где родничок, да нечистый он. Примутненность сплошная. Это ты верно сказал. И вышла я в жизнь с этим сумбуром: все относительно, только творчество все оправдывает, только оно нравственно...

— И кто же тебя больше всего растлил?

— Представь себе, твой любимый Федор Михайлович!

— Ты рехнулась!

— Ничуть! Ты подумай да взвесь. Весь он сам, весь его облик до конца развратен, до конца преступен, все его желания, все его безудержные помыслы, все его крайности — женщины, деньги, игры — все готов продать, все готов поставить на карту, чтобы один миг прочувствовать в этой жизни, и наслаждения его безудержные, представь себе, оттого, что он сознает, что по-дьявольски морочит всем голову, что, выступая против бесовских начал, сам становится великим бесом... Ты думаешь, откуда взялся его Ставрогин? Это он сам. Это известный факт — он насиловал одиннадцатилетних девочек.

По мере того как она говорила, в душе моей становилось все холоднее и холоднее.

— Что ты несешь? — робко прошептал я.

— Общеизвестное, — ответила Алина. — Типичный мелкобуржуазный контрик. Все наиграно: и христианская любовь, и призывы к безоглядному самопожертвованию, и всепрощение, и культ страданий! Чепуха на постном масле!

Я слушал и не протестовал больше. Она говорила расхожие слова, произносила общеизвестные оценки. Я только все больше и больше отдалялся от нее. Так могли говорить Чаркин или Иван с Марьей, но она, Алина? — не верилось.

И Алина будто поняла, что говорит не то, вдруг стала высказывать прямо противоположное:

— А как я любила Достоевского, как любила в тихие вечера сидеть и читать «Неточку Незванову»! Как я плакала, когда читала!.. Плакала, потому что он про мою жизнь все написал, написал как есть, со всеми острыми окончаниями, со всеми несчастьями, смертями...

— Ты несчастна?

— Я не могу понять одного. Ты на самом деле идиот или рядишься под идиота! — Это она сказала совсем злобно.

Я молчал. Не знал, как поступить: обидеться, или прикинуться этаким бравым весельчаком, или ответить грубостью.

— Прости меня, пожалуйста, — сказала Алина. — Хочешь чаю?

— Я совсем не могу понять, какая ты...

— Вот это и хорошо... Послушай, ты правду мне сказал?

— Насчет Нины? Правду. Нет у меня с ней романа! И никогда не будет!

— И все-таки я поступила нехорошо.

— Ты поступила прекрасно.

— А хочешь правду? Только дай слово, что ты не воспользуешься ею!

— Даю слово.

— Когда я приехала в эту гнусную дыру и когда меня определили на постой к Нине, а ты целый месяц на картошке с ребятами был, так вот она о тебе все уши прожужжала. Я уже, не зная тебя, была влюблена. Я помнила все твои слова, все твои мысли, я думала про себя: «Как же так случилось, что я позже Нины приехала сюда и она захватила его?» Я думала: «Это же тот человек, которого я всю жизнь жду». И спрашивала у Нины: «А он тебя любит?» А она говорила: «Я ему нравлюсь». А я допытывалась: «Он тебе сказал об этом?» А она: «Я с ним на эту тему не говорила». И я спрашивала: «Ну откуда ты знаешь, что он к тебе хорошо относится?» А она: «Я вижу это». И потом взяла с меня слово, чтобы я никогда с тобой не кокетничала. И я дала ей слово. И когда мы в первый раз встретились, помнишь, это было в учительской, мы с Ниной сидели на диване, а ты вошел и сел напротив, и когда ты мимо прошел, то по мне — как волна прошла, и Нина посмотрела в мою сторону и все поняла, и я в ее глазах прочла такие слова: «Ты же мне поклялась».

Ты помнишь, как я тебе тогда нагрубила? Я просто не владела собой, и еще я грубила, чтобы угодить Нине. Господи, как мне было больно тогда, когда вырвались у меня эти мерзкие слова: «А вы, оказывается, пошляк». И я хотела извиниться, но прозвенел звонок и ты выбежал из учительской. И я весь вечер ждала, когда у тебя закончится репетиция, и хотела тебе сказать, очень просто сказать: «Ради бога, извините меня, я так не думаю, вы, должно быть, хороший человек, а я дрянная женщина...» Но пришла Нина и увела меня. А что делалось со мною, когда мы собирались на вечеринку! Нина меня весь день терроризировала и распределяла роли. Мне она и Геру и Толю отдавала. — Алина вдруг расхохоталась. — А здорово я умею дурачить?!

Я пожал плечами:

— Может быть, и здорово...

Я пристально всматривался в ее одухотворенное лицо и понимал, что сейчас она меня ну никак не дурачит. И вдруг одна догадка пронзила мой мозг, я еще пристальнее всмотрелся в ее зрачки — теперь они напоминали хризолит чистейшей огранки: светились и переливались, как и положено переливаться драгоценному камню в такой волшебно-изумительной оправе, — и мне пришла в голову мысль о том, что Алина непременно должна иметь прямое отношение ко всем происшедшим событиям, ибо я это уже давно установил: все в этом мире повязано, все в этом мире закольцовано, и каждое звено цепи, будучи абсолютно целым и завершенным, все же нанизано на другие кольца, отчего цепь получается — а значит, и общая связь между судьбами.

— Я тебе сейчас одну вещь скажу, такую, что ты обалдеешь совсем...

— Ты считаешь, что я еще не обалдел?

— Нет-нет, это совсем другое...

— Ну скажи...

— А знаешь, что я по матери Морозова? Не поверишь ведь?

И Алина набросилась на меня вдруг с такими радостными воплями, с такими быстрыми, и смеющимися, и расплескивающимися, и ослепительно щедрыми поцелуями, что я весь в один миг съежился, и так радостно стало у меня на душе, что я едва не расплакался от счастья.

Нутром я чуял, что наши отношения обречены, что все закончено и в этом ослепительном приступе ее счастья есть горечь, есть какая-то надтреснутая прощальность. И мне хотелось не знать, не помнить, не ведать и об этой надтреснутости, и о холодности в душе, и о том, что сердце мое что-то не принимает в ней, протестует против нее. Хотелось, чтобы любовь продолжилась, чтобы разрослась, чтобы была тем единственным чувством, какое вспыхнуло тогда в автобусе, жаром обдало в тот памятный морозный вечер.

Хотелось верить в то, что ее щедрая душа, все ее несметные богатства души принадлежат мне или, по крайней мере, должны принадлежать.

— Я еще тебе одну штуку могу сказать, и такую, что твое сердце не выдержит.

Я насторожился.

— Нет. Это потом. В другой раз. Нет, я сейчас скажу. Я решила. Сейчас решила. Мы уедем отсюда. Завтра же. Я знаю, тебе уже сделали предложение. Я поеду с тобой. Ты талантлив. Ты многого сможешь добиться. Я тебе помогу. Что же ты молчишь? Не согласен?

— Оставить все. Бросить детей.

— Каких детей?! Этих гаденышей?! Значит, ты не любишь меня! Не любишь!! — Она закрыла лицо руками. — А я-то думала. Господи, дура!

Я не знал, как мне быть, попытался погладить ее плечо.

— Не прикасайся ко мне! Не смей!

Я потихоньку встал. Оделся и стал ждать в надежде, что меня остановят.

— Уходи! — сказала она обреченно.

Я вновь попытался приблизиться к ней, попытался сказать о том, что мне нельзя уезжать из Печоры сейчас, что здесь в моей жизни решается нечто очень и очень важное. Она перебила меня гневно:

— Не желаю слушать! Противно! Уходи! Вон!

Я потом только, много лет спустя, понял, что это была истерика. Я ушел, и хотя состояние было у меня преотвратным, а все равно в душе, где-то в самой глубине, плескалась крошечная уверенность в том, что я вырвался из плена, что предательство по отношению к моей единственной и настоящей любви позади.

17

Некто четвертый — это мой страх. Он сидит во мне. Он правит мной. Подсказывает. Корректирует. Вымогает. Удерживает. Бросает в дрожь. Усиливает кровообращение. Вгоняет в жар. В холод. Создает ощущение беспомощности. Оцепенения. Полного разлада с другими моими «я». Некто четвертый — самое трезвое и, может быть, самое мрачное начало моей души.

Страх, который поселился во мне в связи с моими непонятными историями (допросы, доносы, обвинения несусветные), был не только длительным, он был еще и неуловимым. Он был как бы потусторонним явлением. Крохотный этот некто четвертый перетащил в меня все свои пожитки, точно говоря мне: «А знаешь, я надолго к тебе. Вот здесь, за извилинами левого полушария, я поставлю раскладушку, а рядом стол и приемничек. Напротив вколочу вешалку. Ты не гляди, что у меня столько барахла: надо каждый раз в новое рядиться. Жизнь-то у меня тайная. И всюду бывать надо, и все знать надо. Поэтому у меня столько барахла и столько сундуков. Вот те два обитых железом еще из прошлой эры перешли ко мне. Там хранится инструмент».

Инструмент был забавным. Набор пилочек в форме лекал. Можно перепиливать любые нервные окончания на любой глубине. А вот эта система молоточков с такими гибкими проваливающимися головками нужна для образования очагов серого размягчения. С помощью молоточков можно вызвать различные проявления тромбозов, кратковременные дезориентировки, головокружение, потемнение в глазах, головные острые и тупые боли. Есть еще целый набор цедилок, леечек, дудочек, шприцев — эти штуки помогают увеличить или уменьшить вязкость крови или свертываемость. А вот этот набор инструментов — кисточки грязного цвета — вызывает тошноты, рвоты, отрыжки и боли в животе. Это только часть физических проявлений страха. Некто четвертый, в зависимости от поведения клиента, регулирует дозировку физиологических вмешательств. Если клиент не лезет на рожон, а мирно и тихо переносит невзгоды, то степень физиологического вмешательства значительно снижается. А единственно эффективная форма избавления от физиологических вмешательств — полное смирение.

Смирение, утверждает некто четвертый, это истинная свобода человека. По видимости, это последняя граница падения. И именно поэтому смирение есть избавление от всех тревог. Это полное расслабление. Та нирвана, которой пытаются йоги достичь искусственными мерами саморегуляции. Смирение — это вид борьбы, основанный на глубоко природном начале. Когда человек или насекомое — бац, и лапки кверху, противник уходит. А тем временем человечек или насекомое с поднятыми ногами набирают силу, нормализуют кровообращение, дыхание.

Смирение, подчеркивает некто четвертый, последняя граница падения. Первая и последняя ступень борьбы. Не тот побеждает, кто, в напряжении преодолевая страх, кидается на врага с открытыми или с закрытыми глазами, а тот, кто впадает в смирение, которое ближе всего к настоящей и подлинно светлой любви к человеку. В смирении, лежа на спине и задрав лапки кверху, можно все обдумать, не торопясь все взвесить, выбрать альтернативные или безальтернативные решения и потом уже СМИРЕННО кинуться в бой, в полном покое выйти на неравный бой — и кто знает, кто окажется побежденным: тот, кто ногой наступит на грудь противника, или тот, кто через пламя костра уйдет в небо?

Это состояние необходимости длительного смирения я ощутил как-то в один миг, когда взял да и сказал маме:

— Я на работу не пойду. Все у меня развалилось внутри.

Мама забеспокоилась. Грелочку. Термометр. Чай. Сухарики. Мигом все в комнате преобразилось. На стульчике, что был рядом, еще теплилась белизна белого халатика — врач приходил, температура тридцать семь и две.

Я лежу в обнимку вместе с моим некто четвертым, грею его, миленького, и нам сладко и тепло. Он приблизил свою раскладушечку. Перебрался ко мне на грудь, зашептал лихорадочно:

— Кто ты такой, чтобы ершиться? Маленький человечек. Ты себя не равняй с протопопом. Аввакум — гигант. С царем на «ты». Фигура государственного масштаба.

— Я и не думаю себя с ним равнять. Я хотел в этой моей жизни немного счастья. А счастье я не мыслю с обманом. Все, что я сам недобрал в жизни, хочу дать детям.

— Ты уверен, что то, что ты им даешь, им необходимо?

— Я другой веры не знаю.

— А почему ты считаешь, что тот же Рубинский не прав? Может быть, он честнее тебя. Праведнее.

— Разве он готов пойти на самый последний шаг, чтобы защитить свою позицию?

— Разве способность пойти на последний шаг дает право превосходства над другими людьми?

— Так принято считать.

— Кто принял это? Где и когда принято?

— Человечество приняло.

— Человечество приняло и другое. Быть человеком везде и всюду. А ты посмотри на себя. Во что ты превратился! Ты стал кидаться на людей. Ты безобразно поступаешь по отношению к тем, кто хочет тебе добра. Угомонись — и к тебе все повернутся лицом.

— Тогда я не смогу жить.

— Направь свою энергию на что угодно. Займись искусством — пиши картины, учи иностранный язык, читай.

— Я не могу бросить детей. Не могу бросить эту школу. Мне надо выпутаться из всех этих историй. Я не знают, как это сделать! Я чувствую, как надвигается на меня что-то страшное и огромное, и мне не сойти с дороги, меня должно что-то раздавить. Я не удержусь в этой жизни. Я что-то потерял такое, что раньше меня спасало. А теперь нет сил. Совсем нет. Когда я увидел Морозову, я понял, что во мне родилась новая сила. Я всегда мечтал о чистой любви. О том, чтобы жить для любви. Во имя любви, пусть даже безответной. И тогда, когда не стало Морозовой, мне казалось, что я смогу жить и любить ее еще сильнее. А все вышло не так, как хотелось. Я совсем не любил Алину. Просто она очень красивая, и я считал, что она никогда не сможет обратить на меня внимание. А оказалось наоборот. Она совсем не такая, какой мне представлялась. Она так же несчастна, как и я. Может быть, она и любит меня. Но с какой стати ей быть со мной? И все же у меня к ней какое-то недоверие. Тогда она была с Герой. Почему она с ним оказалась? Она так просто об этом говорит. Выскажи я ей свое даже недоумение, она тут же может разгневаться. Отношения у меня с нею какие-то неравные. Она непременно должна стоять надо мной. Над всеми. Она никого не пощадит. И она не злая. Она, должно быть, сильная. Но такие быстро и ломаются. Морозова, наверное, тоже была такой. Я боюсь Морозовой. Боюсь ее силы. Я боюсь капитана. Чего ему от меня нужно? Я боюсь Геры, который следит за мной. Я постоянно чувствую, как он преследует меня. Всюду его следы. Вчера шел в магазин и увидел его шубейку. Он сделал вид, что меня не видит. Но я совершенно точно приметил, что он за мной шел. Я еще замедлил шаг, и он тут же замедлил шаг. И в школе он прошел мимо. Официально кивнул головой. Дал понять, что со мной не намерен общаться как приятель. Кончилось приятельство. Я и у Толи спросил: «Что это Гера со мной почти не разговаривает?» «Ты же знаешь почему»,— ответил Толя. А я думаю, что здесь что-то другое. И Новиков с ним заодно. И, может быть, Алина с ним заодно. Даром что скотом назвала его. И Рубинский с Бреттерами тоже против меня. Рубинский перешел на официальный тон. Екатерина Ивановна подчеркнуто сухо сегодня сказала: «Прошу вас без фамильярностей!» Зло сказала. А вся моя фамильярность и состояла в том, что я сказал: «Милая Екатерина Ивановна». И дураку понятно, что здесь нет никакой фамильярности. Все эти Чаркины, Дребеньковы — эти против, но эти не в счет. Шавки. Что им скажут, то они и будут делать. Получается, что один Новиков со мной по-доброму. Новиков и капитан. Потрясающе как интересно. Иван да Марья как церберы сидят по-прежнему на всех моих уроках. Поучают. Следят. Пока мои нервишки окончательно не сдадут. Такую команду получили. Но это чепуха в сравнении с другим. В сравнении с тем, что я услышал в свой адрес: стукач. Каким образом, родилась эта легенда? Кто ее запустил? А может быть, так оно и есть? Вон сколько бумажек уже подписано мной. Я и не скрываю: готов давать любые показания, которые никого не компрометируют. Кто и какую роль сыграл в моей компрометации? И за руку никого не схватишь. И никого ни в чем не обвинишь. Может быть, я это все придумал? Тогда какого черта от меня все поотворачивались? Пробовал с Рубинским объясниться. Ушел он от разговора. Не стал со мной разговаривать. Просто, мерзавец, повернулся и ушел.

И мама ходит чернее тучи. И каждый раз, наслушавшись их, приходит в дом злая-презлая и обвиняет меня в чем угодно. Самые последние бранные слова вылетают из нее.

После того как она беседовала с Адой Борисовной и по этому поводу у нас получился грандиозный скандал, я не могу назвать ее мамой. В горле застревает. Язык не поворачивается сказать: «Мама». Мне стыдно оттого, что язык не поворачивается. Что-то есть в моем отношении к маме ужасно нехорошее. У мамы все правильно. Как у всех мам. Она не понимает, что эксплуатирует меня. Она и сейчас озабочена здоровьем моим, думаю я, потому что я ей нужен: куда она денется без меня, старенькая, здесь, на Севере. Я понимаю, что мои рассуждения отвратительны.

— У меня душа болит, — говорю я. — А это значит душевнобольной.

— Сумасшедший, не болтай глупости, — отвечает мама.

— «Не дай мне бог сойти с ума» — это Пушкин. Александр Сергеевич. Протопоп не сошел с ума. Выжил. Кремень. И все-таки скандалист. В остроге ссорился с Федором. Зачем? Истина? Может быть, права Алина? — это уже я про себя говорю. Размышляю. Алина — это загадка. Зачем я ей? Как нежна она. Как прекрасна. Вспомнился мне разговор с одним человеком: «Знаете, я прожил жизнь, — говорил он, — и у меня не было красивой женщины. Я вам честно говорю: не было. Не о любви даже говорю, а вот просто о красивой женщине». И он едва не плакал. Так ласково и так болезненно он говорил. Хорошо говорил. А у меня вот есть красивая женщина, думаю я. И нахожу свои мысли прегадкими. Почему? Я не чувствую вины. Ни перед кем. Я никого не обманывал. Нина? Я ей ничего не обещал. Светочка? У меня к ней совершенно особое чувство. Скорее родительское. Острая чистота. Я изменил ей? Нет-нет. Почему она так ревностно следит за мной? А вот Алина — это неожиданность. Откуда такая непосредственность? Совсем не стыдится. Ничего не стыдится. Был Гера, ну и что? Сказала: «Признаться? Не могу долго без мужчины. В горле перехватывает. Ненормальной становлюсь». Правду сказала. И потом рассказала, как мучилась с девственностью. Как выбрала парня. Пригласила в поход. Он строил шалаш. Она помогала. Как было? Противно. Больно. Но как гора с плеч. Вернулась и сразу к подруге: «Посмотри на меня, неужели ничего не изменилось во мне? Неужели все то же самое? Я же женщина теперь. Женщина. Понимаешь, женщина!» И это все мне рассказывает. И про Геру: «Хочешь, все расскажу. С подробностями?» «Не надо», — сказал я. И пожалел. С ума сойти можно. Страх примирил меня с мамой.

— Мама, я влюбился.

— Слава богу, хоть избавлюсь от тебя.

— Мама, я плохо влюбился. Страшно мне.

— Не говори глупостей. Не нужно, чтобы была богатая, нужно, чтобы была красивая, чтобы ты ее любил, чтобы она тебя любила, — это мамина философия.

— Мама, она очень красивая. Мама, а я очень некрасивый?

— Ты ненормальный. — Мама говорит совсем серьезно.

— А почему мне от всего страшно?

— Время, сыночек, такое.

— Время уже другое. И нечего бояться, а я вот боюсь. Всего боюсь. У меня дурные предчувствия. Помнишь, я во время войны всегда угадывал, когда похоронки шли.

— Замолчи и не говори глупостей.

— Вот и сейчас я вижу, как приближается горе.

Мама заплакала:

— Ну, зачем ты меня терзаешь? Зачем меня мучаешь?

— Мамочка, я не буду больше. Это я так просто, дурака повалял. Можно же пошутить.

— Ну какие же это шутки? Скажи, что тебе сготовить? Может, пельмени или утку в духовке запечь?

— Утку. С яблоками — это прекрасно.

Мама уходит на кухню, а мне страшно. Я вспоминаю Алину. Ее слова: «Ты всего боишься. Ты разве не чувствуешь, что ты всего боишься? Да отключи ты свою голову. Дай ей передохнуть». А голова не отключается. Она у меня привинчена наглухо. И соединена со всеми клетками души, тела, сердца.

Как, каким образом Алина почувствовала мой страх? Я всегда прячу страх. А он не прячется. Мне только кажется, что мой страх спрятан, а он всегда и везде со мной. Даже тогда, когда я бесстрашен. И мой страх — это такое бесстрашное чудовище, потому он и сильнее меня, потому он и бесстрашен.

— Я некто четвертый! — вы меня так изволили окрестить. Ну, что ж, сударь, приступим к операции. Вот мой инструмент. Спокойно. Сейчас начнем. Приготовились к потемнению в глазах. Так, еще немножко. Не дышать. А теперь привстаньте. — И некто четвертый влепил мне пощечину. Копия той, какая однажды сажена была в мою физиономию фрицем. Маленьким толстеньким фрицем. Его так и звали — Фриц — из арбайтгруппы. У него была мясистая крепкая рука. И он влепил мне, маленькому, пощечину, и я влетел в навозную кучу. И убежал. И он смеялся вслед. И теперь некто четвертый влепил мне ту же пощечину. За что?

— Это за то, что ты растлеваешь себя, блудный сын.

— Я не растлеваю себя. Я хочу немножко радости. Я, может быть, люблю Алину.

Некто четверый еще влепил пощечину, теперь в другую щеку.

— За что?

— За ложь. Ты не любишь. Ты не имеешь права любить. Ты — приспособление для страха. Страхоноситель. А страхоноситель не способен любить. Ты никогда не сможешь преодолеть меня. Ты мой узник. Раб. А рабы не могут любить. Они могут случаться. Они — животные. Ты и есть животное! Гнусное животное, наделенное умом и вкусом.

— Мама. Укрой меня... Посиди со мной.

— У тебя жар?

— Кажется.

Мама снова ушла.

— Ну что ж, продолжим, — это снова некто четвертый. — Зачем ты ввязался в эти идиотские истории? Если бы я и пожелал спасти тебя, из этого ничего бы не получилось.

— Я хотел как лучше.

— Опять ложь. — И снова удар в глаз.

— Больно! Ты что, с ума спятил, так колотить...

— Вот тебе еще один пирожок! — И удар в зубы. — А теперь давай разберемся, почему тебя несет не туда. Начнем с Новикова. Что он тебе сделал, что его так ненавидишь?

— Он попирает права человеческие. Злоупотребляет властью.

— Тебя же он не оскорблял? Тебя же он любил!

— Ну и что? Я не могу быть спокойным, когда других обижают.

— Лжешь. Если бы тебе грозила смерть, ты бы не полез в драку.

— Я потому и полез, что никому не угрожает смерть.

— Что заставило тебя выступить против несправедливости?

— Во мне сидит огонь. Он сам загорается. Это как наркотик. Так прекрасно ощущать себя смелым. Это сладко.

— Значит, из чистого эгоизма, а не ради истины?

— Если каждый будет поступать по совести и защищать справедливость, тогда наступит мир Истины.

— Мир Истины никогда не наступит, потому что всегда первыми будут вылезать те, кому очень хочется сладкого. Итак, ты с Новиковым не прав.

— Прав. Если никто не будет выступать против неправды, тогда прекратится жизнь. Я живу до тех пор, пока могу называть себя человеком. Потом, я обязан давать детям образец поведения.

— Дети в тысячу раз умнее тебя. Они отлично понимают, насколько ты глуп. Их привлекает твоя смазливая мордочка, то, что называется одухотворенностью, и, наконец, твоя физическая сила. Ты обманываешь детей. Ты не имеешь права звать их к нравственному максимализму. Вся твоя ниточка воспитания тянется к бессмертию. Все твои герои сгорают либо в срубах, либо в паровозных топках, либо в застенках крематория. Заметь, общепринятая историческая революционность уже никого не трогает: она спокойна, такую революционность ты не несешь детям. Ты выкапываешь то, что способно поразить, зажечь.

И у классиков ты отбираешь и даешь детям то, что им не под силу. Они должны окрепнуть. И пичкать их Достоевским и Толстым не следовало бы. Права Алина. С детства она вкусила сладость раздвоенности. Понимаешь, раздвоенности как принципа. Все можно расщеплять. Все. А значит, до бесконечности можно уничтожать. Ломать. Значит, все дозволено. Дети, чтобы выжить и остаться цельными, должны останавливаться. Что-то разъединили раз, а затем тут же остановились: дальше нельзя. Дальше грех. Нельзя познавать все. Нельзя лезть за пределы. А у Достоевского каждый стремится дойти до последней грязи в себе и таким образом достичь гармонии. Если это девочка, то она должна пасть. Чьи-то волосатые грязные руки должны ее распять, и перегарное дыхание должно войти в ее чистую грудь, и потом еще она должна быть вмята в самую дикую, в новую грязь, чтобы там, в грязи, захлебнуться, и едва-едва выжить, и потом ощутить свежесть воздуха, чистоту росы, тепло солнечного света. Что сделалось с Алиной? У нее нет тормозов? Нет. Потому что она столь же прекрасна, сколь и растленна. Вспомни: она же сделала тебе предложение. Но ты испугался. И ты боишься ее, потому что знаешь: ее ничто не остановит, если в ней шевельнется грязное чувство, она уйдет к другому немедленно. И Гера ей нужен был, потому что ей постоянно нужна грязь, чтобы там, в грязи, ощутить в себе острую необходимость очищения, острую потребность гармонии — вот философия Достоевского...

— Неправда. Достоевский гармоничен. Он — продолжение Пушкина.

— Он понимал все совершенство Пушкина. И понимал, что ему никогда не приблизиться к нему. Потому что Пушкин — это весна, а он, Достоевский, — дьявольская дождливая осень. Осклизлые половицы. Желтая лихорадка, холодная изморось. Известкой пахнет. И на панели распластана Алина. Вот твой Достоевский. Тебя любят. Тебе хотят добра. Та же Мария Леонтьевна. Она только и твердит: «Жалко парня. Талантлив. Как ему помочь?».

— Не нужна мне ее лживая помощь. Она и хочет мне помочь, чтобы укрепить несправедливую власть Новикова.

— А чью же власть она должна укреплять? А как ты ведешь себя с капитаном? Тебе повезло, что такой человек расположился к тебе. А ты его избегаешь. Ты его обмануть хочешь? Кинься в ноги ему. Благодари его.

— Прочь! Не могу больше!

Я встаю, потому что прибавилось силы. Я иду и роюсь в книгах. Мне срочно нужно прочесть о том, как Иван Карамазов беседовал с чертом. Мой некто четвертый — это тот же черт. Он никогда не станет моим вторым «я».

Входит мама.

— Почему ты встал? Тут же стенка совсем холодная.

— Ерунда! Теперь все это ерунда! — говорю я, нахожу наконец нужные страницы и начинаю читать.

18

В самый критический момент моего спора с Новиковым подошла Алина.

Я ждал. Алина должна была меня поддержать. Она этого не сделала. Она все сделала наоборот, точно была с Новиковым заодно. Она сказала:

— Владимир Петрович склонен к преувеличениям.

— Но от этого не должна страдать истина, — сделал вывод директор. — Меня настораживало и раньше, когда мне докладывали, что у вас не все в порядке с идеологией. Я старался не верить этому. Не может быть, чтобы у нашего учителя была другая идеология. Откуда ей взяться? А тут я сам убедился. Педагог говорит о том, что существуют еще и общечеловеческие ценности. Понимаете, нет общечеловеческих ценностей. Есть классовые ценности. И ваш Аввакум, и ваш Савонарола защищают ценности своего класса. Аввакум потому и погиб, что выражал ценности отживших бояр, на смену которым пришла знать новой генерации.

— Нельзя так Аввакума рассматривать. Чтобы его понять, надо заглянуть глубже. Надо посмотреть на него с точки зрения общечеловеческих, высших ценностей: совести, доброты, искренности, народности. Аввакум никак не должен быть смешан с отсталым боярством. Он выше и старой и новой генерации. Так

же и Савонарола. Они в видении ценностей, в видении мира приближаются к Рафаэлю.

— Это Аввакум? — И Новиков расхохотался.

— Ну, ты и загнул, — поддержала Новикова Алина.

Я смотрел на Алину. А она уходила от моего взгляда. А мне не стыдно было рассекать на части ее предательство. И я теперь уже спорил с Алиной, а не с Новиковым. И Новиков был рад тому, что его поддерживает новая музыкантша.

— Конечно, загнул, — продолжала Алина. — В Рафаэле нет и грамма жестокости, а Аввакум сплошная жестокость. Я недавно прочла «Житие». Как он хватал за шиворот провинившихся и в землю носом, да по спине палкой, смирение и доброту воспитывал в пастве своей, вот так Рафаэль!

— Тебя бы носом в землю, чтобы научилась понимать что-то! — сказал я. И это было совсем грубо и бестактно.

Я понял, что совершил непоправимую ошибку. И Новиков тут же воспользовался ею.

— Вы не обижайтесь на Владимира Петровича. Вы правильно заметили: он склонен к преувеличениям, — сказал Новиков, глядя на то, как лицо Алины покрывается румянцем.

Я думал над тем, как бы мне исправить ошибку. И сказал:

— Я не так выразился, простите меня, Алина Сергеевна.

Это прозвучало тоже нелепо. Алина посмотрела на Новикова, точно спрашивая у него: «Ну что, простим?»

— Надо простить, — посоветовал Новиков, мягко улыбаясь.

— Рафаэль бы простил, а Аввакум ни за что!

— Аввакум еще бы плетью огрел! — снова рассмеялся Новиков. И мрачновато добавил: — Как сложно все в этом мире. Конечно же, в Аввакуме есть что-то и привлекательное, чистое, что делает его выдающимся человеком.

— Аввакум интересен в личностном плане, — сказала Алина, говоря это Новикову, точно меня здесь и не было. — Он непосредственный человек. Помните, когда вырвали Федору язык, он руками стал шарить во рту у товарища, чтобы убедиться в том, что языка нет.

— Вы хорошо знаете древнерусскую литературу?

— Благодаря нашему общему другу, — ответила Алина, поигрывая глазками. — Я с детьми подбирала к его спектаклям музыку. Когда речь шла о Рафаэле, я играла Моцарта и Сен-Санса, Чайковского и Паганини. А для сопровождения сцен из жизни протопопа я нашла великолепные куски у Мусоргского, Бетховена и Шумана. Есть, конечно, в Аввакуме какая-то великая сумасшединка...

Они разговаривали между собой. А меня точно и не было здесь. А я не мог уйти от них. Мне досадно было по разным причинам, и главной была та, что меня все же обвинили в идеологических изъянах, не просто в каких-либо методических искривлениях, а в политических ошибках. И Алина знала и понимала это. И продолжала плести всякую ерунду, поддерживая тем самым Новикова.

Это потом уже я думал. Как же так случилось в жизни, что мы какие-то главные вещи не называем своими именами? Почему я Новикову не мог объяснить, что никаких идеологических искривлений я не допускал, что у меня нет другой родины, что в этой моей и Новикова родине я защищаю самое лучшее, что есть в ней, и что это самое лучшее смыкается, соединяется, сливается воедино со всеми лучшими общечеловеческими образцами, что только так и воссоздается в сердце воспитанника человеческая культура. Впрочем, вся суть-то и была как раз в том, что ни Алина, ни Новиков меня все равно бы не поняли. Я глядел на Алину и поражался, с каким подобострастием она заглядывала в рот директору. Как она улыбалась. Как играла глазами. И Новиков оценивал прелесть Алины. В нем проснулся мужчина. И этот мужчина сейчас напропалую кокетничал, и от этого мне становилось еще горестнее.

— Ну так что? Снимать спектакли? — спросил я. И это была моя новая глупость.

— У вас, Владимир Петрович, болезненное самолюбие. Нельзя с таким самолюбием общаться с людьми. Приведите себя в порядок, а потом разговаривайте. — Эти слова уже Новиков произнес разгневанно.

И Алина опустила глаза, ей было стыдно взглянуть на меня. Она точно говорила: «Ну вот, так тебе и надо! Получил за свою невоспитанность! Так тебе и надо!» И мне было больно оттого, что она так думает.

— Я вас не понял, — сказал я. — Мне снимать спектакли?

— Это ваше дело. Я сделал все, чтобы вы нормально работали, — ответил Новиков и ушел прочь.

Я некоторое время помедлил, не глядя в сторону Алины. Ждал, что она скажет. А она, наверное, ждала, что я скажу в свое оправдание. И я почему-то не мог ей сказать напрямую: «Ты меня предала!» И она не могла меня обвинять напрямую, иначе как же она может оправдать себя? И мы молча оделись. Молча вышли на улицу. И молча говорили меж собой:

Я: Мне показалось, что ты ко мне хорошо относишься.

Она: Ты совершенно невоспитанный человек.

Я: При чем здесь воспитанность?

Она: А при том, что мне стыдно было за то, как ты ведешь себя. Ты был мне просто неприятен. И я была на стороне Новикова, потому что он вел себя самым достойным образом.

Я: Ну и катись к своему Новикову!

Она: Вот, снова твоя невоспитанность. Нельзя так. Ты становишься отвратительным, когда в тебе просыпается злоба!

Я: Если бы не было во мне этой злости, может быть, не было бы ничего. Я и злюсь оттого, что кругом одно непонимание.

Она: А я бы так не сказала. Новиков все понимает. И с ним приятно говорить.

Я: Его понимание мертво. Вообще всякое ограниченное понимание мертво, как мертва всякая рациональность, даже если она пламенная. Он понимает на

уровне обыденного сознания. Вроде бы все умеет разложить, а от его раскладов тошно становится.

Она: Я тоже понимаю на уровне обыденного сознания?

Я: Хуже. Ты еще добавляешь к своему пониманию жалкое приспособленчество. Ты не дотягиваешься до высшего прочувствования нравственных законов. Потому тебе и Достоевский чужд. Тебе чуждо всякое художественное воплощение идей. А Достоевский — художник идей. Ты усвоила внешние атрибуты его поэтики. Ах, он меня растлил? Да ты себя сама растлила. И с Герой у тебя не было случайности. И с Новиковым при подходящем случае ты могла бы оказаться!

Она: Ты просто мерзкий, отвратительный тип. Ты — букашка!

Я: Прости меня.

Алина смотрит на меня большими чистыми глазами и говорит:

— Ты прости меня. Я не так себя вела в разговоре с Новиковым. Ты на меня очень злишься?

Мне бы пожать Алине руку. Мне бы тут же ухватиться за это ее восхитительное признание, а не могу перебороть я свое чувство, свою неприязнь, и потому из меня лезут злые слова;

— Отчего ты взяла, что я злюсь? Я совсем не злюсь.

Я лгу, и она понимает, что я лгу, она понимает, что я не хочу сейчас с нею быть искренним, что я держу ее на расстоянии, что я не хочу впускать ее на ту глубину, на которой сам нахожусь. Она снимает варежку и тихонечко просовывает свою руку ко мне в карман, где мой кулачок сжал от холода продрогшие пальцы. Как только она прикоснулась к моей руке, мне совсем на душе стало легко, я придвинулся к ее руке и сказал облегченно:

— Все это чепуха.

Я сказал это, а на самом деле не снялась моя тревога, и потому, когда мы подходили к дому ее, я очень хотел, чтобы в окошке горел свет, раз горит свет, значит, Нина дома, а раз Нина дома, значит, мне не надо заходить. Этого сама Алина не хочет.

Свет в окне горел.

— Погуляем еще немножко, — сказала Алина. — Какой мягкий и добрый снег. Луна и снег — это всегда красиво.

Мне и хотелось поговорить с Алиной, и я ощущал, что она тоже хотела бы еще что-то сказать в свое оправдание. И я чувствовал, что никогда из моей души не выйдет ее предательская заноза. Так и буду общаться с нею: чем ближе, тем сильнее будет впиваться эта проклятая предательская игла, которую она вогнала в мою душу, когда шел нелепый разговор с Новиковым. А ее рука снова была в моей руке, и от ее тепла что-то менялось в моем отношении к ней. Мое тело спокойно, это было часто, предавало мою мысль, душу. И сейчас ее тепло в моей руке соединилось с моим теплом, и это тепло настаивало: «Надо кончать эту свару. Ты должен быть благороднее. Ты же действительно был отвратительным в споре с Новиковым, беспомощным. А беспомощность никому не нужна».

— Я был отвратительным в споре с Новиковым, — сказал я, не совсем рассчитывая, что она меня в чем-то станет переубеждать, но я хотел, чтобы она меня чуть-чуть в чем-то переубедила, сказав, что я все же, несмотря на мою отвратительность, все же был в чем-то выше Новикова. Но она этого не сказала. Она согласилась со мной:

— Да, ты был ужасным. Пойми меня правильно. Во мне сидит еще и чисто женское раздражение. Ты выглядел как шут. Мне было стыдно за тебя. Ты вел себя как последний идиот.

— А ты вела себя как последняя... — Меня снова взорвало. Во мне все кипело. Я выдернул свою руку из кармана, и ее рука вылетела из моего кармана.

— Ну договаривай! Договаривай! — сказала Алина.

— Я ничего не хочу договаривать.

Я еще хотел сказать, что мне все надоели. Все надоело. Но я этого не сказал.

— Я думала, что ты другой. Я и потянулась к тебе, потому что увидела в тебе что-то особенное. Ты действительно особенный, когда с детьми. Потому что ты им отдаешь самое лучшее. А со всеми другими ты просто такой же скот, как и все. Тебе, кстати, и дети нужны, чтобы утверждаться особым образом. Ты уникальный рафинированный эгоист. Я поняла, почему тебя ненавидят все.

— Кто ненавидит? И здесь ты меня предала.

— Отстань от меня. Отстань! — сказала она зло и быстро, почти бегом направилась к своему крыльцу.

Когда дверь за нею захлопнулась, мне стало совсем горько.

И вдруг жуткая догадка пришла в голову. Алина предавала меня из страха. Она и сама боится себе признаться в этом. А для оправдания красивые слова. А вдруг и Лариса Морозова, окажись на месте Алины, вела себя так же? Ведь по каким-то причинам она изменила Вершину и вышла замуж за Блодова. Что движет этим миром? Что движет этим жутким, ненасытным, неутоляемым беспокойством человеческих душ? Поразительная штука — по представлениям окружающих, даже самых близких мне людей (мамы, Алины, Рубинского, Бреттеров), я — дурной человек. Может быть, это действительно так. Я взглянул на окна домов — от них шло тепло: за окнами движения фигур — дети, отцы, дочери, матери, обстоятельный Чаркин помогает, должно быть, сыну решать задачки. Дребеньков и Новиков пьют чай. Марья да Иван тихо сумерничают в субботний вечер. Прекрасно живут люди — так и мама говорит, думают о детях, о доме, о семье, о работе. И все у них хорошо, а у меня все плохо.

Волна самоуничижения накрыла меня. Сколько же во мне, думал я, гадостности? Обвинил Алину в предательстве, сам-то в аналогичной ситуации вел бы себя так же. Вспомнилось, как однажды ко мне подошел Рубинский и сказал: «Ты извини, но я наблюдал, как ты разговаривал с Новиковым. В твоем голосе, в твоих движениях было столько подобострастия, что на

тебя жутко было смотреть». Я промолчал. Не мог возражать. Вспомнил свое выражение лица, вспомнил свои жесты, вспомнил, движения и интонации, и мне стало стыдно. Стыдно стало даже продолжать воспоминания, столь мерзким вдруг я себе показался. А ведь тогда, когда я говорил с Новиковым, то ощущал взгляды Рубинского и взгляды Бреттер, острые, насмешливые, осуждающие. Ловил эти взгляды и не мог ничего изменить в себе самом. Лицемерие и гадливое подобострастие лезло из меня, и Новиков чувствовал это, и так хотелось ему продлить эти минуты моего падения, и потому он так поощрительно меня подзадоривал: «Нет, почему же, вы, наверное, правы, попробуйте, почему бы не попробовать?» И я рассказывал ему, как я намерен это сделать. И что мне для этого нужно совсем немногое: два-три паричка, да несколько метров белой материи, да еще метра два какой-нибудь золоченой ткани, чтобы соорудить костюмы для патриарха Никона и для патриарха Иоакима.

С такими мыслями я пришел к Толе. Разговорился. Перед тем как пришел Гера, Толя мне сказал:

— Я здесь всех понимаю, а тебя не могу понять. Кто ты?

— Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине... — сказал я и засмеялся. — А ты знаешь, кто ты сам?

— Я — ничего особенного, — ответил Толя. — Я знаю про себя все.

— А про Геру ты все знаешь?

— И про Геру знаю все.

— Например?

— Гера сейчас рубит лес.

— Что это значит?

— То и значит. Ты вот шатаешься и не знаешь, что тебе надо. А Гера точно знает, что ему надо. У него есть участок. И он рубит лес. Формирует вагон. И увезет отсюда вагон леса. Это и деньги, и дача. Отличная дача. Он увезет не только лес, но и все необходимое для дачи: двери, окна, перекрытия, полы — все будет сделано наилучшим образом.

Вошел Гера.

— Ты легок на помине, — сказал Толя. — Как делишки?

— Устал, — сказал Гера. — Уже сто лет так не уставал.

— Что так?

— Ты себе представить не можешь. — И он покосился в мою сторону.

Я понял: не станет Гера говорить при мне.

— Есть хочешь? — спросил Толя.

— Спасибо. Чаю бы выпил. Все как-то сразу навалилось на меня. Надо отчаливать. И чем быстрее, тем лучше.

— Что, совсем неважнецки?

— Совсем, — ответил Гера и выругался.

Он с наслаждением хлебал чай. Изредка в упор смотрел на меня. И я рассматривал его. Вся моя способность ненавидеть сейчас подступила ко мне, ударила по каким-то особым струнам, отчего голова хмелем взялась, замутилось все перед глазами.

— А что такое капитан Брыскалов? — спросил я. — Оказывается, родственник он Шафранову?

Толя и Гера переглянулись. Взгляд был кратким, но точным.

— Родственник он Шафранову, ну и что? — ответил Гера.

— Так просто, — ответил я. — Интересно просто. Говорят, что у него неприятности большие, а тут еще родственника принесло.

— Какие неприятности? — спросил Толя.

— По делу этой девицы, — сказал я. — Морозовой. Слышал я, комиссия приехала. Еще неизвестно, чем и как дело обернется. Говорят, и капитан Брыскалов на эту комиссию работает. Какая-то сволочь у нее в номере побывала перед убийством...

— Перед убийством? — спросил Толя.

— В том-то и дело, что перед убийством, потому что никакого самоубийства не было. Я человек неопытный, но во время вскрытия эта сторона никого не интересовала.

— Что-то ты много говоришь про это... Давайте выпьем, — предложил Толя и, не спрашивая, налил в стаканы.

Я понял, что ему очень хотелось, чтобы я разом опрокинул весь чайный стакан, а мне ужасно захотелось знать, для чего это ему надо. И я сказал, что после каждого из них я тоже выпью залпом. У меня уж такая была особенность, что если я весь в мобилизации, то никогда не пьянею, пока тормоза держат. Гера с Толей выпили. И я залпом опрокинул чайный стакан. Закусили.

— Так что насчет вскрытия? — спросил Толя.

— А что такое эксгумация? — спросил я в свою очередь. И пояснил: — Я знаю, что такое эксгумация. Я, например, сейчас отчетливо помню следы пальцев у ног и в области живота. Тело белое, а следы пальцев синие. Я только забыл, кто сказал тогда об изнасиловании. Может, Россомаха или Кашкадамов. Только определенно кто-то спросил: «А не могло здесь быть изнасилования?» И кто-то ответил: «Какое может быть изнасилование? Ерунда».

— Это я сказал, — прервал меня Толя. — Ну и что?

— А ничего. Сейчас, я думаю, по этому делу следствие начнется. И надо знать, чего говорить.

— Кому говорить?

— Может, мне, а может, вам? Говорят, что эксгумация дает превосходные результаты. Здесь, при вечной мерзлоте, труп сохраняет свою первозданность. Я не специалист в этом вопросе, но что-то мне кажется здесь очень подозрительным. Я в ту ночь был на вокзале, покупал в буфете папиросы и видел там кое-кого. Кстати, как хоронят после вскрытия? Как Морозову хоронили?

— А что тебя это так интересует? — спросил Толя.

— Есть причина, — ответил я, пристально впиваясь взглядом в Геру. — Это не военная тайна, но все же тайна. Могу я иметь тайны? У вас есть тайны? Вот Гера ходит к нам в школу. Не скажет же он нам, для чего он ходит.

— Скажу, — ответил неожиданно Гера. — Нелады в школе. Языки пораспускали. Есть, прямо скажу, вредные элементы.

— Кто же это? — спросил я.

Гера улыбнулся.

— А я знаю, чего ты улыбаешься. Могу сказать, что вреднее, чем ты, я не знаю элемента. Тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать к школе.

— Тебя тоже, — ответил Гера. — Я бы своих детей такому учителю не отдал бы. Поверь мне, не отдал бы.

— Ну вот что, братцы, прекратите.

— Ты прав, — сказал Гера. — Я, собственно, пошел.

Он действительно быстро оделся и вышел.

Толя проводил меня до крыльца. Я шел по морозному снегу. И снег скрипел, и луна порхала, как большая птица, то в темное, то в светлое небище.

Когда я подходил к своему дому, из соседнего подъезда вышли два человека и, не сказав ни слова, двинулись в мою сторону. Я хотел было им даже уступить дорожку, а сам еще и подумал: «Что же им, места мало, что они прямо на меня идут?» А тот, кто повыше был, что есть силы ударил меня неожиданно по лицу. Я схватился руками за голову, старался укрыть глаза воротником и рукавичками. Удары сыпались такие резкие и такие сильные. Я, как ни силился крикнуть, не мог, потому что сбивалось дыхание и звука не получалось.

— За что?! — все же прохрипел я.

— Сам знаешь! — ответил один из них и ударил меня чем-то тяжелым по голове.

Падая, я отчетливо видел, как оба побежали в сторону вокзала. Я был в странном состоянии. Вроде бы и не потерял сознание, а не мог от снега оторвать голову.

А потом я оказался дома. Мама видела, как двое людей в полушубках выбежали и накинулись на человека. Она выбежала на улицу и узнала в лежащем на снегу своего сына, то есть меня. Как было установлено на следующий день, мне было нанесено несколько ударов тяжелым предметом. Мама плакала. А я решил никому не рассказывать о случившемся. Я все время думал над словами: «Сам знаешь!» Не давала мне покоя мама. Она с утра до вечера доказывала, что не случайно меня побили, это за то, что я всюду лезу. Я всегда замечал, как меняются от горя лица людей. А если горе смешано с ненавистью да еще со злобностью, тогда лицо становится уродливым, вопиюще некрасивым. У мамы это обращение было особенно ярким. Казалось, что холод ее взгляда идет от каких-то неведомых пещерных глубин, что она в минуты своего гнева может и оскорбить последними словами и убить. Помню, меня совершенно поразили и сбили с толку ее гневные слова, которые я услышал бог весть когда и которые однажды только сорвались с ее уст. Она сказала: «Господи, зачем я его родила? Бросила бы и этого в уборную...»

Я смотрю на маму с нескрываемой злобой. Во мне все клокочет и протестует против нее. Я никогда ей не смогу простить этих слов. Всякий раз, когда из мамы лез пещерный человек, мне вспоминались эти ее отвратительные слова.

Теперь я лежал, избитый и приниженный, и она бросала ненавидящие взгляды в мою сторону:

— Так тебе и надо.

— Замолчи, — шептал я, но она не унималась: поток самых страшных ругательств заполнял комнату. Она бесилась, пока не уставала. А когда уставала, начинались причитания, и раздавались крики за дверью:

— Опять, сволочь, над матерью издеваешься?

Я мечтал о прекрасных и добрых матерях. Мечтал о своих детях, о своей семье — и тогда всплывал в моей воспаленной голове образ Ларисы Морозовой, ее нежное лицо, прекрасные глаза, тонкие руки с голубыми прожилками. Я видел себя в окружении моих детей. Вспыхивала подлинная любовь к будущему. И эту любовь я торопился передать своим ученикам. Они были для меня и утешением, и надеждой, и радостью. В них я черпал то, чего недобрал в детстве. В них плескалось то счастье, какого недоставало мне. Я набрасывался на книжки, чтобы высечь из них те искры человеческой любви, какие так нужны и мне и детям.

Завтра я расскажу им о Толстом.

Нет, если уж были в детстве ребенка беды, то они непременно дадут о себе знать во взрослой его жизни. Детские слезы — это источники будущего горя и отдельных людей, и всего человечества. Эти источники нередко оборачиваются потом и реками крови. Единственным условием настоящего воспитания является атмосфера любви, атмосфера, в которой личность всегда цель и никогда средство! Я об этом расскажу детям завтра. А сегодня я, помимо своей воли, сравниваю свое детство и детство Толстого, мои страдания и страдания Николеньки Иртеньева. Николенька не сразу стал знаменитым графом Толстым. Он познал и горе, и любовь. Ему подарена была эта великая любовь к человеку всем укладом воспитания. «Дети, а теперь в классы», — говорит домашний учитель Карл Иванович. Здесь же, рядом со спальней, классы, где будут учить его, Николеньку Иртеньева, будущего графа Толстого, всем премудростям наук, ибо маменька упросила отца: «Что угодно, но ради бога ни в какие учебные заведения не надо отдавать детей». И детям дают всестороннее образование и воспитание дома: «А теперь игры, а теперь играем в четыре руки, а теперь разучиваем мазурку», — и горести Николеньки: сбился с такта на мазурке — позор! Ужас!

Как перенести это горе!!! Я размышляю над горестями Николеньки. Как же далеки они от моих бывших невзгод. И другой факт: не то экономка, не то горничная Наталья Саввишна наказала по совету барыни десятилетнего Николеньку, ткнула его мордочкой в испачканную им скатерть: «Как она посмела меня, графа Иртеньева! Как посмела своими холопскими руками прикоснуться ко мне...» Я нащупываю тумаки на своей голове и неожиданно вспоминаю Аввакума: вспоминаю, как его дубасили кольями, стегали плетьми, морили жаждой, холодом, голодом, как измывались над ним, как он рычал на всех, кто его оби-

дел, — и я чувствую, что его социальная душа ближе мне, ближе, чем душа Николая Иртеньева, будущего графа Толстого. Я смотрю на свои деревянные полочки, сам сбил, высокие, но не до потолка, обязательно, если удастся, наращу до самого потолка, чтобы как у Тарабрина было. Смотрю я на полочки и вижу репродукцию Рафаэля. Сикстинская мадонна с младенцем плавно ступает своими крепкими ногами. Удивительно: у Толстого и у Достоевского висело изображение мадонны. Должно быть, отличные мастера копировали. И каждый день Толстой и Достоевский начинали свой рабочий день с того, что встречались с добрым, мучительно-прекрасным взглядом мадонны. И, наверное, светлели лица русских титанов.

Я лежу, и мне еще хуже от сознания того, что произошло со мной здесь, в Печоре. От меня все отвернулись — и такая острая боль охватывает меня, что едва удерживаюсь, чтобы не заорать. Но, я не кричу, потому что со мною мои книжки. Всегда они приходили ко мне на помощь. И всегда, когда я вчитывался в книжки, всегда рядом были и дети, их пытливые лица, мордочки, их доброта, их высокая щедрость. И когда на следующий день я войду в класс, этой щедрости будет в избытке, и мне захочется отдать им, детям, столько прекрасного, что есть во мне, чтобы ни у кого из сидящих в классе, даже у Марьи и Ивана, не осталось в душе сомнения в том, что мир не может быть злым или приносить беды. Я рассказываю о Толстом, читаю кусочки о его любви к матери, вижу его, юного графа, у постели прекрасной молодой женщины и слышу вопль крестьянки, точнее ее младенца, который, увидев мертвую барыню, закричал что есть силы, потому что, как замечает уже Толстой, сквозь белизну лица усопшей уже проступили пятна трупного разложения.

Я говорю с непреходящей, бесконечно щедрой материнской любви. Я так далек от своей ненависти к моей родной мамочке, я так ее люблю сейчас, ибо мои беды, моя жажда любви и к ней взывают. Я так далек и от своего социального нулевого статуса, попранного человеческого статуса. Во мне вспыхивают чудесные силы преодоления суетности в самом себе, ибо высшее богатство — не иначе как приятие тех ценностей, которые дороги Толстому. Теперь эти ценности, это высшее богатство со мною. Оно во мне. Оно рассыпается перед детьми, и поэтому они смеются, и поэтому Марья, сухая, противная Марья, дрогнет, есть же и у нее мать, и выдавит мне в конце урока: «Сегодня было очень интересно, кто знает, может, такое отступление от программы можно назвать и оправданным. Надо же детям прививать любовь к отечественной литературе».

А я совсем не ставлю таких задач. Мне самому не терпится и неймется, так хочется пробудить в себе самом это непонятное и великое чувство любви. Мне кажется, что я предан и самой любовью, предан навсегда, что все, что произошло со мной, — это никакая не случайность, а какое-то зашифрованное мое бытие, которое раскручивается только вот таким способом. Ползаю я по грязи, носом тычусь в самые густые и непотребные зловония, пью жижу, отвратительную мерзкую жижу, смешанную с этими зловониями, кто-то снова тычет меня по затылку: «Нагнись!» — и я снова ползу, и все равно мне кажется, что я исполин, что в моей душе горят и вспыхивают звезды, что у меня статус да и самосознание ничуть не ниже, чем у графа Льва Толстого, что и любовь у меня будет настоящая, что я вовсе не падаю, а так просто, не иначе как гимнастические упражнения или поклоны отбиваю. Морозова по семьсот поклонов совершала, это нелегко — голодом, жаждой и мольбой тело умучить, умучить боярское холеное тело. Я не хочу верить в то, что я предан всеми, что ничего у меня не будет в жизни, кроме страданий, не хочу верить в то, что мои нынешние невзгоды не случайны. Напротив, я убежден, что мир устроен самым наипрекрасным образом, что эта изумительная весна в Печоре до того восхитительна и добра, что остается только черпать из нее в себя всю мудрость жизни и все ее тепло. Черпать и нести в себе. Черпать и давать другим. Черпать и верить, надеяться и дышать полной грудью.

19

Некто пятый — моя ложь. Неотъемлемая часть моих противоречий. Владелец моих тайников. Как только я брался за перо, так он, этот некто пятый, проявлялся во всю мощь. И в тот раз я пришел из лесу потрясенный, потому что в лесу получилась драка между Надбавцевым и Черновым. Все знали, что конфликт у них развивался из-за Светланы. Но кое-кто из ребят знал и другие причины. Говорили, будто черновскую собаку, Франца, отправил на тот свет Сашка Надбавцев. Убил из дробовика. И сам признался в этом. Впрочем, некоторые утверждали, что признание Надбавцева недействительно, так как все это он наговорил на себя нарочно, чтобы сильнее разозлить Валерия. Я сделал несколько попыток поговорить по душам с обоими парнями, но мне оба сказали примерно одно и то же:

— Не надо. Сами разберемся.

В эти дни особенно непонятно, я бы сказал, хищно вела себя Света. Она напрочь игнорировала обоих поклонников и, как мне казалось кокетничала с Виктором Горбовским из девятого «В».

Надо сказать, что у меня и времени не было вникать в интимный мир ребят. Я увлеченно разрабатывал новую технологию процесса обучения, в основе которого были такие средства, как игра и производительный труд, школьное самоуправление, физическое и эстетическое развитие. Я успел уже отправить в Москву проект новой школы и две новых статьи, объясняющих необходимость школьной реформы. Что я приметил: пока я занимался конкретикой (всей этой технологией обучения, статьями, организацией жизни детей), все шло более или менее хорошо. Но как только я заглядывал в свое нутро, так все казалось ужасным и безвыходным. Ложь, сплошная ложь. Во мне сидел какой-то пласт не то чтобы суетной никчемности, а просто безысходной, непоправимой лжи. И это мешало мне работать. Угнетало. Требовало избавить-

ся. Я вспоминал слова Новикова о подноготной моей. Она была, эта подноготная. Я тогда жил и такой максимой: если в нравственность человека добавить хотя бы капельку непорядочности, то такая нравственность обречена на перерождение. С этой максимой я входил в класс. С нею я поучал. Ее как забрало приподымал всякий раз, чтобы обнажить себя: вот он я — чист как слеза.

У меня однажды Чернов спросил:

— И вы никогда не говорите неправды?

— Теперь никогда, — ответил я.

И после мне было стыдно от этой лжи. Я готовил себя к уничтожению моего тайного пласта. И чувствовал, что не могу это сделать. Я тысячами нитей был связан с этим пластом. Он входил в мою кровь, в мои суставы, в мозг, в мышцы. Все мое «я», моя душа, тело, моя идеология не желали знать прошлого, связанного с отцом.

Один факт меня совершенно сбил с толку. Мне рассказали, что Валерка Чернов сказал вгорячах Надбавцеву:

— Ах ты каторжная душа!

Может быть, Валерка и не имел в виду то, что отец Саши Надбавцева был сослан в эти края вместе с семьей. Может быть, он просто так, для красного словца это сказал. Только Саша воспринял это оскорбление болезненно. Он кинулся на обидчика с кулаками, и с ним случился обморок, отчего все в классе были страшно напуганы.

Я стал готовиться к разговору с ребятами. Мне нужно было разрешить застрявшее во мне противоречие. Думаю, что это была одна из причин того, что я в одну бессонную ночь написал о ребячьем конфликте что-то вроде рассказа под названием «Несостоявшееся убийство». Как только я в этом рассказе проговорил для себя вслух мою подноготную, так мне сразу стало легче. Я был почти готов к самому трудному разговору с детьми. Но тут случилась новая беда. Совершенно непоправимая. Перед этой бедой бледнели все прочие мои тревоги. Моя бедная мама, должно быть, тронулась в уме. Я в последние дни замечал ее подозрительно косивший взгляд. В этом взгляде была какая-то растерянная враждебность, враждебность, смешанная с улыбкой, с ожиданием разрядки. Но не придавал этим переменам особого значения. Но вдруг, когда я однажды обнаружил, что в моем столе не оказалось моих записок, в том числе и этого последнего рассказа, я стиснув зубы подошел к маме. То, что произошло с мамой, ошеломило меня. Она заплакала, закричала:

— Сыночек, не бей меня! Я отнесла бумаги...

— Куда?

Мама как-то вся сжалась, глаза ее были совсем безумными, остатки растерянной улыбки с размытыми тенями скользили по лицу.

— Сыночек, я хотела как лучше! Не проклинай меня, сыночек! Ой, что я наделала!!! Прости меня, господи!

— Куда ты отнесла бумаги? — закричал я в бешенстве.

— Сам знаешь куда!

В бессилии я опустился на стул. Мама сидела в уголочке и тихонько плакала, и мне ее стало нестерпимо жалко. А еще через несколько минут она уже улыбалась и даже бросила мне фразу:

— Может быть, и к лучшему!

Эта фраза вывела меня из себя, я грохнул кулаком по столу, слетела чашка, и мама кинулась собирать осколки:

— Такую чашечку разбил. Такую чашечку...

— Да плевать мне на твои чашечки! — орал я. — Надо же сделать такое! Собственного сына заложить!

— Там разберутся! — И мама вдруг рассмеялась, и от этого смеха я едва не лишился рассудка.

— Ты пойми! Там все неправда. Там ложь, это же мое сочинительство! — говорил я.

— Разберутся, — отвечала мама. (Потом, много лет спустя, мне кто-то из врачей скажет: это начался распад личности. Ее страхи, какие копились долгие годы, переиначились в ней, перекрутились и вышли наружу таким образом.)

— Ты с ума сошла! — орал я, не зная, как понять все, что произошло.

— Не сошла! Не думай, что ты один умный. Я тоже многое понимаю. Недаром люди говорят...

— Что люди говорят? С кем ты еще болтаешь обо мне?

— Здорово ты мне нужен, чтобы я о тебе болтала. Я прочитала твои глупости. Зачем ты пишешь всякое вранье?..

— Кому ты отдала мои бумаги?!

— Кому следует.

— Говори! — приблизился я к ней.

— Люди! — заорала она не своим голосом...

Я схватил пальто и выбежал на улицу. Стал припоминать содержание моего рассказа. Все, кроме этого рассказа, не представляло опасности. В статьях и в педагогических заметках была самая что ни на есть лояльная и государственная аргументация, так что опасаться чего-либо не приходилось. Там тоже была ложь. Крикливая. Экстремистская: «Я сделаю! Я добьюсь! Я перестрою!» И ссылки на классиков, на основоположников, точно они мои ровесники. Этак запросто: «Маркс сказал, Энгельс сказал: человек сам творит свое воспитание, свою судьбу и даже — историю». Патриотизм и есть творчество человеческих судеб, судеб страны, когда не утрачивается связь с прошлым. С самым лучшим, что было в прошлом. Где же еще черпать силы духа, как не в истории? Неколебимость — где еще найдешь такую неколебимость, верность идее, какую я отыскал в Аввакуме, Пушкине, Достоевском, Чернышевском, Добролюбове, Ушинском. Оттого и стыд жег меня изнутри. Стыд перед прошлым. Стыд за мой тайный обман.

Я вспомнил по абзацам мой рассказ. Потом мне его вернули, и я думал: «Как я жаждал новой лжи! Как же я всегда стремился казаться лучше, чем я есть. Разве это не ложь!» Я вчитывался в рассказ, и мне становилось не по себе оттого, что в нем был чистый рационализм, тупиковый, беспросветный, лживый рационализм.

На следующий день ко мне в школу пришли двое. Беседовали о Морозовой. Ничего нового я им не сказал. Двадцать раз спрашивали у меня: а может, я был в номере в ту ночь на девятнадцатое февраля. Будто я идиот. Смешно было мне. До тех пор, пока они не взяли у меня подписку о невыезде.

— Я и так никуда не собираюсь выезжать, — сказал я, а внутри точно оборвалось что-то, и я ощутил испуг, и они, эти двое, поняли это и ручку обмакнули в чернила и сунули мне:

— Подпишите. Порядок такой.

Я расписался и окончательно ощутил себя растоптанным.

20

Случилась еще одна беда. В нашем подшефном третьем классе был ученик — Шура Дребеньков, сын завхоза. Прибежал ко мне однажды Валерка Чернов — он жил по соседству с Дребеньковым:

— Владимир Петрович! Пошли, убьет Дребеньков Шурку.

— Спокойнее, — сказал я и весь настроился на мирное решение конфликта.

Еще не дойдя до дома Дребенькова, мы увидели такую картину: Шурка в штанах и в рубахе бежал по талому снегу, а за ним гнался с ремнем в руке Дребеньков. Шурка бросился ко мне. Я взял его на руки.

— Отдай пацана! — заорал на меня Дребеньков.

Я шел с Шуркой на руках к дому Дребенькова.

— Кому говорю, отдай! — вопил Дребеньков, хватая меня за рукав. Он был пьян, и я не стал ему возражать.

— Хорошо, Петр Пантелеевич, отдам. Донесу до крыльца и отдам.

— Сейчас отдай! — И он рванул меня за воротник.

Я едва не упал. Передал Шурку Валерке. Тогда Дребеньков кинулся к Чернову, но я преградил ему путь. Дребеньков навалился на меня всем своим грузным телом и грязной пятерней своей вцепился в мое лицо. Вот тогда-то я и не выдержал, ударил Дребенькова. Он упал. Мне даже показалось, что упал нарочно. Я стал его приподымать. То ли губа у него была рассечена, то ли нос я ему зацепил, только кровь была на его лице. Дребеньков заорал на всю улицу:

— Паскуда! Я так это не оставлю! Милиция!

Прибежал участковый. Собрался народ. Я ощущал то, с какой ненавистью смотрели на меня соседи Дребенькова.

— Ни фига себе учителя пошли.

— А чо?! Им мало в школе мордобоя, так по квартирам лупить стали.

— Воспитатели, называется.

— Пройдемте оба со мной, — это участковый сказал, обращаясь ко мне и к Дребенькову.

...Пришел домой. Мать кинулась ко мне:

— Сыночек, я все знаю. Опять ты в милиции был. Господи, на людей стал кидаться. Что с тобой? Люди говорят, что заболел ты. Лучше сразу лечиться, чем запускать болезнь. Сыночек, не надо скрываться от меня...

Я ушам своим не верю. С кем еще она обсуждала мои дела?! А говорить с нею бесполезно: она не видит меня. Глаза безумные, чужие, будто пленкой покрыты, — один испуг, и причитает:

— Господи, с кем я останусь, если тебя заберут...

...И в учительской. Захожу — все замолкли. Смотрят на меня как на сумасшедшего. Пошло. Прямо-таки Чацкий. И Лиза и Софья тут же. И обе избегают меня. На лицах сочувствие. Я двое суток не спал, и вид у меня, я это приметил, действительно как у сумасшедшего: глаза блестят, испарина на лице, руки мокрые от жара.

...Пригласил меня капитан. Раскрыл папку и вытащил оттуда мои записки.

— Это все было?

— Плод моего воображения, наброски, черновики.

— Я так и думал. Как вы себя чувствуете?

— И вы туда же. Я чувствую себя великолепно.

— Я так и знал.

— Что вы знали? — вскипел я.

— Что у вас все в порядке.

Я ушел от капитана, и новые страхи стали бередить мою душу.

Я думал: где мой смех, где мои друзья, где моя прежняя беззаботность? Я потерял все. Я дрожу от несчастий моих, и никто не желает мне помочь. Все отвернулись от меня. Что мне делать? Как жить дальше?

Я понимал: не вынести мне одиночества. Не вынести жестоких преследований души моей, собственных самоистязаний. Бесконечные монологи с самим собой. Бесконечные диалоги с другими наедине с собой. Вереницы картин перед глазами. Несколько раз я поймал себя на том, что разговаривал на улице вслух и даже размахивал руками. И горло пересыхало у меня от этих разговоров, и глаза мои блестели лихорадочным блеском, и я видел внутренним взором, что этот блеск, размытый и раскромсанный, очень похож на тот блеск, какой приметился мне в маминых глазах. Что-то новое и единое появилось у меня с нею. Какая-то сила лжи петляла над нами, связывала в единое целое, повелевала подчиниться, гремела грозно и неумолимо:

— Нет у тебя выхода, покорись мне, — лжи!

И неистовая волна протеста вздымала меня на последние высоты нажитой мною нравственности, и я говорил себе: «Нет!»

Я спорил с самим собой. Спорил с детьми, с мамой, педагогами. Я просыпался ночью от этих споров, засыпал и (сроду раньше такого не было) снова просыпался оттого, что мои видения продолжались во сне и заканчивались новыми страхами и новыми победами.

А между тем шла весна. Была новая пора в Печо-

ре. Вовсю шла реабилитация, и мои сцены с возвращением Аввакума из Сибири были тоже восприняты Бреттерами и Рубинским как некий намек на происходящие события.

* * *

Неожиданно вызвали к Новикову.

— У меня жалоба на вас, — сказал директор так сочувствующе, что я невольно про себя поблагодарил его за участие. — Наш Дребеньков написал.

Я молчал.

— Я в затруднении, — пояснил Новиков. — Он пишет о том, что вы избили его. К заявлению приложен акт экспертизы.

— Не может быть, — сказал я, протягивая руку.

Новиков показал мне бумагу о снятых побоях. В конце листочка значилась подпись Толи Розднянского. Новиков сочувствующе стал рассуждать:

— Я, конечно, могу посодействовать, но как пойдешь против факта? Уголовное дело. Избиение.

— Я его не избивал.

— Свидетели есть. Кстати, среди свидетелей и ваш приятель — Леня Шустиков, муж Софьи Павловны, учительницы вечерней школы.

— Не может быть, — снова сказал я.

— Вот, пожалуйста.

И я снова протянул руку за бумагой.

— Но Дребеньков полез ко мне первым. Я защищался сам и защищал ребенка.

— Это уже дело судебного разбирательства. Как там решат, я не знаю.

— Судебного?

— Я не стал бы вас беспокоить. Дело серьезное. Подумайте, в чем и как я бы смог вам помочь.

— Я не знаю, — тихо прошептал я. Мне было так больно и так беспомощно, точно обе мои ступни придавило вагонеткой.

— Конечно, мы могли бы от партийной и профсоюзной организаций ходатайствовать, но вы так всех восстановили против себя.

Я только много лет спустя понял, что Новиков играл со мной. И эта игра, куда там Борджиа и Макиавелли, — высший класс игра! — подлинное чувство и подлинное переживание. А тогда я смотрел в его искренние, блестящие, отполированные голубые глаза и понимал каким-то особым чутьем, чего он от меня хочет. И не мог сделать того, чего он от меня ждал. Не мог я завопить, запросить, чтобы он меня защитил. Не мог сказать: «Помогите, Алексей Федорович. Всегда буду вам признателен. Спасите меня».

Что-то в моем разуме заклинилось. Речь отнялась. Язык будто распух. В горле пересохло. Я встал и вышел из кабинета. Очнулся я, когда кто-то меня толкнул в плечо. Я сидел на вокзале, и был второй час ночи. Когда я пришел на вокзал, когда я оделся, как я вышел от Новикова — как я ни силился, — этого припомнить никак не мог. Зато появилось нечто иное: перед глазами плыли картины, и взор, и дух мой, и разум мой точно стремились уследить, освоить, запомнить то, что с такой стремительностью проносилось передо мной.

21

Слышу учительские голоса. «Вот до чего докатились, в школе нелегальщина появилась», — это Чаркин швырнул на стол завуча классный рукописный журнал «Печорская звезда». «Объясните, что это значит? — строго проскрипела тогда Марья. — Кто утверждал?» «Два года назад утвердили на педсовете, — отвечал я. — Да вы поинтересуйтесь содержанием. Мы связались с писателем Сердюковым, он нам ответил, что будет рекомендовать, в частности, рассказ Светы Шафрановой к изданию. Так и написал: «Это бесценная краеведческая, патриотическая работа...»

Помню, как тогда я доказывал, что благодаря детскому сочинительству в несколько раз вырастает грамотность, ну а главное — совершенно меняется духовная атмосфера класса... А им было все равно, что я говорил. Дома я по нескольку раз перечитывал рассказ Светланы. Конечно же я улавливал в нем мои слова, мои интонации, но в ее рассказе я вдруг увидел новую Светлану.

Вот ее рассказ «Возок» с гоголевским эпиграфом: «И какой же русский не любит быстрой езды».

«Едва тянется по декабрьскому бездорожью к устью северной реки Мезень возочек. Везут русского человека Аввакума Петрова с семьей в дальние края. Плачет, пряча слезы, жена Настасья Марковна. Видит Аввакум прошлые свои беды. В Тобольск сослали, но и там Никонову ересь проклинал Аввакум. И оттуда доносы пошли на протопопа. И велено из Тобольска на Лену везти. И поручено было мучить в пути русского человека Аввакума другому русскому человеку — Афанасию Пашкову, который войско в шестьсот солдат возглавлял. Негласный приказ из Москвы был получен Пашковым. Знал Пашков, что правдолюбцем слывет протопоп. «Вышибем эту благодать из протопопа, — решает Пашков. — Незаметно вышибем. И придраться нельзя будет». Тишина на Шаманском пороге зловещая. Похаживает Пашков, поглядывая на двух замученных старух — одной шестьдесят стукнуло, а другой за семьдесят.

— Что, красавицы, приуныли? — спрашивает у старух Пашков.

Прячут в черные платки свои лица старушки: в монастырь плетутся старухи, какое уж тут веселье.

Так и отвечают Пашкову:

— Какое уж тут веселье, батюшко!

— Ах вы, красавицы мои, ах милые, да у вас грудушки еще крепенькие. Винца хватим, бабоньки, провеселимся всю ночь, про горюшко позабудем. — Обхватил обеих сразу старушек Пашков, стал их ворочать, да приговаривать: — Да вы в теле, бабоньки, самый раз жениться вам. Свадьбу здесь на Шаманском пороге и сыграем, а ну, Ванька, зови Елисея и Петра — женихами будут, ядрена вошь!

Перепугались насмерть старушки. А Пашков на глазах у протопопа шпагой размахивает, усы свои подкручивает, из чарки угощает казаков, на свадьбу сзывает: широка душа у русского человека — пей, гуляй, братцы! Свадьба так свадьба — один раз живем, мать его за ногу! Тащи бревна, сбивай столы, рыбы наловить, и пирогов напечь, свадьба так свадьба, как у людей чтобы было — не мусульмане мы, христианский обычай токмо признаем, мать его за ногу, сучье вымя!

Заголосили в оба голоса старушки:

— Прости нас, батюшко! Избавь от греха. Дай нам вольную уйти и постричься в монахини.

— Гуляй, ребята! Две свадьбы разом! — орет Пашков.

В третий раз порывается Аввакум остановить Пашкова, да останавливает его женушка Марковна:

— Оставь его. Убьет он тебя, окаянный.

Не стерпел Аввакум. Вырвался из рук Марковны, ринулся на воеводу:

— Не подобает таковых замуж выдавать.

— Ты-то откуда знаешь, еретик?

— Богу не угодно глумиться над идущими в монастырь — грех великий. Погибель на всех придет, коли не прекратишь богохульство.

Зароптали солдатики, зашумела земля на Шаманском пороге, ветер поднялся, тучки солнышко закрыли, расхохотался воевода:

— Ах вы мои махонькие, ах вы мои монашенки, да я ли вас в обиду отдам, да скорее пусть руки мои отсохнут, а ну, бабоньки, что есть мочи в горы, и ты, протопоп, сердобольная душа, с ними, а ну бегом, еретичья твоя душа, пусть в дощанике твое семейство едет, а ты горами да лесами с бабоньками, сучье твое вымя...

А потом рыкнул на Аввакума воевода, да сбил с ног, да ударил по щеке, да чеканом по спине, да велел семьдесят два удара по спине кнутом. За что? А так: намек был из Москвы. Вроде бы и не было приказа, а только намек был: мучить. Мучь, а вдруг околеет. Плачут солдатики. Клянут в душе воеводу, а все равно глядят, как лупят невинного человека.

— Бьешь-то за что? Ведаешь хоть сам? — спрашивает протопоп.

— Ах ты еретичья душа! — грохочет Пашков. — А ну по бокам его, сукиного сына. Да по ребрам, да под дых, душа из него вон.

Упал замертво Аввакум. Жена в обмороке, дети плачут. Казаки ропщут, а Пашков командует:

— Заковать еретика. Бросить на дощаник.

Лежит на дощанике без сознания Аввакум. Дождь льет, снег падает на голое тело. «Господи, за что же ты меня так наказываешь? — шепчет Аввакум. — Я же за бедных вдов заступился». Так и приехали в Братский острог. Вытерпел муки. Бросили в острог мученика. Что собачка в соломке лежит Аввакум. Не кормят и не поят его. Мыши, вши и блохи на той соломке прямо стаями. Страшнее холода и голода эта гадость. А Пашков хохочет:

— Скажи: «Прости меня!» — в избу теплую и чистую переведу.

Молчит протопоп, лучше смерть, чем прощения просить.

...Перекатывается возок с горки на горку. Тишина и покой. Ледяное оцепенение. Синий ветер обласкивает сугробы. Потрескивают ели и старые сосны. Чудная морозная чистота разлита повсюду, точно ангелы охраняют этот прекрасный божественный мир. Этот покой охраняют.

...Везут протопопа Аввакума, теперь уже из Мезени, в последнюю ссылку, уже небось и яма приготовлена, куда он будет спущен, где суждено ему коротать свой век с друзьями до самого сожжения в срубе.

И снова видится жизнь прежняя протопопу. И я ее вижу. Вижу и мучаюсь в размышлениях. Из ссылки, от Пашкова, от всех бед возвратился Аввакум в Москву. Алексей Михайлович принял его, слова милостивые ему говорил: «Здорово-здорово, Аввакум, свидеться снова нам довелось, так, должно быть, бог велел. Живи, протопоп, не будешь обижен мною!» И обласкан был в Москве протопоп. Первым делом отправился он по приглашению в дом боярыни Морозовой Феодосьи Прокопьевны. Уж как стал к хоромам ее боярским подходить, так сердце забилось с такой силой, что едва на ногах удержался. А как завидел толпу у ворот ее дома да услышал про себя голоса в толпе: «Аввакум идет! Самим царем обласкан», — так приосанился, собрался с волей своей, двуперстно благословение свое бедному люду шлет, касается рукой своей одежды и тела больных и немощных, молитвы читает Аввакум, радость в лице его сияет.

На крыльце три лика родных увидел он, три фигуры знакомых увидел, впрямь троица: по краям княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова, родная сестра Феодосьи Морозовой, и Мария Герасимовна Данилова, двоюродная сестра боярыни. Обе сестры в синем. А посредине в розовом, празднично розовом — розовое платье, розовая шаль, — Феодосья Прокопьевна, три красавицы улыбались идущему навстречу протопопу.

Легким наклонением головы ответствовали сестры на тройной поклон Аввакума.

— Сестры мои, духовные дочери мои, шестикрылые серафимы вы мои, воинство небесных сил мое, — сказал Аввакум. — Как увидел вас, так мысль в голову пробилась: трисоставное божество вижу, Евдокия, Феодосья и Мария, чудный состав, впрямь по образу святой троицы.

Горячие слезы полились по щекам Аввакума, все в глазах затуманилось, святое, долгожданное, настоящее, богом данное ему видение святой троицы, и аромат их платьев, и белизна их теплых рук, коснувшихся его щеки, сколько и как же горячо думалось Аввакуму там, в ссылке, в кромешном аду, когда с двух сторон кнутами, по спине да по бокам, да злые усмешки палачей, да холод собачий, да голодовки, как же думалось хорошо о добрых и святых именах, о прекрасной Феодосье Морозовой, о ее сестрах, как хорошо думалось, что муки все он терпит и за то, чтобы им, сестрам, было спокойно на душе, думалось и о том,

что они знают о его муках, знают и молятся о нем, иначе и не выдержал бы пыток и мучений бедный их Аввакумушко.

— Что это у вас, батюшко, с ручкой? — вдруг помрачнела боярыня Морозова, увидев черные рубцы поверх запястья.

Рассмеялся Аввакум:

— А это дьяволы окаянные упражнялись. Велел воевода Пашков меня на цепь посадить на дощанике. Буря поднялась, сшибает меня, вертит в разные стороны, а за эту руку-то прикован цепью, боль нестерпимая, думаю: а вдруг ручка-то моя не выдержит, переломится, да и кожа порвется, ан нет, крепко, должно быть, сбит Аввакумушко, сын Петров, коль выдержала его косточка, да вот шрамушки остались в память об иродах да об мученическом моем во славу господа моего Иисуса Христа.

Как сказал Аввакум эти слова, так птички с карниза слетели и сели ему на плечи, и всех это чудо поразило, потому что сели-то на плечо Аввакуму обычные птички, серенькие воробышки сели, а не какие-нибудь охотничьи соколы или голуби почтовые.

— Ишь, пигалицы, признали своего, эти два воробышка с самой Сибири за мной следуют. Сколько же счастья у меня, что свидеться довелось, где же ваши птенцы, девы вы мои, государь Ванечка где?

А боярыня глаз не сводит с рубцов Аввакума, в худое изможденное лицо протопопа всматривается, и ее глаза добрым и радостным светом наполняются.

— А угадайте-ка, сестрицы, о чем государь со мной беседовал? — спрашивает уже в хоромах Аввакум.

— Да откуда же нам знать? — говорит, смеясь, Евдокия.

— А вы прикиньте-ка, ну, Мария?

— А не приказал ли тебе царь в открытую пойти на Никона? — рассмеялась Феодосья. Что-то злое блеснуло в ее глазах.

Перепуганно поглядели на нее сестры:

— Полно, не надо так, верить надо в добрые намерения царя-батюшки!

— Нет у него добрых намерений! — резко повернувшись к сестре, сказала Морозова. — Боится он всего. И кары господней, и кары людской, и боярства боится, и Никона боится, и Аввакума боится, и эта боязнь и держит его клещами, не спит по ночам, кричит во всю мочь, страхи его одолевают, вот и заигрывает он со всеми, хитрый, как лиса, наш царь. Не верь окаянному, Аввакум!

— Окружил, говорят, себя блинниками басурманами да новичками, с верой православной играет, Христа предает, — это Мария пояснила.

Понял протопоп, о чем сестры пекутся. Понял Аввакум, чего более всего боятся сестры. Понял Аввакум и мучительную боль, и пристальный взгляд Феодосьи: «Кто же ты теперь, наш духовный отец? Кем же ты будешь после всех твоих мучений? После треклятого твоего дощаника, на котором как последний пес был цепью привязан? Как же ты теперь жить будешь? Хватит ли у тебя сил вновь начать борьбу за праведность и чистоту?!»

Все эти слова прочитал в глазах Морозовой. Она даже отстранилась на мгновение от духовного отца своего. Гордая, неприступная, к нему подошла, укрылась розовой шалью — всегда протопоп терялся, когда видел ее божественную красоту, какой-то чудный свет шел от нее, и знал Аввакум, что ни от кого в мире такой свет не исходит. И знал протопоп, что нет в мире другого человеческого существа, которое бы в духовной силе и вере превосходило его, Аввакума. В первый раз как повстречался протопоп с боярыней да как увидел книги языческие Платона да Аристотеля да еще бог весть какие, так в гнев пришел: нельзя эти книги в доме держать, грешно боярыне праведное с грешным смешивать. Ответствовала ему тогда боярыня:

— Угодно было богу о праведнике Сократе миру поведать. Не отступился от веры Сократ. Смерть предпочел, а не стал с окаянными заодно. Мудрости и силе мы должны учиться у всех, кто богу угоден был на этой земле.

Смирился протопоп, хоть и сказал ей:

— Ох, боярыня, не верю я этим книжкам. И не женское это дело — старопечатные книги в голову брать.

— Женское, — резко тогда ответила боярыня с такой твердостью, что Аввакум понял: не переубедить Феодосью. И пояснила боярыня: — Верю я тебе, Аввакум, всю жизнь светить тебе буду. Что бы со мной ни случилось, с тобой буду. Любые муки готова я испытать, лишь бы твоя праведность оставалась такой же прекрасной, какой я знаю ее и какую люблю и праздную всю мою жизнь.

И понял тогда протопоп: от бога идут ее слова, понял, что все она выдержит в борьбе со злом, а все же, окаянный, не любил в себе протопоп это смешливое свое окаянство, а потому и сказал тогда, глядя на ее тоненький стан да на тонюсенькие ручоночки, на белую кожу глянул, приметил голубые прожилки на ручках, сказал смеясь:

— Ох, много на себя берешь, боярыня. Не ведаешь, какое зверство хоронят в себе враги наши. Выдержишь ли ты испытания, какие суждено было выдержать господу нашему?

Блеснула тогда острым прекрасно-ослепительным взглядом красавица Морозова, алый румянец пошел по ее щекам, отчего еще прекрасней стала она, губы сомкнула свои, а потом, точно вспомнив о чем-то, улыбнулась широкой и щедрой улыбкой, отчего белый жемчуг зубов такой счастливостью засверкал, что у Аввакума совсем на душе стало светло и прекрасно. А Морозова подошла, смеясь, к свече; и руку к огню поднесла, так что увидел Аввакум сквозь огонь яркую кровь боярыни, и то, как пламя ласкало ее нежную кожу, и в ноздри его горелая казнь кинулась, и глаза боярыни смеялись радостным блеском.

— Дура! Дурища! — заорал тогда что есть мочи Аввакум и кинулся к Феодосье, и сбил пламя, и руками обхватил боярыню, и замер на секунду: так легка была Морозова, никогда еще Аввакум не ощущал, не

осязал такой дивной красоты в руках своих.

И боярыня застыла на мгновение, в голове ее вспыхнула молния, и прошла эта горячая молния до самых кончиков ступней, и когда совсем легкое дыхание появилось в ее груди, улыбнулась она Аввакуму так свято и так по-детски просто, что в душе у протопопа свет заиграл с такой силой, что он был готов поклясться, что ничего в жизни не испытывал подобного, разве только когда первенца на руках впервые держал.

— Не оскверняй мою душу бедную таким злым испытанием, — сказал тогда, едва не плача, Аввакум. — Будешь дочерью моей духовной. Буду верен тебе всегда. И только с тобой уйду или в небо или в бездну.

И засияло тогда лицо боярыни.

— Родной, — сказала она и заплакала, — отказала я всем женихам, порвала я злую любовь мою, ты знаешь, о ком я говорю, и мучит меня одна мысль. Ночами не сплю, все думаю, о тебе пекусь и мучаюсь, и совладать со своей мукой не в силах я.

— Что тебя мучит, поведай мне, зорюшка моя, ластовица моя, дружочек ненаглядный мой.

— Нетерпеливая я. Досадница всем. Ничего доброго не сотворила.

— Как же не сотворила, когда каждый день творишь добро — не нарадуется московская беднота твоей щедрости?

— Не в счет такая доброта. Все хочу отдать людям, хочу и не могу. А потому мятеж в душе моей. И еще одно. — Морозова потупила взор. — Сама со слезами молюсь и тебя прошу, батюшко, попроси у Владыки об моем сыне, Ванечке, чтобы было угодно сочетать его законным браком, чтобы дал ему Господь супружницу нищелюбивую и благочестивую.

— Помолюсь, матушка, — ответил Аввакум. — Что еще гложет душу твою?

Морозова молчала.

— Говори, — твердо сказал Аввакум.

— Хорошо, — отвечала боярыня, — не дает мне покоя одна мысль. Как подумаю, что ты от меня идешь к своей Марковне, так кровью сердце мое обливается.

— Дружец мой, солнышко мое, ласточка моя милая, чудо мое, как могла тебе прийти в голову такая мысль? Смышляешь ли ты, о чем говоришь мне?

— Я вынесу любые пытки. А эту пытку я не смогу вынести. Я наложу на себя руки, умру, не могу это вынести!

— Безумная, окаянная, выколи себе глаза челноком, язык свой грешный вырви клещами.

— Не бранись, Аввакум. Ты во мне весь. Весь, понимаешь, дружочек. И брань твоя не от сердца, а от ума идет, и глаза твои нехорошо глядели, когда ты бранился. Ты знаешь, как решила я умучить жаждой и постом свое тело, так легче мне стало. А Марковну я твою люблю и любить буду. Всегда буду помнить ее духовную любовь ко мне, помнить, как она душу мою духовной пищей питала. Но прости меня, грешную, не могу осилить в себе радости, когда вижу тебя, слышу тебя, все в моей душе переворачивается. Пыткой радостной оборачивается.

— Не кручинься ты на Марковну, — попросил мягко протопоп, — она же ни в чем не виновата. Она простая баба. Она ничего не знает того, о чем мы говорим. Душой я с тобой. Всегда с тобой. В небо уйду только с тобой. Ничто не заставит меня отступить от веры и правды.

И теперь, после ссылки, после стольких испытаний, Морозова точно решила сверить, каким же стал ее духовный отец, каким он будет после того, как так щедро обласкан Алексеем Михайловичем, да князьями, да боярами. Где это слыхано, чтобы после ссылки да пыток в такую милость человек попадал?! Устоит ли от соблазнов житейских Аввакум!?

— Устою! — крикнул, сверкая черными глазами, Аввакум. — Ох, как потешусь я над злодеями! Ох, как обрушусь я на мерзавцев царских, ох, как бы хотелось мне рассечь напополам собаку Никона или расчетверить его, пса окаянного. Огонь пылает в моей груди, боярыня. Приклони ухо свое к душе моей, и ты услышишь, какая сила выросла в моей груди, рассеки грудь мою, загляни вовнутрь, и ты увидишь, какова моя любовь к тебе, какова моя праведная чистота и какова готовность защищать веру нашу.

...Мчится возок по белой равнине. День стоит такой чудно-пьянящий — самый раз бы чуду прийти, молнией возвестить миру великую истину, откровениям протопоповым соединиться б с откровеньями божьими — самый раз, — именно такая благодать стояла в небе, в деревьях, в снегу белом. Все было в этом прекрасном мире. Не было только чуда».

* * *

Рядом с рассказом Светланы Шафрановой было помещено исследование Саши Надбавцева, которое тоже отметит особо в своем письме к нам писатель Сердюков. Я читаю записки Саши. Некоторые мысли и выписки из разных исторических сочинений мне показались интересными, и я воспроизвожу их подлинно.

«Можно себе представить, — писал Саша, — какие впечатления ложились на душу великого Петра, подготавливавшегося к великой исторической деятельности. Отца его, Тишайшего государя, не раз покидала природная мягкость характера. Что же должен был испытывать будущий властитель России, чья молодость была возмущена открытым бунтарством староверства? Чтобы понять личность Петра и реформу, нужно пристально вглядеться в суровые лица брадатых поборников русской старины, нужно вслушаться в сильные, подхваченные стоустою толпою речи о необходимости умирать за веру, нужно оценить высокое историческое значение XVII века для России — века, пытавшего тяжелою внутреннею борьбой силы русского народа и недаром представлявшегося современникам «антихристовым временем» (Н. Тихонравов)».

* * *

Историк С. М. Соловьев считал, что эпоха Петра была необходимым следствием всей предшествующей

истории и что «так тесно связан в нашей истории XVI и XVII, разорвать их нельзя».

И далее:

«По России ходили слухи. Желаемое выдавали за действительное. Имена двух бунтарей — Разина и Никона — были рядом. Правление Алексея Михайловича открывает новую эпоху в развитии духовной жизни России. Противоречия, бунты, распри, расколы, войны — все это соединено с подъемом духа, с сопротивлением сердца, с торжеством мысли, наук и искусств, привлечением талантливых людей к власти, к социальным преобразованиям. Русское общество, по выражению историка Ключевского, треснуло, как трескается зеркало, неравномерно нагреваемое в разных частях. «Тогда стали у нас друг против друга, — пишет Ключевский, — два миросозерцания, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев новизны, то есть иноземного, западного.

XVII век подготовил преобразования Петра Великого. Сотни талантливых людей, русских и пришедших, проводили какую-нибудь новую преобразовательную тенденцию, развивали какую-нибудь мысль, иногда целый ряд мыслей. Судя по ним, — пишет Ключевский, — можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбужденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, без общего плана, но, сопоставляя их, видим, что они складываются в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными. Вот важнейшие части этой программы: 1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом за Южную Россию; 3) завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8) заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства, — и все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра, эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит отличие московских государственных людей XVII века: они не только создали атмосферу, в которой вырос преобразователь, но и начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал» (В. О. Ключевский).

Именно этот век назван бунташным: растет крамола, всюду недовольства, мятежные слухи, казни, бунты, пытки, доносы. Интересная мысль у историка Татищева: «Царь Алексей Михайлович как военными, так и гражданскими делами, а наипаче правосудием, милостию и добрым економическим учреждением прославился, а оной не токмо сам от беспорядочных и непостоянных поступков престола и живота лишился, но всего государства разорению тяжкому дал причину» (В. Н. Татищев).

...А перед глазами картины.

— Ваши дети так увлечены историей! И находите вы время копаться в старине? — это меня Иван Варфоломеевич встретил у входа.

Чует мое ухо, что неспроста он со мною говорит, что, наверное, какой-то замысел черный уже созрел в его голове, а все равно мне приятно его доброе слово. И я взахлеб начинаю рассказывать о том, над какими редкостными источниками сейчас работают ребята.

— Я вас хотел бы предупредить, — доверительно сообщает мне Иван, дотрагиваясь до моего плеча своей крепкой рукой. — Вы посоветуйте ребятам, чтобы они воздержались от посещения некоторых домов.

— Например?

— Ну есть тут дома, где живет нежелательная интеллигенция, в прошлом...

— Уже нету прошлого! Нету! — взревел я. — Оно в прошлом, ваше прошлое!

— Напрасно вы горячитесь! Для кого в прошлом, а для кого оно только начинается, и еще неизвестно, что с чем может поменяться местами. История повторяется.

— В виде фарса, — отрезал я. — Впрочем, вам этого не понять.

Я почти побежал, намеренно отрываясь от него. Но он догнал меня. И я видел в морозном воздухе, как плавали его суженные зеленые жесткие глазки. Они то и дело впивались в меня, а изо рта вылетали слова:

— Я вам еще одну вещь скажу, а уж вы как хотите. Некоторые родители возмущены вашими экспериментами. Перегружаете ребят ненужными делами. Жалобу на вас написали.

— Вранье! Не могло этого быть. Я постоянно провожу собрания родительского актива и хорошо осведомлен о родительских настроениях...

Морозный день был чист и прекрасен. Снег хрустел под моими ногами и под ногами Ивана Варфоломеевича совсем одинаково.

— Мне хотелось бы вас предупредить, — ласково обращается ко мне Валерия Петровна, кутаясь правым плечом своим в дорогой своей шубе. — Опять кто-то пустил слушок, что вы с детьми занимаетесь богостроительством и богоискательством. Это опасный слушок. Его трудно опровергнуть.

Мне бы улыбнуться, пожать плечами или отмахнуться рукой: «А, все это ерунда!» — а я полез в доказательства.

— Не горячитесь. Куда вы денетесь, если ваши дети читали Мережковского, который тоже про Аввакума и Савонаролу написал?

— Ну и что?

— Ах, вот как! А вы знаете, что Мережковский за рубежом вел идеологическую диверсию против нашего государства?

— Разве Мережковский изъят?

— Думаю, что да.

— А я думаю, что нет.

— Все равно он — белогвардейская сволочь. И он, и его жена, и его собутыльники — Северянин, Ахматова, Мандельштамп...

— Без «п», — сказал я, невольно улыбнувшись.

— Без какого «п»?

— Просто Мандельштам.

— Это без разницы. Раньше за Мережковского могли пятьдесят восьмую дать. Во всяком случае, я не позволю, чтобы у нас в школе...

— А я позволю! Позволю! — заорал я на нее неожиданно. — А вам не позволю так говорить о русской культуре! — И тут я допустил непоправимое. Из моих уст вылетело ругательство. Не матерное, но крепкое. Ругательное слово. Я думал, она завизжит, упадет в обморок, побежит в партийную организацию. А она улыбнулась по-доброму и сказала:

— Слава богу, хоть один раз от вас живое слово услышала. — И добавила: — Шизик несчастный!

— Я прочел сценарий про Савонаролу и фра Доменико, очень любопытно. Глубоко и по-настоящему. — Это Рубинский мне сказал. — А ваш рукописный журнал — это просто шедевр.

Я молчал. Мне не хотелось ему отвечать. Вообще говорить с ним не хотелось. С чего бы это он лебезить стал? Может быть, потому, что очередная комиссия особо отметила мои уроки, или письмо Сердюкова подействовало.

— Благодарю вас, — ответил я холодно, не желая налаживать с ним отношения.

— По-моему, не все так просто. Я хотел бы вам...

— Посоветовать, — перебил я его. — Не суйтесь не в свои дела, сударь. Прошу вас. Я человек не клановый, сугубо коллективный.

— О вас только и говорят везде, — это Алина мне сказала. — Зазнались?

— Да.

— Фра Доменико — это красиво звучит, — проговорила Алина и улыбнулась.

Она ушла, а я думал, что бы могла означать эта её загадочная фраза.

В остракизме есть свои плюсы. Долгое противостояние неожиданно может обернуться прозрением. И тогда наступает бесстрашие. Ликующее бесстрашие. Такое бесстрашие, должно быть, пришло к Аввакуму. Потому и написал он столь щедро и искренне свое знаменитое «Житие».

Мое бесстрашие будто приоткрыло клапаны для выхода моих просветленных сил. Наступил покой. Ощущение слабости и правоты придало мне уверенность. Мне казалось: я готов к любым новым испытаниям. Я ощущал и то, как мою силу и мою правоту чувствовали другие. Только с одним я не мог примириться: за что? Я ничего не выдумываю нового. Я ввожу в жизнь то, что забыто, утеряно, то, за что были войны и бунты, революции и кровопролития. Я воскрешаю то, что написано в книгах основоположников: знать культуру народа, овладеть всей суммой знаний, которые выработало человечество, соединить это знание с производительным трудом, искусством, физическим развитием — это же аксиомы государственной идеологии. В чем же дело? Почему такое нежелание признать узаконенный идеал? Почему такая боязнь идеалов? Почему меня непременно надо тащить на плаху, когда кругом такая весна, такая реабилитация людей, ценностей, имен, истории?

В остракизме есть свои плюсы, когда весна принадлежит тебе, а не тем, кто тебя намерен изгнать.

Я верил в мою весну.

22

В один миг вся школа вылетела на улицу.

— Что это? — спросил я.

— Екатерина Ивановна уезжает. Им разрешили. Реабилитировали.

Я выхожу на крыльцо. Едет возок по слепящему снегу. Точь-в-точь как в сочинении Светы Шафрановой. Только весна на улице. И Екатерина Ивановна в возочке смеется, румяная и красивая, машет голубой рукавичкой пуховой. Бреттер сидит рядом с нею, закутавшись в коричневую шубу. Оля приподнялась в возочке, машет ручкой. А ребята, кто одет, а кто раздет, бегут за возочком и кричат:

— Екатерина Ивановна! Екатерина Ивановна!

И на крыльце крик:

— Екатерина Ивановна уезжает! В Москву уезжает!

И десятки ребят, вся школа выливается из дверей, и Марья на крыльце, разгневанная, с бело-розовыми пятнами на щеках, схватила двух третьеклассников, вот-вот станет языки рвать! Кинулись третьеклассники к возочку.

— Да остановите же их! — кричит мне Валерия Петровна. — Да что же вы стоите? — это мне говорит второй завуч.

А я стою и гляжу на возочек. И нет мне радости. И больно мне оттого, что я остаюсь здесь, в холодной и прекрасной Печоре, где моя жизнь набирает новую силу, где мои страдания дошли до предела.

Новиков вышел на крыльцо. Пухлые ручки собраны в кулачки. Лицо побагровело. Сузились голубые глазки. Увидел возок, машущую голубой пуховой перчаткой Екатерину Ивановну, ликующую Екатерину Ивановну, для которой он, Новиков, теперь ноль, никто.

Что-то шепчет про себя Новиков, и его глаза подергиваются слезой. Сжимаются пухлые ручки, белеют от злости эти ручки, плечи у Новикова приподнялись, весна стоит на крыльце, редкая, теплая, вечная, веселая весна, потому и лица детей так прекрасны,

он, Новиков, в этой весне затерян, застыл, как ледяной ком, как оставшийся еще от прошлой осени брошенный сучок, впрочем, сучок крепкого дерева, примороженный, не тронутый гнилью, но отрезанный, выдернутый из родной надежной плоти, — нет прежнего Новикова, нет и никогда не будет, и об этом машет, должно быть, Екатерина Ивановна, машет и смеется, не слышно ее раскатистого смеха, но можно представить, так легко представить ее раскатистый смех, ибо этот смех — сама весна, с капелями, с солнцем, с прогретыми пятнами на спине, есть в слове «апрельское» особенная мягкость, есть особая нежность, светлая, почти белая, но, конечно же, и розоватость, и голубизна, и палевость, мягкая, едва заметная палевость проглядывает в этом чудном слове, и школа в апрельском воздухе, двадцать раз перекрашенная, все теперь в апрельском свету видно — видна на залитых солнцем стенках и прошлогодняя краска, и еще двухлетней давности краска, и еще совсем, может быть, довоенная краска, все эти выцветшие краски — голубые, оранжевые, желтые — теперь особенно живописны в апрельском свету, и на фоне этой необыкновенной солнечности Новиков и Марья кажутся крохотными, и их злость в этой весне так некстати. Что вертится сейчас в голове у Новикова, какая грудная жаба его грызет, с какой силой кровь приливает к сердцу, к еще здоровому сердцу, еще не до конца уничтоженному злостью и алкоголем, какие мысли вспенились в его большой голове? — ах, должно быть, хорошо бы на плаху их по очереди всех, кто в этом возочке. Чтобы снова застыло все, чтобы порядок был, как прежде, без шума, и без всплеска, и без весны! И головы этих, кто в возочке, на плаху, и по очереди у них клещами язычки, пусть учатся говорить обрубками, и руки, чтобы не писали больше никогда, по запястье, а можно и вдоль ладони отрубить, оставить по мизинцу да по безымянному, а остальное начисто отсечь, пусть на полу персты обертываются в крестные знамения, пусть детишки разглядывают не ликующие лица, а эти самые персты, ишь Бреттер насупился, а это кто? Уж не Рубинский ли идет по обочине? Он самый! Позор! Сорвать учебно-воспитательный процесс — за спиной звонок — это не третий урок — кончилась большая перемена, второклассники пытаются выглянуть на улицу, но с этими проще, а ну марш в классы! — это нянечка нацелилась тряпкой в стриженые головы. Новиков вдруг в мою сторону глянул и будто спросил, зло поблескивая улыбкой:

— А что же вы не пошли провожать этих?

— А я сам по себе, мне эти ни к чему, — будто ответил я. А сам думаю: что же это со мной делается, и не радуюсь я, и не огорчаюсь, уехала, так и уехала, больно в груди у меня, потому что та же Екатерина Ивановна и тот же Бреттер не то чтобы чужие мне, а совсем противостоящие мне, как и эта сволочь, Новиков, и кто больше мне противостоит, еще неизвестно. Мне приходит в голову мысль: я совсем одинок с людьми и одиночество исчезает, когда я с детьми. И так радостно становится мне, когда я один, потому что все вокруг меня оживает, все добреет, все апрельским звоном переливается.

И вдруг что-то екнуло у меня в груди. Вижу в толпе детей Валерку Чернова. Подбегает он к возочку, что-то кричит, лошадок похлопывает по крупу.

Люблю я печорскую весну. Буйство печорское люблю. Льдины набухли на реке, поднялись, вздыбились и, шурша и гремя, мощно стали наступать друг на друга. Не уйти от столкновений. Не миновать разлома. Не обойти этого неуемного быстротечного очищения, когда вся многокилометровая печорская даль вдруг напрягается и изнутри взрывается под палящим солнцем, и наружу выплескивается свободная мощь реки, вширь и в длину растекается, точно вытянувшись в одну сплошную плоскость, и мчится эта мощь до самого Ледовитого океана, нельзя дважды ее глазом окинуть, каждый раз по-новому светится она, и каждый раз по-новому апрельский звон достигает самых последних глубин печорского неба.

23

Педагогический конклав был в сборе. Сидело человек восемь из школы и приезжих человека четыре. Кабинет Новикова был узким, как калоша. И место, где стоял директорский стол, было овальным. Совсем непонятно, для чего понадобилось это закругление. В самом центре этого закругления сидел с двумя кондотьерами крохотный человечек, Элий Саввич Крошутинский. Новиков расположился в общем ряду. Скромный он. Дескать, здесь ни при чем, все это приезжие затеяли, а ему, Новикову, своих бед достаточно.

— Встаньте, — сказали мне.

Я понял, что им удобнее слушать, если я буду стоять. Я встал, и от этого некоторое равновесие конклава нарушилось. Собрание качнуло, и калоша оттопырила байковую подкладку.

Конклав заседал до тех пор, пока терпение одного из кондотьеров, сидевшего справа от Элия Саввича, не лопнуло. Он сказал:

— Надоело. Товарищ Попов либо водит нас за нос, либо он ничего не понимает. В обоих случаях ему не место в школе.

Я в двадцатый раз кинулся доказывать:

— Воспитание, построенное в отрыве от усвоения человеческой культуры, прежде всего отечественной, неизбежно становится ущербным. — Я доказывал, что беру исторические явления в их развитии. Беру главные факты, главные периоды истории — Возрождение, революции, реформы. Анализирую великие образцы искусства. Я утверждал, ссылаясь на основоположников, что такие имена, как Данте, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Савонарола, Макиавелли, Аввакум, Морозова, Робеспьер, Наполеон, Пестель, Пушкин, Достоевский, Бальзак, — я перечислял, пока один из кондотьеров не вспылил:

— Знаем мы эти имена, хватит перечислять!

— Маркс сказал, — твердил я свое. — Ленин сказал... Крупская сказала...

— Не занимайтесь демагогией, — бросил Чаркин с места. — Вы отвлекаете детей от учебы. Вы препод-

носите им не наши идеи. Ваш последний спектакль про Савонаролу — скрытый поклеп на нашу действительность...

— На нашу школьную действительность, — поправила Валерия. — Всем известно, как вы отзываетесь о руководстве школы.

Я покраснел. Дело в том, что я имел неосторожность сравнить Александра VI с Новиковым. Я вспоминал, кто же присутствовал тогда. Я в упор смотрел на завуча, точнее на ее руку. Так постаревшую всего лишь за один год.

— У меня есть предложение: ходатайствовать об увольнении товарища Попова, — это Чаркин как с цепи сорвался.

Валерия, как ученица, тянула вверх свою припухшую красноватую длань.

— Этого недостаточно, — сказала она. — Мы уволим, а он будет калечить детей в другом месте. Надо ходатайствовать вообще о лишении права преподавания. — И она решительно рассекла воздух рукой. Той самой вкрадчивой рукой, которой год с лишним назад она пыталась объясниться. Теперь Валерия ликовала. Улыбку едва сдерживала!

Я ушам своим не верил. Я стоял и думал: нельзя горячиться, минута решает жизнь. Я окинул взглядом присутствующих, будто ища поддержки. Новиков блистал голубизной своих ясных глаз, точно говоря мне: «Не радуюсь и не сочувствую, сам ты себя до такой ситуации довел». Отвел я от него глаза. Марья на меня ласковенько глядит, ручки сложила на животике, шепнула соседке: «Прохладно все-таки в кабинете, продрогла вся». А та, кому шепнула, ответила ей что-то да на меня глазами любопытными: надоел ты всем, братец, ох как надоел! Мой взгляд на ведущем остановился, на Элии Саввиче. Гонфалоньер карандашиком свои белесые бровки будто приподымал. Знал я эту гонфалоньерскую мудрость: сначала страх нагнать так, чтобы до костей прошибло, а потом на тормозах спускать. Знал я и другое: ждут они от меня, чтобы я в ноги им кинулся, чтобы лбом по полу, чтобы голова надвое, чтобы видно было всем, как они меня переиначили. И все же я набрался выдержки и совсем, как казалось мне, хладнокровно сказал:

— Вы хотите решать мою судьбу, так выслушайте меня.

— Сколько вам еще потребуется времени? — спросил один из кондотьеров.

— Хоть сто часов, — ответил я. — Разве, когда решается судьба человека, можно думать о времени?

— И все же сколько минут вам понадобится?

— Тридцать.

— С ума сойти можно, — это Валерия реплику бросила.

— Ни фига себе, — это Чаркин.

— Не более десяти минут, — сказал один из кондотьеров.

— За десять минут я ничего не успею изложить. Все то, чем я занимался, крайне сложно и ответственно.

— Хорошо. Мы не станем ограничивать вас во времени, — это Элий Саввич кивнул головой.

Я перевел дыхание и решил говорить так, чтобы это было и доказательно и крайне интересно. Что-то внутри подсказывало, что я должен говорить так, чтобы все мои противники потихонечку стали переходить на мою сторону. Я верил в их доброту и щедрость.

— Мне хотелось бы посмотреть на мою деятельность как бы со стороны, — начал я. — Давайте еще раз окинем взором, чем же занимался учитель Попов с детьми.

Конклав насторожился: начало необычное. Мое сознание это отметило, а мой теоретический слух, однако, уловил в этом экспромте и некоторую фальшивинку, которую я тут же исправил, продолжив так:

— Согласитесь, одним логичным воздействием всколыхнуть личность невозможно.

— Конечно же не случайно выбран именно такой спектакль, и название его «Фра Доменико, Боттичелли и их учитель» не случайно. Представьте себе некий центр, и в этом центре находится Истина, Бог, Красота, Добро. Чем дальше от этого центра, это, кстати, я вычитал у Толстого, тем больше зла. Так вот, у самого центра Боттичелли, чуть подальше от него фра Доменико, а еще дальше — Савонарола, а за ним Макиавелли и совсем далеко — папа Александр Шестой, его сыновья Хуан и Чезаре, дочь Лукреция. Забыл, а рядом с Боттичелли — и Данте, и Рафаэль, и Микеланджело, и Леонардо да Винчи.

Смотрите, что получается: в эпоху Возрождения создаются величественные шедевры истинной красоты — Сикстинская мадонна, Давид, Примавера, Джиоконда. Совершаются великие открытия в области науки, астрономии, философии. Рождаются городакоммуны. И рядом утонченный разврат, убийства, отравления, пытки, костры, доносы, отцеубийства и матереубийства, козни — вот что такое эта возрожденческая эпоха. Я поставил перед детьми сверхзадачу — докопаться до истины, ответить на вопрос: как же могли в одно и то же время соединиться такой несусветный распад и такой высокий расцвет искусства. И что же вы думаете? Дети, мои девятиклассники, дали интересные ответы. Я зачитаю отрывочки из ребячьих докладов. Они, к сожалению, не отработаны, но мысль в них бьется свежая, поразительно четкая и нравственно чистая. Вот что пишет Света Шафранова: «Когда я всматриваюсь в Сикстинскую мадонну, я вижу за ее спиной Родриго Борджиа с пухлыми руками в перстнях, этими руками он подписывал приговоры, вижу его сына Чезаре, зарезавшего своего брата Хуана, вижу искреннего Макиавелли, создавшего впервые в мире теорию злодеяний. Сикстинская мадонна освобождена от прошлого и настоящего, от крова и хлеба, от ласки и тепла. Ее никто уже не примет в свои объятья — ни Савонарола, ни его противники. Возрождение возникло прежде всего как освобождение от любых нравственных канонов, от любых нравственных предписаний. Освобождение стало символом жизни.

— Какой бред! — это Валерия сказала. — Проповедь вседозволенности.

— Помолчите, — это Новиков вполне доброжелательно.

Я продолжал, как бы не обращая внимания на реплики:

— А вот как подбирается к истине Саша Надбавцев: «Существует в мире бескомпромиссный нравственный закон. Этот закон повелевает творить Добро и Красоту. Если человек переступает этот закон, он неизбежно начинает творить Зло. Макиавелли — честнейший человек, гениальный человек, но он стал творить Зло, потому что переступил нравственный Закон. Он создал макиавеллизм — самое безнравственное учение о государстве. Его соотечественник флорентиец Савонарола — искренний и даже нравственный человек, но он тоже переступает границы нравственного Закона и тоже начинает творить Зло. Он любит красоту и искусство, и он же эту любовь свою доводит до абсурда: сам решает, что нравственно, а что безнравственно в искусстве. Он говорит об этом Боттичелли, и тот сжигает свои полотна, решив, что они безнравственны. Очень схожая ситуация с той, какая была у Гоголя, когда он сжег «Мертвые души».

Я остановился и посмотрел на присутствующих. Молчание. Элий Саввич был весь внимание, и все смотрели на то, как он слушал.

— А вот что написал Чернов Валерий. Он пишет: «Наверное, не всякое разложение в государстве сопровождается расцветом искусств. Тоталитарный режим фашистской Германии не дал ни одного поэта, писателя, живописца. Возрождение — особое соединение нравственного распада и нравственного поиска. Для Сикстинской мадонны и для Лукреции Борджиа нет пределов, только первая готова идти до последнего во имя утверждения нравственных норм, а вторая совершает любые безнравственные поступки и верит в то, что так и надо поступать».

— Может быть, достаточно, у нас же не методический совет, — это Валерия Петровна предложила, нервно подергивая плечами.

— В самом деле. Все это мы и так знаем, — поддержала ее Марья Леонтьевна.

— Позвольте мне все-таки закончить, — обратился я к судилищу.

— Продолжайте, — махнул рукой Элий Саввич, — только ближе к существу вопроса.

— Хорошо, — ответил я. — Вот только еще одно сочинение — Оли Брегтер. Она пишет: «Савонарола был слаб духом и, как известно, под пытками отказался от своего учения. Его ученик Сальвестро сразу предал своего учителя и подписал все нужные клеветнические обвинения. Только Фра Доменико, сколько его ни пытали, не проронил ни слова, он до конца верил в демократическое учение Савонаролы и с радостью ждал высшей меры наказания — сожжения на костре. Когда он шел на казнь, его лицо сияло, будто он шел на праздник. Он и говорил судьям и своим друзьям о своем праздничном состоянии духа. Он был убежден, что таким образом способен утвердить истину и таким образом сможет послужить учению Савонаролы, в какое он свято верил. Когда я читала про Фра Доменико, я невольно думала о мужественной стойкости Аввакума и его троих друзей, которые не пошли ни на какие уступки, переносили более тяжкие пытки, но не сломались. И так же радостно шли на костер, как шел Фра Доменико».

Не успел я закончить чтение Олиного сочинения, как поднялся Чаркин. Резко и решительно он сказал:

— Товарищи, я, как коммунист, считаю, что здесь идет открытая пропаганда религиозных учений. Довольно!

— А вы не коммунист! — резко ответил я на выпад Чаркина.

— То есть как?! — с места крикнула Марья Леонтьевна.

— Объясните, что вы имели в виду, — сказал Элий Саввич.

— Объясню, — ответил я. — Основоположники учат: коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь всей суммой знаний, какую выработало человечество. Маркс и Энгельс указывали, что гуманистическое учение величайших людей эпохи Возрождения было насквозь революционным, ибо составляло оппозицию феодализму и утверждало высокие гуманистические принципы, принципы демократии. Образовывать детей, образовывать новое поколение — это значит научить их осваивать опыт борьбы за гуманистические идеалы, это значит научить их всесторонним образом осваивать культуру предшествующих поколений. Если **вы** этого не понимаете, товарищ Чаркин, — обратился я к физкультурнику, — тогда **вам** нечего делать в советской школе.

Как только я это сказал, Чаркин выскочил на середину и, размахивая кулаками, крикнул:

— Я этого так не оставлю!

— Позвольте! — вынужден был вмешаться Элий Саввич. Вмешался он мягко и примирительно. — Сколько вам еще надо времени?

— Десять минут.

— Хорошо, только прекратите читать детские сочинения.

— Товарищи, я начал с того, что надо нам, учителям, научиться воздействовать не только на ум, но и на сердце детей. Средствами воздействия такого рода являются и искусство, и история. Я убедился в этом. Но я сейчас не о том. Я хочу спросить у дирекции, почему ко мне, точнее к моей работе, нет претензий по таким направлениям, как труд, спорт, самоуправление, организация классного коллектива, успеваемость и прочее. Отвечу вам. По всем этим показателям класс, которым я руковожу, занимает по подсчетам комитета комсомола первые места. Наш класс — единственный, который в школе систематически вот уже второй год занимается производительным трудом, все ребята занимаются спортом и лучше всех выполняют общественные поручения.

— Это не ваша заслуга, — перебила меня Валерия Петровна.

— Согласен, не только моя, но и всего педагогического коллектива. И у комиссии нет претензий ко всей остальной работе, кроме этой, связанной с изучением искусства...

— Я поясню, — сказал Новиков, — действительно, к работе учителя у нас нет претензий. Но эта внеклас-

сная работа повелась с таким перекосом, что отвлекла детей от учебы.

— Хорошо, — перебила Марья Леонтьевна. — А Аввакум при чем здесь?

— Здесь я вижу прямую связь в развитии культуры. Не зная могучего творчества Аввакума, нельзя понять русской культуры, появление Пушкина и Достоевского, Толстого и Тургенева.

— Все! Хватит! — Это один из кондотьеров сказал. Он встал. — Все ясно, товарищи.

— Давно ясно, — заметили с мест.

— Какие будут предложения?

— У меня есть предложение, — это Чаркин поднялся. — Во-первых, ходатайствовать перед соответствующими инстанциями о лишении товарища Попова права преподавать в детских учреждениях и, во-вторых, ходатайствовать об исключении из комсомола.

— Кто за это предложение? — спросил Элий Саввич.

Все подняли руки, воздержался один Новиков.

Все это произошло так быстро, что я и опомниться не успел.

В тот же день, вечером, было профсоюзное собрание. Я присутствовал на нем тоже. Сидел в углу и наблюдал за происходящим. Как все было гладко и обстоятельно на этом собрании. Новиков сидел в сторонке и радовался, я это понял, тому, как коллектив демонстрировал свое единство. Все были до предела предупредительны, вежливы, очаровательны: улыбки, любезности, добродушный смех. Только я один в этом монолитном единении затравленным волчонком глядел из своего угла. Им до меня не было дела. Они решали важные задачи — кого избрать на районную конференцию. Выдвинули троих — Новикова, Чаркина и Рубинского.

В этот день я шел домой с какими-то странными предчувствиями. В коридоре меня встретила мама:

— Приехал к тебе товарищ. Может, образумит,

Я открыл дверь и увидел Славу Блодова.

24

Я потом вспоминал наш разговор с Блодовым. Все пытался удержать в памяти тот момент, когда в наших с ним отношениях что-то переломилось и полился совсем другой свет. Где-то в середине разговора я уловил в его голосе нотки, может быть, страдания или раскаяния. Но в чем ему раскаиваться? И передо мной? И только много лет спустя я понял — каждому человеку есть в чем раскаиваться. А у людей, чьи жизненные линии пересеклись и перемешались с войной и пребыванием в местах отдаленных, с любовью к одной женщине, с поиском приложения своих сил в такой сложной сфере, как искусство, — у этих людей нередко обостренное чувство вины. У них столь поразительный калейдоскоп отношений, что иной раз и не поймешь, где и в чем кто виноват. когф кто предал, выручил или загубил окончательно.

А может быть, он ждал моего раскаяния? Признания? Он, конечно, ждал. Не выпытывал у меня ничего, но подводил совсем ловко к тому, что я сам рассказал ему все про себя. Раскрылся до самого позвоночника.

Я припоминал все, как было. Припоминал, с каким недоверием он едва заметно отстранил меня в самом начале встречи, как меня привела его подозрительная настороженность в замешательство, как ощутил его смятение, когда он о Ларисе заговорил, о Вершине, о моем будто бы соучастии в убийстве. Его неуверенность сразу придала мне сил, и я сказал Блодову: «От тюрьмы и от сумы нельзя зарекаться». Я сказал это, и улыбнулся, и потом еще нарочно уверенности подбавил, и вот тогда в нем что-то и прорвалось. Мы сидели на нашей коммунальной кухоньке, придвинув к печке скамейки. Дверца печки была раскрыта, мы то и дело подбрасывали поленья, и тепло шло на нас, и было очень хорошо говорить, и потому я, наверное, впервые заговорил о своей тайной правде, рассказал о том, как едва не свихнулся, увидев Морозову, рассказал о своих бедах, ничего не утаивая. Я старался в точности воспроизвести все, как было: и то, как встретил Ларису, и как наутро ко мне пришли, и как начались допросы, и какими окольными путями меня «привлекают к ответственности за избиение Дребенькова», хотя никакого избиения не было. Я говорил так, точно он был мне самым близким человеком (а я чувствовал — это было далеко не так), но и в нем что-то размягчилось от моей искренности, потому он, расположившись ко мне, сказал:

— Старик, тебе надо бежать отсюда. Немедленно бежать. Я знаю одно великолепное местечко на Украине. Там, кажется, открывается новая школа...

— И ты туда же!

— Да не туда же! Пойми, тебя обложили, как волка. Надо немедленно менять обстановку. Иначе отдашь концы!

— Ну и хрен с ними, с этими концами, — сказал я.

— Зря ты так. Ты нашел себя. У тебя жизнь впереди.

— А что они могут мне сделать?

— Что угодно! Спровоцируют на какой угодно шаг, я и теперь не знаю, чем это все у тебя кончится.

— Я не могу расстаться с детьми.

— Господи, да найдешь ты себе еще детей!

— То будет совсем другое...

— Стоп! — перебил меня Блодов и хлопнул в ладоши. — Я не верю в приметы, но тут случай особый! Ты все мне про новый свет толковал! А это местечко на Украине так и называется — Новый Свет. И я тебя, сукин ты сын, непременно туда сосватаю.

Я улыбнулся. Он зацепил что-то во мне. Учуял самое главное. Проникся уважением к моим нравственным блужданиям, и от его поддержки мне еще прибавилось сил. Уверенности больше стало. До встречи с Блодовым я этого не сознавал, но это так было, силы мои иссякали, таяла моя энергия, она выходила из меня какой-то перекрученной безнравственной агрессией, злобность приглушала остатки света. Признаюсь, я верю в приметы: от названия местечка что-то действительно заронилось в душу и осело там, и так хорошо мне сделалось, что я еще сильнее расположился к Блодову.

И он помягчел. И помрачнел: должно быть, свои тревоги у него были. Да сказал и он об этом:

— А мне бежать некуда. — И добавил: — Некуда, старичок.

Я потом по обрывкам восстанавливал его рассказ о себе. Вершин не давал ему покоя. Прошлое подтачивало его. С Вершиным Блодов встретился в плену, потом вместе были в отряде. Отряд был непонятный, самостийный, анархический, но воевал с немцами. А потом оба оказались в фильтрационном, а затем в обычном лагере — пятьсот первая стройка, здесь, недалеко от Печоры. И вот как случилось, что Блодова выпустили, а Вершина оставили (его освободили пять лет спустя), этого я понять не мог. И тут что-то таилось, и я видел, как Блодов уходит от моих вопросов, и даже гневно бросил мне: «Ты копаешь, как прокурор». И я перестал спрашивать. Я сидел и слушал, как Блодов рассказывал о своей любви, как ему трудно было общаться с Вершиным, как он предложил Ларисе помощь после того, как Вершина не стало. Он рассказывал о своих муках, когда Лариса была рядом с ним и не принадлежала ему. Она превратила свою комнатку в маленький музей Вершина. Здесь были его фотографии, его картины и его вещи.

— Представь себе, старичок, я тоже занимался этим музеем. Доставал рисуночки, наброски, все, что было связано с ним. Всякий раз когда мне удавалось что-нибудь найти, она преображалась, и ты знаешь, я не сентиментален, но тут не удерживался, плакал. Что случилось со мной, ты и представить не можешь.

— Не могу понять, ты женился на ней или...

— Брак наш был фиктивным. Ей негде было жить. С родителями она порвала. Да бог с ним, со всем этим. Ты меня, старик, настроил на другие вещи. Я, живя с нею, понял то, чего раньше не то чтобы не понимал, а даже и не предполагал, что может быть такое. Однажды я без ее ведома заменил рамочку на одном натюрморте. На небольшом холстике были изображены какие-то необыкновенно белые цветы. Головки цветков были необычными: лепестки росли, представь себе, назад и венчики как-то выходили бесстыдно наружу. На темно-синем фоне белизна экзотических цветков казалась мерцающей. Старик, это был один из самых лучших его натюрмортов. Так вот, я решил заменить обрамление, старая рамочка развалилась, и я ее выкинул на помойку. Вечером пришла она и, как только увидела натюрморт в новой раме, вся в лице переменилась, спросила у меня, где старая рама, я ей сказал, и она ринулась на улицу. Нам пришлось перебрать весь мусорный ящик, пока мы не нашли четыре старые планочки. Она прижала их к груди и, не глядя в мою сторону, побежала в дом. Я помог ей сбить рамку, приколошматил уголочки, чтобы рама не разваливалась. Лариса осталась довольна реставрацией. И тогда я спросил: «Что за цветы, сроду таких не видел». — «Цикламены, — ответила она. — Они растут на альпийских лугах». Она рассказала, как был написан этот натюрморт. Вершин с Ларисой были в горах. И однажды, когда у Ларисы был день рождения, ей Вершин принес букет этих цикламен. Лариса, увидев сорванные цветы, огорчилась, побежала на поляну, где раньше росли цикламены (там их не было!). Она устроила скандал, а цветы швырнула ему в лицо, сказав какую-то непристойность. Она и с ним, старичок, была как огонь! Такой бескомпромиссности я никогда не встречал. И тогда ночью Вершин при электрическом свете написал этот натюрморт. Написал и лег спать. Утром он увидел снова Ларису плачущей. Она сидела и как завороженная смотрела на нарисованные цветы. Старик, веришь или нет, но эти цветы иногда меня пугали, мне казалось, что они шевелятся, что от них идет какая-то живая прохлада, казалось, что они вот-вот заговорят и назовут мне какое-нибудь пророчество или бросят в лицо самое главное обвинение.

— А за что посадили Вершина? — спросил я.

— Кто знает, — развел Блодов руками. — Кто знает, за что тогда брали людей. Я слышал, что у него были какие-то статьи Троцкого о формализме, помню, он мне показывал какой-то старый журнал, издания примерно двадцать второго или двадцать третьего года, помню даже и то, что в этой статье Троцкий долбал искусствоведа Морозова за формализм...

— Кто-то донес, наверное? — спросил я и посмотрел на Блодова.

Лицо у него было растерянным. Я вспомнил те годы, когда учился с ним. Вспомнил, как Блодов кричал: «Надо наводить порядок в стране! Надо чистить не только партию! Лес рубят — щепки летят!» Я возражал ему, а он налетал, ругался матом, и его пролетарское самосознание, чем он гордился несказанно, выбрасывало лозунги, которые я от него слышал раз десять: «Революция в белых перчатках не делается!»

— Кто-то донес, конечно, — с сожалением повторил он, не глядя на меня, и швырнул в печку полено.

— Ну а когда Вершина забрали, ты стал ждать... Чего?

— Старик, я любил ее!

— И ты ждал, когда его не станет? — Я понимал, что задаю бестактный вопрос. Но не задать этого вопроса я не мог. Речь шла о ней.

Блодов посмотрел на меня жалобно и даже с признательностью, будто я тяжкий груз снял с его души.

— Старик, все мы люди. Не я придумал этот гнусный человеческий треугольник. Признаюсь, я хотел, чтобы она забыла о нем. Ты же знаешь, оттуда не возвращались.

— Но ты же вернулся...

И вот тут-то Блодов встрепенулся. Он как-то лихорадочно дернулся, и в складках его лица осела недобрая тень. Мое обостренное чувство, я был в этом уверен, меня не обманывало. Тут-то и связалось все в моем разгоряченном сознании:

— Ты и Шафранова знал? И Бреттера? И Тарабрина? — спрашивал я.

Блодов рассказывал, будто оправдываясь: Шафранова, начальника главного управления лагерей, знали по Печорской линии все. Это самая значительная фигура Крайнего Севера военных и послевоенных лет. Крупнейший инженер. Что касается Тарабрина и Бреттера, то тут уж так совпало: мы вместе с Вер-

шиным, говорил он, попали в топографическую группу, в которой отбывали срок оба искусствоведа.

— Тарабрин и Бреттер?

— Конечно, они не были топографами, но Шафранов питал к книжным делам особое расположение и частенько приглашал обоих литераторов к себе. О Тарабрине и Бреттере ходили в лагере разные дурные слухи. За все в нашей жизни надо платить, старик. Вот и они чем-то расплачивались за свою более или менее свободную жизнь в те жуткие годы, я так думаю.

— Объясни мне, какую роль сыграл в моем деле Тарабрин?

Блодов улыбнулся:

— Им надо было тебя скомпрометировать. Вот они, Тарабрин, Абрикосов и Новиков, прилепили тебе ярлык стукача. Это похуже тюрьмы, старичок.

— Я слышал: Брыскалов копает под Абрикосова. Зачем им понадобилось это прилюдное вскрытие Ларисы?

— Абрикосову нужны были свидетели. Как же, экспертиза проходила в присутствии врачей и даже общественности! А этот твой приятель, судмедэксперт, подонок.

— Ты считаешь, что Абрикосов причастен к убийству?

— Я этого не могу сказать, но есть факты ошеломительные.

— И что ты собираешься делать?

— Коль меня вызвала эта комиссия на расследование дела Вершина и Ларисы, я постараюсь докопаться до истины.

— Я думаю, что никто не заинтересован ворошить прошлое.

— Не скажи, старичок.

Странно, в то утро, когда ушел Блодов, я ходил еще по берегу Печоры и думал. Все, что говорил Блодов у печечки на моей затемненной кухне («Давай погасим свет, старик», — это Блодов сказал), было так близко мне. Он хорошо говорил о Ларисе. Год назад она решила уйти от него. Блодов сказал: «Оставайся, я уйду» — и снял комнату. И изредка приходил, приносил какие-то продукты. Поздравлял с праздниками. Ждал. Потом приехала тетка Ларисы. Не Шафранова, другая сестра. «Нашла меня, — рассказывал Блодов, — и просит: «Помогите спасти Ларису». «Что такое?» — спрашиваю. «Тронулась». — «В чем это выражается?» И она, дура, начинает мне рассказывать о том, что Лариса ждет Вершина и ни о чем не может говорить, кроме него. «И это все?» — спрашиваю я. «Нет, — отвечает она и в слезы, — у нее такие мысли, такие мысли!» «Какие мысли?» — спрашиваю я. «Она считает, что все прогнило и надо спасать человечество. Она говорит, что мы все живем бесчестно и свыклись со злом. Она сказала так: «Зло стало нашей нормой, и человечество надо спасать. И немедленно, иначе наступит общая смерть». — «А какие у тебя для этого возможности?» Она ответила: «Огромные», — и улыбнулась так, что по спине мурашки побежали. Я поняла: тронулась, несчастная».

Я спросил у Блодова:

— Ты тоже так считаешь?

— Чепуха. Она была здоровым человеком. Она была каким-то чудом. В ней была истинная истинность! Ты прости, старик, что я так высокопарно выражаюсь, но это было действительно так. Она пошла работать в детские ясли. Ты бы видел ее лицо. Она вся светилась, когда прикасалась к ребенку.

— Ну а эта мысль о спасении человечества?

Блодов замолчал. А потом сказал:

— Странная все-таки штука жизнь, по радио говорят о необходимости спасти человечество, и мы это считаем нормой, в книжках читаем об этом — тоже в порядке вещей, а вот один, единичный человек заговорил об угрозе общей гибели, и мы вдруг решаем, а не тронулся ли он... О чем ты думаешь?

Я улыбнулся. Вспомнилось. Рассказывал детям о рафаэлевской мадонне и тоже говорил о спасении человечества.

Я шел по берегу Печоры. Не выходили из головы цикламены. Белая морозная белизна. Хорошо рассказывал Блодов. Я будто увидел их перед собой. Будто услышал голос Морозовой.

Она. Простите, я уже приехала. Я буду вести в трех классах литературу. Вы не видели натюрморт с цикламенами? Я непременно вам его покажу. Я с ним никогда не расстаюсь. А почему вы замкнулись на истории?

Я. Нет-нет. Мы готовим сейчас большую программу.

Она. О Блюхере и Тухачевском?

Я. Нет-нет, о сегодняшних возможностях человека. О безграничной власти человека над самим собой. История нам нужна как культурно-историческая практика человека. Без прошлого нет воспитания. Нет родины и нет будущего.

Она. Вам советуют ограничиться отечественным материалом: Аввакум, Суриков, Петр Первый, Ломоносов, Пушкин. Не слушайте! Сама суть Ренессанса — великая и истинная педагогика. Освоение детьми способов освобождения от догм и узких ограничений, способов поиска истины по законам красоты — самая увлекательная задача воспитания. Самобытность и правдоискательство русского Возрождения, помноженные на европейскую культуру и мудрость Востока, могут стать основой гармонического развития.

Я. Меня преследуют. Именно эти расхожие, аксиоматичные мысли кажутся им опасными. Они свихнулись. Им не нужен коллектив, их вполне устраивают суррогаты. Я убежден: никогда дети не поймут существа развития коллективности в отрыве от культурно-исторической практики. Леонардо, Боттичелли, Рафаэль, Данте, Петрарка, Микеланджело, Николай Кузанский, Савонарола, Бруно — это лики возрожденческой личности, защищающей коллективность, единение всех людей, утверждающих идеи равенства, братства и красоты. Изучая их судьбы, дети проходят сложный путь восхождения от истоков изначального света к сегодняшним горизонтам развития личности на коллективистских началах. Коллективность без сильной личности, без эстетико-нравственного артистизма и мастерства в своем деле — фикция.

Она. Коллективность без развитых форм обще-

ния — макиавеллизм самого жестокого толка. И главное, не ограничиваться просвещением. Надо научить детей, будущее поколение, различать индивидуализм и подлинное развитие личности, коллективизм и стадность, авторитет как необходимую коллективности силу и авторитарность как злоупотребление властью. Для этого как исторический факт, очевидно, и понадобился вам Макиавелли.

Я. Именно. Макиавеллизм не как загадка историко-литературного плана, а как характеристика всеобщей модели тирании, взращенной и напоенной соками мнимой коллективности. Ренессанс, как и макиавеллизм, явление космического порядка. У многих тиранов макиавеллизм был практическим руководством к действию. Говорят, Муссолини даже написал предисловие к «Государю». Человек — прескверное существо, учил дуче, понять человека можно лишь презирая его. Правителю страны все дозволено, поскольку там, где нет тирана, неизбежно воцаряется анархия, а анархия, утверждал Муссолини, хуже тирании.

Она. Прогресс всегда был связан с опытом защиты подлинно свободных форм жизни. Общечеловеческая культура и наука плюс народные начала и демократическое устройство общества — вот формула современного воспитания.

Я. Гармоническое развитие — это прежде всего гармония человека с обществом и государством, с природой и самим собой. Мудрый сказочник Родари заметил в годы правления дуче: воспитание может быть осуществлено при трех условиях — когда ребенок воспитывается в государстве нерепрессивного типа, когда он живет в семье нерепрессивного типа и когда он учится в школе нерепрессивного типа.

Она. Нужна страсть Аввакума и Савонаролы, чтобы защитить эти три типа человеческого бытия. Народ, который не готов умереть за свою свободу, утрачивает ее. Гражданственность — основа гармонических начал.

Я. Миазмы человеческого разложения начинаются тогда, когда уничтожается личность, принижаются общекультурные и народные начала, возводится в абсолют авторитарность. Преодолеть эти противоречия — значит подступиться к решению проблемы спасения человечества. И никакие Новиковы, Тарабрины и Абрикосовы не смогут остановить нас.

Она. Милый идеалист мой...

Я. Ах, как бы необыкновенно было, если бы моя мечта еще кого-нибудь увлекла.

Она. Вы хотите, чтобы у вас были единомышленники?

Я. Я хочу, чтобы у меня была любовь.

Она. Не торопите жизнь. Счастье придет к вам. Надо уметь ждать.

Я шел по берегу Печоры и размышлял о том, чего только не напридумывало мое горькое сознание на этом просторе, принадлежащем мне, не сегодняшнему моему «я», а скорее завтрашнему. Я не знал тогда: все, что я так лихорадочно вбирал в себя, все это определит мою последующую судьбу и все будет зависеть от того, как я почувствую себя в этом праздничном мире, освещенном холодным солнцем. Мое воспаленное воображение искало на снежной равнине странные белые узоры с открытым венчиком. У Нее был целый мир, думал я, при всех ее несчастьях — счастливая жизнь. Я с особой силой ощущал мерзопакостность своих притязаний, все мои промахи и нравственные недуги в один миг предстали передо мною: нет мне ни оправдания, ни спасения, я в тысячу раз хуже и Новикова, и Абрикосова, и Тарабрина. Я был с ними заодно. Я достраивал, усложнял мнимой красотой их мир. Я что-то уравновешивал в их человеческих раскладках. Я нужен им был как полигон. Для испробования их сил. Я всей душой рвался к ним. Хотел, чтобы меня поняли и приняли. Именно они. Именно Рубинский никогда бы не пришел в гости к Новикову. Я тоже к нему не ходил в гости. Но я восторгался его просвещенностью, его афористической мудростью. «Не научились мы еще красиво жить!» — это он любил повторять. Или: «Недостает нам бережного отношения друг к другу!» И я верил ему. И Новиков верил в то, что говорит. Я вспомнил: Достоевский говорил о себе — я дитя века, дитя неверия и сомнений. Во мне нет ни неверия, ни сомнений. Для неверия нужна свобода. У меня только вера. Цельная. Радостная. Неуступчивая. Даже с жаждой жертвенности. Единственно, кто меня бы понял, так это Она.

Она, приуготовленная к спасению человечества.

Но я все равно не нашел бы с нею общего языка. Она бы меня отвергла. Моя высота слишком всеядна, она слишком заземлена, а потому порочна. Мне горько сейчас сознавать это. Я тихо завидую Блодову, сумевшему превзойти меня в благородстве. Он смог любить и беззаветно и безответно. Он велик, этот Блодов. А я ничтожество. Даже мое первое общение с Нею несет печать символической гнусности. Нет в мире ничего случайного. С кем я в этом хаосе? С кем буду завтра, потом? То, чему я служу или намерен служить, требует высоты, где каждый ребенок равен человечеству, где спасение одного ребенка равноценно сбережению всех. Эта истина вдруг открылась мне сама собой. Я тогда не знал, что она уже была открыта другими. Да мне наплевать на то, что было раньше. Чем дальше я удалялся от дома, тем больше сил мне прибавлялось. Я многому научился. Я виноват перед всеми. Я был не прав. Не добр. Надежда подсказывала: научиться любить. Не абстрактно ближних, а находящихся рядом с тобой.

Но как любить, если я их ненавижу? Ненависть вскипает во мне. Клокочет. Перехлестывает через край. И ненависть к себе. Главным образом к себе.

При чем здесь они, размышляю я. Вся грязь сосредоточена в моей душе. Вся подлость, какая только есть. Подлость, прикрытая нравственным поиском. Как это расхоже: идеалы, культура, гармония — идеи, идеи, идеи! — и ни одного стоящего поступка. Что же происходит со мной, если предаю в себе самое главное? Тогда, в морге, я должен был защитить ее память. Ее тело. Ее прах. Ее имя.

Я потом, задним числом, выкамаривался. Тогда ведь был задан кем-то вопрос: «А нет ли здесь изнасилования?» И кто-то приметил какие-то следы. Толя сказал: «Нет». Кашкадамов добавил: «Тут все оче-

видно». Я и то догадывался, что нужна специальная экспертиза, анализ мазков и прочего. И я смолчал. И потом молчал. Потому что в моем сознании Гера — высшая власть. Так он сам считал. Все так считали. И я изнутри боялся его.

Зачем же тогда жить, если я не в состоянии защитить свой идеал?

Мне Вольнова как-то сказала: «Вы завоевали себе право говорить то, что чувствуете, говорить правду. Это немало для двадцати пяти лет». Если бы. Моя правда — это мои полуправда, полуложь, полусмелость. Во мне нет готовности к последнему шагу, чтобы защитить себя и истину. Кто-то из философов скрестил Волю с Красотой. Кажется, Ницше. Меня всегда мучила единичная воля, возведенная в абсолют. Я против сверхчеловека. Но мне противна слабая личность. Личность, которая не в состоянии защитить даже себя. Я постоянно думал: а имеет ли отношение мое дело к содержанию моей личности? Что есть мое «я»? Замкнутая система? Или мое «я» есть мое «я», плюс мое дело, плюс мои обстоятельства. Если я не смогу спасти обстоятельства, я не спасу себя и мое дело!

А что такое мои обстоятельства? Это моя мама, мой сосед, сантехник, Дребеньков, Новиков, мои приятели, мои дети. Я в них. В каждом из них развертываюсь как определенная сила. Других обстоятельств здесь у меня не будет. И других развертываний не будет. Я оставляю черный след в их душах.

Я лгал себе, когда считал, что мое сознание всегда рвалось к борьбе и я в ней черпаю праведность. Почему же моя праведность обернулась темной силой, двурушничеством? Предательское подсознание развертывало всю выгодность крикливого правдоподобия. Правдоподобия, прикрытого искренностью. И все-таки у правды нет иного пути. Духовное обнажение и есть начало духовной революции. Кто-то сказал: в наше катастрофическое время под землей уже ничего не спрячешь — путь спасения духовных ценностей иной, их надо не прятать, а явить миру, и явить так, чтобы мир признал их неприкосновенность, чтобы сама жизнь защищала их.

Я шел по берегу. Идти было скользко, и я то и дело падал. Я шел и говорил вслух. Я угрожал. Я должен был совершить поступки, которые что-то изменят в моей жизни. Вычеркнут из моих замаранных и оплеванных обстоятельств запятнанную честь моего имени, восстановят что-то в моем уроненном достоинстве.

И к черту пустые слова. Горы слов хоронят самую суть нравственной энергии, хоронят человеческую отвагу. В последние дни я жил в склепе из слов. Моя словесная робинзонада — иллюзия моего освобождения, псевдопоиск и псевдоидеал. Пора разрушить этот склеп. Пора дать простор ищущему правду человеческому духу. Я шел по берегу Печоры, будто прощаясь с прошлым. Рядом плелись мои сторожевые — моя ложь, мой страх и моя суетность. Я ощущал их холодные, омерзительные тени. Блодов не раскусил меня. Он сказал: «В тебе, старикан, живет бесстрашный Дон-Кихот».

Если бы.

25

В течение последних двух недель я не переставал думать о Новом Свете. Пришло облегчение и тихая радость. Однажды мои дети, это было в воскресенье, пробежали мимо меня, и даже никто не подошел ко мне. Света и Чернов особенно торопились. Мне было больно: они даже не оглянулись. В другой раз я бы переживал, а теперь мне было спокойно. И боль соединялась с приятным ожиданием. У меня теперь был Новый Свет. Там должны жить дети — сироты и полусироты. Ночами я читал. И думал о том, что самое главное в жизни — посвятить себя истинному. Служить ему. Но как избежать соединения в себе праведности с оголтелостью, жажды мудрости с фанатизмом, борьбы с невежеством? Как уберечь истинный свет от темных сил зла?

— Ты многого хочешь. — Это Она являлась ко мне вновь и вновь. — Ты сражаешься с вещами, которых нет. Они действительно подобны тьме. Ты думаешь, что утверждаешь нравственность? Это не так. Нравственность разрушается, когда нет любви. Твоя нравственность строится на отрицании, на ненависти. Ты ищешь везде темные силы — в Аввакуме, в Робеспьере, в Новикове, в Бреттере. Когда есть свет — тьма сама исчезает и не нужны баррикады. С тьмой ты ничего не можешь сделать непосредственно. Если ты хочешь что-то делать с тьмой, надо улучшить свет. Тьма — это отсутствие света. Не борись с отсутствием.

— Ты задаешь мне новую программу.

— Пусть будет так. Только это очень старые истины.

— Выходит, борьба не нужна?

— Напротив. Только не слепая. Ты считаешь, что они с тобой борются? Ничего подобного. Точнее, тут совсем другое. Они борются с тобой, потому что ты раздражаешь и потому несешь тьму.

— Я несу тьму?

— Перестань нести темное, и с тобой никто не станет бороться. Посмотри на себя: на кого ты стал похож? Губы скомканы, глаза как у сумасшедшего, брови насуплены. Ты болен. Ты живешь в непрестанном гневе. Гнев — это тот вулкан, который уничтожает все живое.

— Я устал.

— И усталость твоя пройдет, когда ты проникнешься светом и не станешь кидаться на людей.

— Ты говоришь, как моя мама.

— Она права. Избавься от забывчивости.

— У меня хорошая память.

— Ты постоянно забываешь то лучшее, что есть в тебе. Ты продукт времени, только наизнанку.

— Что это значит?

— Ты ратуешь за гуманизм с искаженным от злобы лицом. Ты становишься в чем-то хуже Новикова, Бреттера и Рубинского.

— Что же мне делать.

— Ты прав в одном. Просветленность может наступить мгновенно, если человек хочет света.

— Я готов обнять Новикова и Рубинского и кого

угодно, лишь бы выйти из тупика. Но если бы я кинулся им в объятья — они бы не приняли меня.

— Они ждут от тебя только зла.

— Значит, они правы в чем-то. Они правы, а не я?

— В чем-то и они правы.

— Я ничего не понимаю, я вконец запутался.

— В твоей голове хаос. И это твой плюс. Там, где нет хаоса, там нет творчества. Нет поэзии. Поэзия — это особая способность ориентироваться в хаосе. Нравственная, профессиональная деятельность, какую ты избрал, сродни поэзии. Поэзия сходна с твоим делом, но быть поэтичным — не значит быть нравственным. Ты отделился от людей воссозданным миром красоты. Сумеешь разрушить стены этой красоты — откроешь для себя путь к человеку. К другим.

— А если не сумею?

— Погибнут твои мечты.

— А если я достигну совершенства в самом себе?

— Кому нужны будут твои нравственные достижения, если все против тебя! Кому ты будешь нужен, если ты замкнешься на самом себе? Даже дети тебя не примут. То, что случилось с тобой и с детьми вчера вечером, когда даже самые близкие тебе ученики отвернулись от тебя, — не случайность. Ты им больше не интересен. Не нужен им.

...Я снова и снова ворошил прошлое и всюду видел изъяны: череда темных сил, темных притязаний и мрачных полураскаяний. Жадная, ненавистная оголтелость. «Ты же не слышишь других!», «Ты же не слышишь, что тебе говорят!» — это в мой адрес. Стыд настигал меня все новой и новой волной. Встретил капитана. Мягко и робко сказал (в последние дни родилась во мне новая интонация):

— Я, наверное, во многом не прав был...

Он пристально посмотрел на меня;

— Не вздумайте это Новикову сказать.

— Вы так считаете?

— Не юродствуйте. У вас все хорошо складывается.

— Почему?

— Потому что вы попали в струю.

— Вы говорите, как всегда, загадками...

— Есть разные люди. Одним для творчества нужен покой, другим — борьба.

Как он точно все схватил во мне. Я не в состоянии не бороться. Мне нужна схватка. А борьба — это рождение и темных сил. Это убиение любви. Нельзя бороться любя. Борьба и любовь — две противоположности. Если потребность в борьбе так жадна и слепа, я не способен любить.

— Тогда незачем стремиться к созданию новых форм жизни, — это Она.

— Я мог бы пожертвовать собой сразу.

— Это зло.

— Рефлексия и деятельность несовместимы, как и любовь с борьбой.

— Это не так! Истинная любовь — это тоже борьба. Постоянно обновлять себя, просветлять свой дух — это самая великая схватка человека со злом. Пойди к Дребенькову, к Новикову, скажи, что ты был не прав, скажи это любя, и их сердца откроются для тебя.

— Ложь. Я сделал попытку сблизиться с Новиковым, он расценил это как слабость, как мой поступок применительно к подлости.

— Это не так. Моя ошибка была в моей гордыне. Я погибла, потому что любовь моя замкнулась на Нем. Ты замкнулся на себе — и ты стоишь на краю пропасти.

* * *

У Новикова были какие-то неприятности. Его тоже таскать стали. Может быть, поэтому я и решился на шаг, которого и потом никогда не стыдился.

Я догнал его на улице. Он шел, должно быть, домой.

— Только два слова, — сказал я.

— Что вам угодно? — спросил он холодно.

Я что-то переборол в себе:

— Я уеду. И хотел бы, чтобы вы простили меня.

— За что? — улыбнулся он удивленно.

— Я во многом был не прав. Простите меня. — Я не понимал до конца, что со мной творилось. Теплый клубочек моей надежды развертывался и разрастался во мне. На глаза навертывались слезы.

Он не сказал: «Что вы хотите от меня?», не стал успокаивать. Он протянул мне руку. А я растерянно смотрел на его пухлую ладонь и какое-то мгновение не мог сообразить, что значит этот его жест и как я должен на него отреагировать. Потом я тряс его ладонь и бормотал:

— Благодарю. Спасибо вам за все.

Странно, я произносил эти слова, и мой внутренний слух не улавливал даже оттенка холуйства в этом чистосердечном признании. Я обретал что-то новое для себя. Это «новое» пока что было инородным состоянием, оно еще не вплелось в мою душевную ткань, но гулко заявило свое право на жизнь. Между прочим, от меня это не укрылось, Новиков был уже не тот Новиков, который мог орать во всю глотку: «Кто советская власть? Я — советская власть». Холодная реабилитационная волна остудила его пыл. Он тоже помягчел, будто сдавать начал.

— У вас все впереди. — Это он сказал с интонацией, похожей на интонацию капитана.

Брыскалов в последние дни мне все твердил одно и тоже: «Предстоит еще много сделать. Мы в самом начале пути». Все это я понимал умом. А вот сердце еще не напереживалось, чтобы в привычку вошли ласка и добрый настрой, не родилась во мне еще та сила, которая объединит меня с другими людьми.

Я мечтал о Новом Свете, где я начну все сначала, где буду вместе со всеми, где вместе с другими буду создавать новые течения, прокладывать новые русла.

Я ждал часа, когда начну все сызнова.

...Я выкрал ее фотографию из сейфа Новикова. Сейф был открыт, и папка лежала в самом низу. Фотография была не приклеена, она была пришпилена к личному листу скрепкой. Надо отдать должное Но-

викому, он ни разу не спросил у меня о фотографии. Когда он вернулся в свой кабинет, посмотрел на меня пристально, а я сидел у самого сейфа, и он ничего не сказал. Мне даже показалось, что он нарочно оставил этот сейф открытым, чтобы я стянул оттуда ее фотографию.

Что-то надвигалось на Печору. Комиссия за комиссией ворошили печорских аборигенов. Гера не сумел вывезти вагон леса, настигла беда: бревнами прищемило его с такой силой, что поговаривали, передвигаться он сможет только на тележке. Толя, Россомаха и Кашкадамов срочно рассчитались и уехали, не попрощавшись со мной. О Новикове тоже поговаривали: собирается купить дом где-то под Ленинградом. Надвигалась действительно другая жизнь.

В тот вечер, когда я уходил с украденной фотографией, навстречу мне, точно сговорившись, выбежала ватага ребят. Черя, Света, Коля, Саша окружили меня и засыпали вопросами.

Они шли рядом и наперебой рассказывали о себе, что-то предлагали, спорили. И мне так захотелось быть с ними, любить их, непременно никуда не уезжать.

Когда я пришел домой, мама сказала:

— Не пойму тебя, то ты чернее тучи, а то улыбаешься, как дурак.

Я думал: может быть, и пришло ко мне мое главное открытие. Любить вопреки всему. Она умела любить. Это главное, что она умела. Так Блодов сказал. И Вершин создавал шедевры, потому что освещен был ее любовью. Это тоже Блодов сказал. Потом я понял, что моя формула «любить вопреки всему» — кощунство. Любовь — безнасильственное движение человеческой души. Любовь тогда рождается, когда снимается (в философском смысле как противоречие) пресловутое «вопреки». Я в рабстве у рационализма. Моя склонность к разъятию всего живого сильнее самой любви. Подлинная любовь — это вера в бессмертие. К нему я не готов. В глубине души таилась холодная уверенность: не будет у меня больше такой любви. Никогда не будет. И, наверное, я это тоже вычитал, не всем дано обрести любовь.

Я всматривался в ее лик. В нем было то, чего мне недоставало: любовь, мужество, мудрость. И стыд жег за прошлое, и невыносимо становилось, когда в памяти возникали сырая холодная атмосфера морга, оцинкованный стол и влажный звук, точно сырая осина неторопливо распиливалась.

Я потом, много лет спустя, понял, что фотография нередко запечатлевает то, чего живое лицо не способно удержать, точнее, лицо хитрит, извивается, смеется, хмурится, чтобы скрыть свою истинность: чтобы казаться настоящим лицом, оно занимается двойничеством, многоличием и черт знает чем.

Фотография Ларисы — это не просто лицо. Это — лик. Это необъяснимая притягательность. Это крик Вселенной. Это жаркая мысль о спасении мира.

* * *

Прошло с тех пор много лет. Случилось так, что, вдруг я обратил внимание, повсюду (бывал я в разных городах) стали продавать цикламены. Белые, розовые, сиреневые. В горшках и без горшков. Нежные лепестки стыдливо обнажали желтоватые венчики. Однажды я прислушался к разговору покупателей:

— От них холодом несет за три версты.

— А вы знаете, они великолепно сохраняются на морозе, между рамами.

— Господи, их столько развелось теперь. Сроду раньше не было таких цветов.

Их действительно было много.

А вот османии, сколько я ни спрашивал, никто не знал. Никто не слыхал об удивительном растении с неземным, чарующим запахом его цветов.

Должно быть, нет такого растения. Должно быть, я его выдумал.

ВО ИМЯ ГАРМОНИИ И ОБНОВЛЕНИЯ

Еще недавно Юрий Азаров был широко известен прежде всего как крупный ученый, педагог-новатор, одним из первых бросивший вызов схоластике в нашей педагогике. Им проведены десятки исследований, посвященных проблемам педагогики гармонического развития личности, он автор многих монографий и публикаций в периодической печати.

Об одной из наиболее популярных, программных педагогических работ Ю. Азарова — «Книге о семейном воспитании» — писали: «Свобода и дисциплина неразделимы. Как и Бенджамин Спок, Азаров сумел понять связь между гуманизмом и необходимостью борьбы за справедливость во всемирном масштабе. Только счастье и любовь способны сформировать полноценную личность» (Эгар Джереме — «Канадиан трибюн», Торонто, 1984 г.); «Это лучшая из прочитанных мною книг, посвященных проблеме воспитания» (Гарс, Джон — «Дейли уорлд», Нью-Йорк, 1984 г.); «Если вы ищете книгу о воспитании ребенка, непохожую на множество других, можете считать, что вы ее уже нашли» (Томас П. — «Ньюс леттер», Лондон, 1984 г.).

И вот в последние несколько лет о Ю. Азарове заговорили как о крупном писателе. Известный педагог, академик Ш. Амонашвили, отвечая на вопрос анкеты «Литературной газеты», что в первую очередь следовало бы прочитать в условиях острого дефицита времени, среди таких книг, как «Библия», «Витязь в тигровой шкуре», роман Булгакова «Мастер и Маргарита», назвал и роман «Печора». «Из трехсот романов, посвященных проблемам репрессий и реабилитаций, я бы в первую очередь после «Одного дня Ивана Денисовича» напечатал бы «Печору» Азарова», — говорил известный советский литературовед А. Кондратович.

Литературные произведения Ю. Азарова — итог сложной, напряженной жизни автора. В одном из своих интервью писатель признался: «Вся моя жизнь и все мои книги — это жестокая бесконечная борьба с авторитаризмом, а что касается моих романов, в частности «Соленги», «Печоры», «Нового Света», то они выросли из отчаяния». По замечаниям некоторых критиков (Коробов, Лысенко и др.), романы Азарова разрушают сложившиеся стандарты социалистического реализма. Не случайно, когда в Институте философии Академии наук СССР проходила творческая дискуссия по нравственно-философским проблемам романов Ю. Азарова (1988 г.), возникли самые неожиданные аналогии: Достоевский, Камю, Кафка, Андрей Платонов с его «Котлованом». Для азаровского героя нет дилеммы — входить в котлован или нет. Он убежден: острая тоска по идеалу, по совершенству, по социальным преобразованиям и есть основа всех перестроек, всех духовных обновлений.

«Мои романы, — говорит писатель, — это попытка приблизиться к человеческой гармонии, понять себя в этом мире, это опыт возрождения культурно-нравственных традиций в целостном становлении человека».

Мучительные страдания героя, который столкнулся в этих богом проклятых гулаговских местах с незыблемой авторитарной системой, его учительская роль, диктующая любить детей охранников и детей ссыльных, создает сильнейшее напряжение в неокрепшей душе молодого учителя, в душе бедствующей, мытарствующей и все-таки побеждающей в себе такие пороки, как ложь, страх, гордыня, ненависть.

Те же чувства некогда пережил сам автор, отправившийся после окончания университета (1952 г.) учительствовать по доброй воле в ссыльные края страны, куда в тридцатые годы были сосланы его родственники и отец. Отсюда особая проникновенность и убедительность, которые характерны для произведений Ю. Азарова.

«Печора» — самый пронзительный и самый актуальный роман писателя. Остро звучит в нем главный вопрос, решаемый ныне советским обществом: как освободиться от тягостного наследия прошлого.

«Печора» — трагический роман, хотя, казалось бы, в нем описываются радостные события. 1954 год. Общество накануне больших перемен. После смерти Сталина и Берии началась реабилитация политических заключенных. Но, оказывается, что отречься от сталинизма легко лишь на словах. Практически же очень непросто, ибо, как поясняет автор, «он в наших душах, в способах чувствования, общения... Мы пригвождены к дорогам, уводящим нас от храмов. Пытаясь сорвать свое тело с крестов, мы оставляем на гвоздях окровавленные лоскуты своих душ — а это боль адская!»

В книге сложно переплелись судьбы детей осужденных и детей тюремщиков — жертв и палачей, представителей разных возрастов и социальных групп, оказавшихся в 1954 году в центре, в своего рода «Северной столице» того края, который Солженицын назвал «архипелагом ГУЛАГом».

Герой произведения — учитель Попов — мучительно ищет собственный путь к истине в экстремальных условиях тех лет, пытаясь бороться с человеческими пороками — ложью, страхом, компромиссами — прежде всего в себе самом. «Я верую и созидаю, — говорит о себе Попов. — Я укрепляю веру в других. Смягчаю нравы и обстоятельства. Пытаюсь сделать их более человечными... Во мне живет и мною движет страстная сила единения с другими. Она и является главной пружиной моего бытия... Я живу, потому что пьян жизнью, потому что все удивительно и все хочется узнать. Если мои желания и моя воля к жизни — обман, тогда нет истины, тогда нет красоты, нет жизни».

Роман остросюжетный, насыщен интригующими, драматическими событиями. Но основной трагизм перенесен в духовный пласт. Там, в душах героев, происходят убийства и предательства, реабилитация либо утрата ценностей, обретаются или окончательно гасятся Любовь и Красота — главные составляющие Гармонии и Обновления. Попов — максималист, избравший критерием всех поступков, мыслей и стремлений (и прежде всего собственных) служение духовному возрождению человечества. В этом он видит цель и смысл социальных перемен.

Для Попова каждый ребенок — личность. Он будит в учениках стремление мыслить самостоятельно, аналитически относиться к окружающему, не воспринимать слепо сложившиеся стереотипы мышления и взаимоотношений между людьми. «Самое ценное образование, — внушает он школьникам, — это то, какое сам человек добывает без подсказки извне».

Попов убежден, что в каждом человеке живет художник — каким бы непритязательным с виду он ни казался. И какими бы пороками ни был отмечен человек — в глубине души его непременно есть доброе начало. И если вы по-настоящему верите в это и очень хотите достичь желаемого, то обязательно дойдете до того здорового пласта в человеке, который преобразит его в ваших глазах. Но надо очень верить в это и проявить немало выдержки, невзирая на то, что тот человек мог поначалу вызывать у вас неприязнь, а то и вовсе выразил по отношению к вам недружелюбные действия. Только щедростью вашей души можно вызвать в нем добрый отклик. Напротив, ответное зло с вашей стороны лишь усилит недобрые свойства знакомого вам человека.

Особенно показателен пример с Черновым-младшим. Казалось, это достойный сын своего отца — жестокого тюремного охранника, преследовавшего с собаками людей, пытавшихся бежать из заключения. Провожавший всякий раз отца на «задания» Валерий невольно заражался этим человеконенавистническим азартом, который проявлялся у него во взаимоотношениях с приятелями, за что они мстили ему ответной неприязнью. Единственное, что растопило зачерствевшее сердце подростка — это убийство его любимой собаки Франца. Но, оплакивая гибель овчарки, обученной охотиться на людей, Валерий еще более озлобился на

всех. Быть может, он вырос бы человеконенавистником, а возможно даже, вступил бы на преступный путь (вспомним его мстительный выстрел в лодку, в которой находился Попов, в результате чего тот едва не утонул), если бы не душевное тепло и терпеливое внимание к нему Владимира Петровича. И вот спустя много лет проявленная педагогом чуткость получила благодарный отклик: Валерий не только не ожесточился, не пошел по стопам отца — он становится воспитателем подростков-правонарушителей, подражая во всем бывшему своему учителю.

Попов воспитывает в своих подопечных чувство сострадания к несчастным и обездоленным людям. В тот период, когда происходили события романа, это не было официально поощряемым делом — ведь сострадание нередко считалось тогда «буржуазной категорией». А призыв Владимира Петровича к ученикам: «Хорошее чувство надо выстрадать. Каждый человек должен пройти через свою собственную боль» — выглядело в глазах большинства его коллег чуть ли не капитуляцией перед христианской моралью. Поэтому позиция Попова требовала от него не только педагогической принципиальности и последовательности, но и человеческого мужества.

Учитель Попов — герой трех нравственно-философских романов писателя: «Соленга», «Печора», «Новый Свет». Это бунтарь и созидатель. Стремясь к истине, он спорит со всем миром, с философией Запада и Востока, с учениками, с различными сторонами своего «я», с государством, с будущим. Он взвалил на себя, казалось бы, непосильную ношу и несет ее, не жалуясь, хотя и не скрывает, насколько она тяжела. Однако иначе он не мыслит своего существования, ибо ноша эта для него одновременно и мучительна и радостна. Такой образ мыслей и поведения героя исходит из существа его натуры. С ним соседствуют образы Аввакума и Савонаролы, Прометея и Сизифа. Одна из рецензий на романы Ю. Азарова так и называлась: «Сизиф или Прометей?» В ней было отмечено: «Отечественная литература такого героя — деятельного в наиболее тонкой сфере, нравственной, — не знает, не показала... Попов — тот самый новый человек, о котором все говорят и которого ждут, да не ведают, где он и откуда придет. И потому, может быть, не замечают, когда он оказывается рядом, а если и замечают, то лишь по той причине, что он мешает» («Учительская газета», 09.07.88).

«Я разделяю позиции моего героя, — подчеркивает Юрий Азаров. — Ни духовный реваншизм, ни отмщение, ни покаяние с осквернением праха не приведут к желаемой революции в душе каждого из нас. Альтернатива здесь одна: либо мы очистимся и спасем свои души и души наших детей, спасем то, что именуется Идеалом, либо мы погубим себя и дадим повториться истории, может быть, в виде фарса».

Само время в произведениях Ю. Азарова преодолевает монологичность всюду: действительность многоголоса, полифонична. Например, на страницах «Печоры» в спор вступают Фурье и Оуэн, Спиноза и Кант, Макиавелли и Рафаэль, Гегель и Достоевский, Бердяев и Камю...

Не случайно в газете «Московские новости» (04.10.87) Попов назван фигурой «вселенского масштаба», а его учение — «евангелием от учителя».

Свою педагогику Азаров — Попов называет педагогикой гармонического развития. Ее повороты в романах столь интересны и сложны, противоречивы и причудливы, они так пластично соединяются с социальными проблемами, что, читая произведения Ю. Азарова, невольно проникаешься его педагогической верой.

Азаров убеждает нас, что повышенный интерес к истории Родины — это стремление наших современников лучше осмыслить сегодняшние события, ибо нынешние социальные процессы трудно понять, не внимая голосам прошлого. Да и себя самих, как говорит юная героиня «Печоры» Света Шафранова, понять легче, — «понять и представить свою жизнь как частицу всего исторического развития».

Заложенные в романе-трилогии авторские концепции находят дальнейшее, более углубленное выражение в новых произведениях Юрия Азарова.

Только что в издательстве «Молодая гвардия» вышел роман «Не подняться тебе, старик» — о кризисе отечественной духовной культуры, о сложнейших путях формирования полноценной человеческой личности, о проблемах педагогики, о семейном и школьном воспитании. В издательстве «Советский писатель» готовится к печати роман «Групповые люди», где развитие нравственно-философских идей прослеживается в сложной обстановке фракционной борьбы и репрессий 20—30-х годов.

Итак, Азаров-педагог и Азаров-писатель продолжают свою напряженную двуединую жизнь во имя духовного оздоровления человечества, во имя торжества Гармонии и Обновления во взаимосвязях между людьми и в их взаимоотношениях с миром Природы.

Виктор Меньшиков

Юрий Петрович Азаров

ПЕЧОРА

РОМАН

Редактор *И. Вититнева* © Фото *Н. Кочнева*

Художественный редактор *А. Орлов* © Иллюстрации *Ю. Азарова*
Корректоры *И. Ломанова, Л. Волкова* Технический редактор *А. Кашафутдинова*

Сдано в набор 21.09.89. Подписано в печать 22.12.89. Формат $84\times108^1/_{16}$. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 17,7. Уч.изд. л. 18,36. Тираж 2 600 000 экз. Заказ 2300. Цена 1 р. 62 к.

Адрес редакции: Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской обл.

Редакция «Роман-газеты» обратилась с просьбой к кандидату философских наук Г. В. Матвейцу с просьбой сделать обзор читательских писем. Приводим краткие выдержки из него.

Редакция получает много писем. В них — мнения, оценки, критика произведений, рассуждения, предложения. Большинство читателей за публикацию исторических романов и повестей. Многих увлекла история России. Произведения исторического жанра призывают печатать Иванова Г. Н. (Рубцовск), Жаров М. С. (Томск), Статуев Н. А. (Москва), Зубцов И. П. (Ливны), Харитонюк Б. Н. (Кривой Рог), Меркулов В. М. (Казань), Елисеев В. В. (Липецкая обл.) и другие. «Я очень люблю свою русскую землю и очень горжусь историей своей Родины»,— пишет 23-летняя Ткачук О. В. из Одессы. Читатели благодарят редакцию и авторов за произведения на историческую тематику.

Самую высокую оценку получили романы В. Пикуля. Высокой оценки удостоились также произведения Д. Балашова, особенно роман «Симеон Гордый». Родякова Е. С. (Амурская обл.), Османова А. А. (Чернигов) и другие благодарят за то, что «впервые узнали полную историю нашего государства и жизнь великих его деятелей».

Читатели «Роман-газеты» ценят и желают видеть в ней произведения об истории советского общества. Об этом пишут Куприянова М. Я. (Ленинград), Вохлина Л. А. (Пермская обл.), Мустафин М. М. (Башкирия), Хрипякова З. Т. (Тамбовская обл.), Ершов Н. В. (Нефтекамск), Горяной Н. А. (Шахты), Барн С. Э. (Днепропетровск), Глаголев В. Н. (Москва) и другие.

Отклики вызвал роман А. Знаменского «Красные дни». Большинство оценивает его положительно «за горькую правду о нашей истории, за светлый образ Ф. К. Миронова» (Загорулько Ю. А., Новосибирск). Для многих этот роман был открытием.

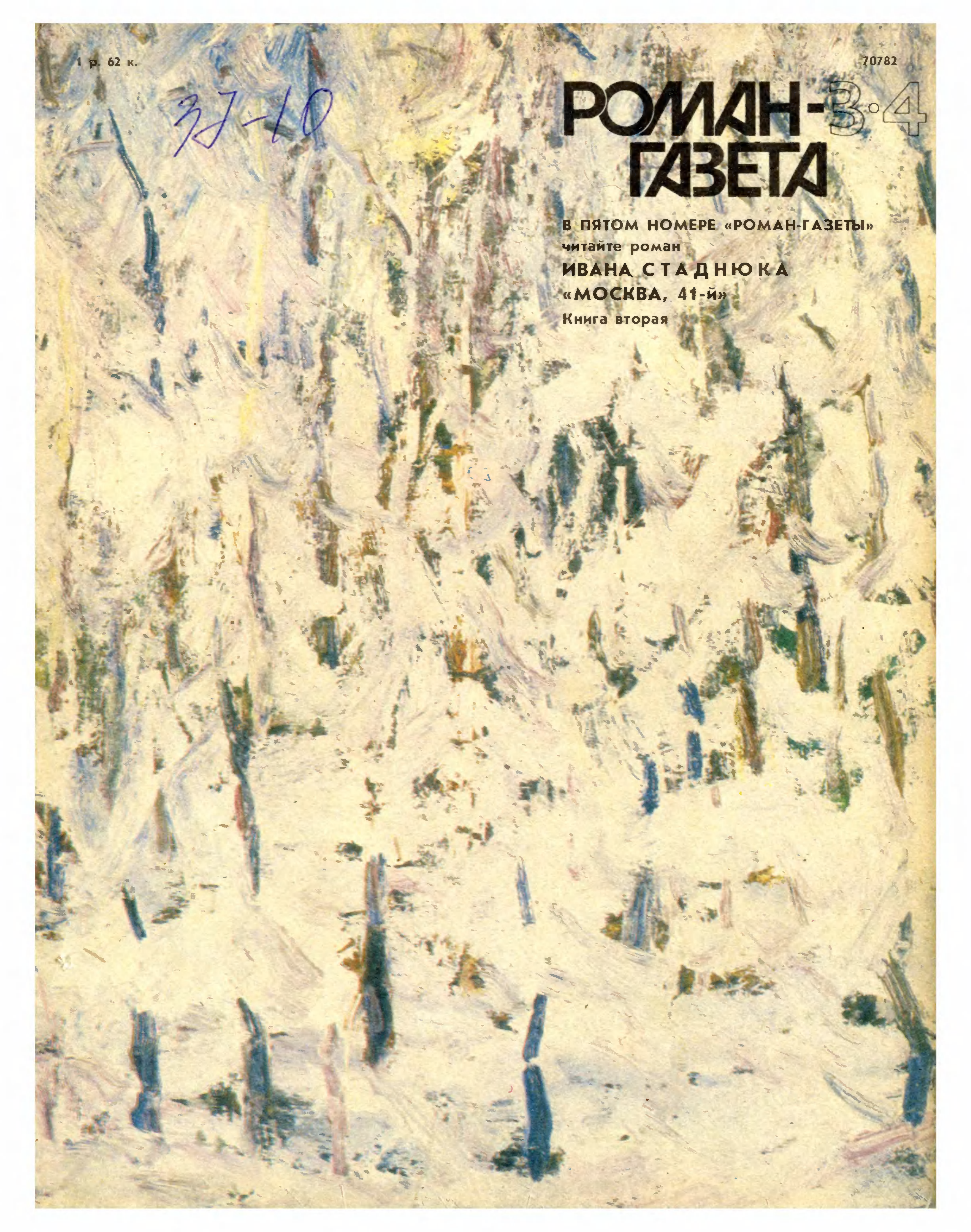
Анализ писем читателей позволяет выявить их симпатии и антипатии к тем или иным произведениям. Из 55-ти романов и повестей 31 получили положительную оценку, 10 — отрицательную, 14 стали предметом спора.

Читатели «Роман-газеты» за правдивость, содержательность, художественность. Они указывают на воспитательное значение литературы. Полноценные произведения, пишут читатели, делают нас чистыми, добрыми людьми, призывают действовать по законам совести и красоты, духовно обогащают, возвышают душу.

Произведения И. Стаднюка, А. Знаменского, С. Алексеева, А. Приставкина навели некоторых читателей на рассуждения, выходящие за границы прочитанного. Это мысли о наших людях в прошлом и настоящем, мысли об отношении к нашей истории, которая не должна быть предметом конъюнктуры, мысли о нашей современной жизни. Среди читателей немало людей, знающих жизнь и литературу и озабоченных состоянием дел сегодня у нас в обществе и государстве и нашим ближайшим будущим.

В письмах есть замечания по поводу плохой бумаги, на которой печатается «Роман-газета», мелкого шрифта, узких полей.

Письма читателей — большая помощь писателям и издателям.



1 р. 62 к.
70782
37-10
РОМАН-ГАЗЕТА 3·4
В ПЯТОМ НОМЕРЕ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»
читайте роман
ИВАНА СТАДНЮКА
«МОСКВА, 41-й»
Книга вторая